

Иван Алексеевич Бунин

ПСС, Том 1

Содержание

#1	0013
СТИХОТВОРЕНИЯ	0054
ЦЫГАНКА	0057
В СТЕПИ	0060
В КОСТЕЛЕ	0063
ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ	0065
СОЛОВЬИ	0068
В ПОЕЗДЕ	0073
МАТЬ	0076
КОВЫЛЬ	0077
КОСТЕР	0082
НА ПРОСЕЛКЕ	0085
МЕТЕЛЬ	0088
РОДИНА	0090
НА ДНЕПРЕ	0092
КИПАРИСЫ	0093
СЕВЕРНОЕ МОРЕ	0095
НА ХУТОРЕ	0096
НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ	0100
ПЛЕЯДЫ	0101
ЛИСТОПАД	0110
НА РАСПУТЬЕ	0117
ВИРЬ	0118
В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ	0120
ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ	0121

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ	0124
РАССВЕТ	0125
РОДНИК	0126
УЧАН-СУ	0127
ЗНОЙ	0128
ЗАКАТ	0129
СУМЕРКИ	0129
НОЧЬ И ДЕНЬ	0136
В СТАРОМ ГОРОДЕ	0141
ИЗ АПОКАЛИПСИСА	0145
ОТРЫВОК	0152
ЭПИТАЛАМА	0154
НА ОСТРОВЕ	0155
СМЕРТЬ	0158
ЛЕСНАЯ ДОРОГА	0159
БРОДЯГИ	0164
ЭПИТАФИЯ	0165
ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ	0166
КОНДОР	0167
СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА	0168
ПОРТРЕТ	0169
МОРОЗ	0170
ПОСЛЕ БИТВЫ	0171
ЖЕНА АЗИСА	0173
КОВСЕРЬ	0174
НОЧЬ АЛЬ-КАДРА	0176
КАНУН КУПАЛЫ	0180
МИРА	0182

ДИЗА	0183
НАДПИСЬ НА ЧАШЕ	0185
МОГИЛА ПОЭТА	0186
КОЛЬЦО	0186
ЗАПУСТЕНИЕ	0188
ОДИНОЧЕСТВО	0191
ТЕНЬ	0193
ГОЛУБИ	0194
СУМЕРКИ	0195
ПЕРЕД БУРЕЙ	0196
В КРЫМСКИХ СТЕПЯХ	0197
ЖАСМИН	0197
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА	0198
ПЕРЕКРЕСТОК	0200
ОГНИ НЕБЕС	0201
РАЗВАЛИНЫ	0202
КОСОГОР	0203
РАЗЛИВ	0204
СКАЗКА	0205
РОЗЫ	0206
НА МАЯКЕ	0207
В ГОРАХ	0208
ШТИЛЬ	0208
НА БЕЛЫХ ПЕСКАХ	0209
САМСОН	0210
СКЛОН ГОР	0211
САПСАН	0212
РУССКАЯ ВЕСНА	0215

ОГОНЬ НА МАЧТЕ	0220
СТАМБУЛ	0223
ПОТОП	0226
ЭЛЬБУРС	0227
ПОСЛУШНИК	0228
ХАЯ-БАШ	0229
ТЭМДЖИД	0230
ТАЙНА	0231
С ОСТРОГОЙ	0232
МИСТИКУ	0233
СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ	0234
ПРИЗРАКИ	0234
НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА	0235
ВЕРШИНА	0236
ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ	0237
В ОТКРЫТОМ МОРЕ	0237
ПОД ВЕЧЕР	0238
СКВОЗЬ ВЕТВИ	0239
КЕЛЬЯ	0239
СУДРА	0240
ОГОНЬ	0241
НЕБО	0242
НА ВИНОГРАДНИКЕ	0243
ОКЕАНИДЫ	0244
СТОН	0245
В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ	0246
ОРМУЗД	0247
ДЕНЬ ГНЕВА	0248

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ	0250
ЗА ИЗМЕНУ	0251
ГРОБНИЦА САФИИ	0252
ЧИБИСЫ	0253
КУПАЛЬЩИЦА	0254
НОВЫЙ ГОД	0255
ИЗ ОКНА	0256
ЗМЕЯ	0257
НЕВОЛЬНИК	0258
ПЕЧАЛЬ	0259
ПЕСНЯ	0260
ДЕТСКАЯ	0261
РЕЧКА	0262
ПАХАРЬ	0263
ДВЕ РАДУГИ	0264
ЗАКАТ	0264
ЧУЖАЯ	0265
АПРЕЛЬ	0266
ДЕТСТВО	0267
ПОМОРЬЕ	0268
ДОННИК	0269
У ШАЛАША	0270
ТЕРЕМ	0271
ГОРЕ	0272
ДЮНЫ	0273
КАМЕННАЯ БАБА	0274
ЭСХИЛ	0275
У БЕРЕГОВ МАЛОЙ АЗИИ	0276

АГНИ	0277
СТОЛП ОГНЕННЫЙ	0278
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	0278
СОН	0280
АТЛАНТ	0281
ЗОЛОТОЙ НЕВОД	0283
НОВОСЕЛЬЕ	0284
ДАГЕСТАН	0284
НА ОБВАЛЕ	0285
АЙЯ-СОФИЯ	0286
К ВОСТОКУ	0287
ПУТЕВОДНЫЕ ЗНАКИ	0288
МУДРЫМ	0289
ЗЕЛЕНый СТЯГ	0289
СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ	0291
АВРААМ	0292
САТАНА БОГУ	0293
ЗЕЙНАБ	0294
БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ	0295
ПТИЦА	0296
1906-1911	0297
ЗА ГРОБОМ	0297
МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ	0298
ПЕТРОВ ДЕНЬ	0303
ВАЛЬС	0306
ПУГАЧ	0308
ДЯДЬКА	0309
СТРИЖИ	0310

НА РЕЙДЕ	0310
ДЖОРДАНО БРУНО	0311
МОСКВА	0314
ПРОВОДЫ	0315
ДИЯ	0316
ГЕРМОН	0317
ГРОБНИЦА РАХИЛИ	0318
ИЕРУСАЛИМ	0319
ХРАМ СОЛНЦА	0321
ВОСКРЕСЕНИЕ	0322
СЛЕПОЙ	0324
НОВЫЙ ХРАМ	0325
КОЛИБРИ	0326
НИЩИЙ	0329
ТЕЗЕЙ	0330
ПУСТОШЬ	0331
КАИН	0332
ПУГАЛО	0334
НАСЛЕДСТВО	0335
НЯНЯ	0337
НА ПЛЮЩИХЕ	0339
БЕЗНАДЕЖНОСТЬ	0340
ТРЯСИНА	0341
ОДИН	0342
САТУРН	0343
С КОРАБЛЯ	0343
ОБВАЛ	0344
БАЛАГУЛА	0345

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ ДЕВИЧЬЯ . . .	0346
РЫБАЦКАЯ	0347
ЗАКОН	0348
МАНДРАГОРА	0348
РОЗЫ ШИРАЗА	0349
С ОБЕЗЬЯНОЙ	0350
МЕКАМ	0351
БЕССМЕРТНЫЙ	0352
КАИР	0352
ИСТАРА	0353
АЛЕКСАНДР В ЕГИПТЕ	0354
БОГ	0355
САВАОФ	0356
ГАЛЬЦИОНА	0357
В АРХИПЕЛАГЕ	0358
БОГ ПОЛДНЯ	0359
ГОРНЫЙ ЛЕС	0360
ИЕРИХОН	0361
КАРАВАН	0362
ДОЛИНА ИОСАФАТА	0363
БЕДУИН	0364
ЛЮЦИФЕР	0365
ИМРУ-УЛЬ КАЙС	0366
ХУДОЖНИК	0368
ОТЧАЯНИЕ	0369
ТРОН СОЛОМОНА	0370
РЫБАЛКА	0372
БАБА-ЯГА	0373

ДИКАРЬ	0374
НАПУСТВИЕ	0375
ПОСЛЕДНИЕ СЛЕЗЫ	0376
РЫБАЧКА	0377
ВИНО	0378
ВДОВЕЦ	0378
ХРИСТЯ	0379
КРУЖЕВО	0380
ТУМАН	0381
ПОСЛЕ МЕССИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ	0382
СЕНОКОС	0383
СОБАКА	0386
МОГИЛА В СКАЛЕ	0387
ПОЛНОЧЬ	0388
РАССВЕТ	0389
ПОЛДЕНЬ	0390
ВЕЧЕР	0391
МЕРТВАЯ ЗЫБЬ	0392
ПРОМЕТЕЙ В ПЕЩЕРЕ	0393
МОРСКОЙ ВЕТЕР	0394
СТОРОЖ	0395
БЕРЕГ	0396
СПОР	0397
ЗВЕЗДОПОКЛОННИКИ	0398
ПРОЩАНИЕ	0399
ПЕСНЯ	0399
СПОЛОХИ	0400
НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ	0401

ПИЛИГРИМ	0402
О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ	0403
В ПЕРВЫЙ РАЗ	0405
ПРИ ДОРОГЕ	0406
НОЧЛЕГ	0408
ЗОВ	0409
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ	0410
ИСТОЧНИК ЗВЕЗДЫ	0411
МАТЕРИ	0412
БЕЗ ИМЕНИ	0413
ЛИМОННОЕ ЗЕРНО	0414
МУЖИЧОК	0414
ДВОРЕЦКИЙ	0415
КРИНИЦА	0416
ПЕСНЯ	0417
ЗИМНЯЯ ВИЛЛА	0418
ПАМЯТИ	0419
БЕРЕЗКА	0420
РАССКАЗЫ	0421
ПЕРЕВАЛ	0421
ТАНЬКА	0427
КАСТРЮК	0445
НА ХУТОРЕ	0463
ВЕСТИ С РОДИНЫ	0472
НА КРАЙ СВЕТА	0498
УЧИТЕЛЬ	0509
В ПОЛЕ	0577
СВЯТЫЕ ГОРЫ	0605

НА ДАЧЕ	0617
ВЕЛГА	0690
БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНИ	0707
АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ	0739
ЭПИТАФИЯ	0767
НАД ГОРОДОМ	0776
МЕЛИТОН	0785
СОСНЫ	0796
НОВАЯ ДОРОГА	0815
ТУМАН	0832
ТИШИНА	0842
КОСТЕР	0851
В АВГУСТЕ	0855
ОСЕНЬЮ	0861
НОВЫЙ ГОД	0871
О БУНИНЕ	0883
ПРИМЕЧАНИЯ	0978
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	1039
СОДЕРЖАНИЕ	1040
РАССКАЗЫ	1046

Иван БУНИН

Полное собрание сочинений в XIII томах

Воскресенье

Москва

2006

УДК 882-821

ББК 84(2Рос=Рус) 1

*Общественный оргкомитет по изданию
Полного собрания сочинений И .А. Бунина в
тринадцати томах:*

Л. К. Полежаев (председатель), А. А. Авдеев (зам. председателя), Г. З. Юшкявичюс (зам. председателя), П. О. Авен, В. В. Бабкин, Н.В. Гавриленко, Рене Герра, А.Г. Гучев, В. В. Денисов, А. П. Деревянко, Е. А. Евтушенко, С. Н. Есин, Д. А. Жуков, О. Н. Михайлов, В. В. Михальский, В. М. Песков, Ю. М. Поляков, В. Г. Распутин, Э.М. Сагалаев, Г. Н. Селезнев, Н. Н. Скатов, В. Н. Сунгоркин, В. А. Фронин, В. Н. Шевченко, С. В. Ямщиков.

БУНИН И. А.

Б91 Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 1. Стихотворения (1888-1911); Рассказы (1892-1901). — М.: Воскресенье, 2006. —

576 стр. с ил.

Традиционно в собраниях сочинений стихи и проза, может быть, самого современного русского классика И. А. Бунина публиковались в разных томах.

В настоящем издании впервые ранний Бунин-поэт и Бунин-прозаик предстают слитно, в одной книге. Первый том состоит из двух частей: Стихотворения (1888-1911); Рассказы (1892-1901).

Произведения печатаются в окончательной, канонической редакции, в свое время сделанной автором, а также впервые после смерти И. А. Бунина в авторской пунктуации.

ISBN 5-88528-476-8 (Том 1)

ISBN 5-88528-478-4

© «Воскресенье» -составление, верстка, 2006

© МВ. Георгиев. Оформление, макет, 2006

© И.И. Жуков. Составление, примечания, 2006

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство «Воскресенье» приступает к выпуску Полного собрания сочинений Ивана Алексеевича Бунина в 13-ти томах. Суще-

ственная особенность настоящего издания именно в том, что впервые творческое наследие писателя предстает без купюр и каких-либо корректив, во всей полноте тематического и художественного многообразия. Будет издано тринадцать объемных, обстоятельных книг. Думается, читатели по достоинству оценят этот широкий и, надеемся, актуальный замысел.

Как и подобает великому художнику, Бунин неповторим, строго, даже крайне индивидуален. Жил и творил только с опорой на свой жизненный опыт. Всегда, во всём оставался самим собой, не приемля никаких общих литературных и псевдолитературных деклараций, течений, направлений.

Общепризнанно, имя Ивана Бунина - в первом ряду отечественной литературной классики. Это правдивый и честный, необыкновенно яркий и талантливый изобразитель глубин и смысла жизни. Из поколения в поколение Бунин остается одним из самых любимых и читаемых писателей.

Грустные, звучные и всегда желаемые, как спелые колосья, бунинские слова, фразы,

строки, поэзия его блистательных страниц отвечают нашим дорогим и сокровенным мыслям и чувствам.

Его талант не знал увядания и в долгие годы эмиграции.

В 1929 году вышла в свет во многом итоговая книга Бунина-поэта «Избранные стихи», прочно утвердившая за ним - «анархистом-новатором» - одно из первых мест в русской поэзии. В эмиграции Буниным написаны десять новых книг прозы, теперь широко известных: «Роза Иерихона», «Солнечный удар», «Божье древо», «Митина любовь» и другие.

В тридцатые годы (Бунину за шестьдесят) наступает расцвет его творчества. Событием стал выход в свет его самого крупного, во многом автобиографического произведения - романа «Жизнь Арсеньева». Роман издавался в Париже несколько раз, большими тиражами.

В 1937 году вышло документальное повествование «Освобождение Толстого» - одно из лучших о Льве Николаевиче Толстом. Создается, может быть, самая совершенная по

мастерству книга рассказов «Темные аллеи».

Не без оснований, с печальной гордостью Иван Алексеевич говорил: «Вместе со мной умрет настоящий русский язык - народный, неиспорченный, с его яркостью, солью, остроумием!».

Зарубежные писатели и критики, а среди них такие знаменитые, как Ромен Роллан, Ярослав Ивашкевич, Томас Манн и другие, единодушно отмечали несравненные достоинства его произведений, безусловную значимость художественного опыта Бунина для русской и мировой культуры.

Новаторский вклад писателя в мировую литературу был отмечен в Стокгольме: в 1933 году Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».

До настоящего времени самым полным оставалось Собрание сочинений И. А. Бунина в девяти томах (1965-1967 гг.). Оно состоялось благодаря тому, что инициатором и, по существу, главным редактором издания был бескомпромиссный и мужественный человек ле-

гендарный Александр Трифонович Твардовский. Этим собранием обозначены своеобразные ориентиры в редакционноиздательской работе, значимые и в современных условиях.

В то же время многое из бунинских произведений оказалось за бортом этого издания, в полосе тогдашних «запретных зон». Среди них: «Дневники» писателя - впечатляющая летопись жизни и творчества; документальное повествование в форме дневника «Окаянные дни» - о бессмысленно кровавых событиях революции и гражданской войны.

Значительно обогатился и расширился список бунинских шедевров, не включавшихся ранее в собрания сочинений. Наконец, открылись и новые имена и адресаты в его переписке, что позволяет существенно уточнить события его жизни, зримо увидеть характер творческих замыслов и воплощений.

В 10-11-й тома настоящего Собрания включены не только письма, опубликованные ранее в других изданиях, но и неизвестные до сих пор - из частных архивов, в том числе парижских.

При публикации писем издатели руковод-

ствовались бунинскими советами, высказанными в его Завещании: проявлять при работе над письмами, при отборе их для печати серьезность и строгость.

Не сомневаемся, Полное собрание сочинений писателя такого масштаба, как Иван Алексеевич Бунин, будет в радость читателям, станет для них открытием новых горизонтов в его творчестве. Можно уподобить это издание ретроспективной выставке живописца, когда просматриваются начало и завершение художественных исканий, когда весь путь очевиден как на ладони — от картины к картине. Этим продиктована и композиционная структура нашего издания.

«ВОСКРЕСЕНЬЕ»

ИВАН БУНИН

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Просьбу дать для «Русской литературы XX века» сведения о моей жизни и литературной деятельности могу в настоящее время исполнить только частично - кратко сообщить только кое-что.

Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать - Людми-

лой Александровной (в девичестве Чубаровой).

О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр<атьями> Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства...»

Род (тоже древнедворянский) Чубаровых мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы - дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше: с полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне. Я же чуть не с отрочества был «вольнодумец», вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею: исключительно поэтическими были мои юношеские, дай позднейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшие мне.

Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, «Тронувшийся» чело-

век. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А Крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени.) Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной.

Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев -

он был очень вспыльчив - и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по нескольку лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, - он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, - не переносил логики, характер - порывистый, решительный, открытый и великодушный - преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе

много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно.

Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, - что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, - самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними - невыносима. В

пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.

Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не имел, - сестра Маша была еще совсем ребенок, - игрушек, развлечений и склонности к ним - тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня - новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за

вишневый сад на запад ... Мать и дворовые любили рассказывать, - от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», - то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке -нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.

Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был

нежный, - что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, - самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними - невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.

Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не имел, - сестра Маша была еще совсем ребенок, - игрушек, развлечений и склонности к ним - тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня - новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лоцины за хуто-

ром, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневым садом на запад ... Мать и дворовые любили рассказывать, - от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», - то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке -нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.

Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у од-

нодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину. А воспитателем моим был престранный человек - сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, - он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, - вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, - и я положительно бредил рыцарством! - поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я,

до тошноты насасываясь с кисточки водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок: на мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, -сатирические вирши на злобы дня, -и вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню эту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно.

Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжелых дней провел я в зубрежке латинской грамматики.

Года за два до поступления в гимназию (поступил я туда на одиннадцатом году) я испытал еще одну страсть -к житиям святых, и начал поститься, молиться. Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благо-

даря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всенощных бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю - в древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские - хотя никакой ортодоксальной веры не держусь.)

Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, - известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех помещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже: новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился, а влюбленность моя в ту пору,

как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженна. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии.

Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме и что еще не пошло на сигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас, и до сих пор еще помню, как читал я «Английских поэтов» Гербеля, «Робинзона», затасканный том «Живописного обозрения», кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди» ... Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я *видел* то, что читал, -впоследствии даже слишком остро, -и это давало какое-то особое наслаждение.

В гимназии много из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. (Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сей-

час «Колокол» Андерсена.) И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. (Память у меня вообще хорошая, -то, что интересуется, запоминаю крепко, -но насилия не терпит: убедился в этом еще в ранней молодости, когда, по гоголевской манере, пытался упражняться в наблюдательности.)

Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабушки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам, и он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о ли-

температуре. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах ...

Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, - больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, - чаще всего любовное, - труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского". Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, - он однажды видел его, - вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый

ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, - благо лермонтовское Кропотово было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все большие писатели родились поблизости, - и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился, и Эртель, хотя я и тогда чувствовал его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня -то, что он писал бегло, жидко ...

В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров. Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью «наблюдения таинственной ночной жизни», месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем.

В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели» (издаваемой П. А. Гайдебуровым), где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Л. Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, - взял меня под свое исключительное руководство.

Между тем благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завязанных «радикалов», как выражались тогда, а по-

жив в Харькове, побывал в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по сорок в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть очень легким от голода и молодости - превосходно. С осени стал работать при «Орловском вестнике», то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, - и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь.

К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии, - служба у меня была легкая и свободная, - затем, увлеченный толстовской про-

поведью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника». Но сам же Толстой, к которо-

му я ездил с А. А. Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца. (Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим - «Словом о полку Игореве», малорусскими «думами», - теми, что наиболее величавы и торжественны, - некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша» ради Мицкевича я даже учился по-польски.)

За работой при «Орловском вестнике» я писал урывками, печатаясь в «Северном вестнике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте» и заключала в себе странный упрек в подража-

нии Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ, под чьим-то заглавием - «Деревенский эскиз», - был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне А. М. Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы»: сам Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении: «Ржи наливают и ц». Стасюлевич изумился: «Кого наливают?» - и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.)

В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве

с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти и производил перевероты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти «дерзания» и «переоценки ценностей» и, увы, не попал в историю «новой

русской литературы», хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и т.п.

В октябре 1895 года в «Новом слове», которое редактировал Кривенко, разошедшийся с «Русским богатством», а издавала О. Н. Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо (особенно Скабичевским, слову которого придавали тогда

большой вес). Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет (в январе 1897 г.) среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно - то в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми и с молодыми писателями, посещал «Посредник», куда захаживал Толстой ... Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал; довольно много переводил - чужое было легче передавать.

С этой поры собственно и начинается моя более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренне и внешне и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно - задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло.

В 1898 году я женился на А. Н. Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н. П. Цакни. Женившись, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок: зимой столицы и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н.Д. Телешов, а постоянными посетителями - Горький, Андреев, Куприн и т. д. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит В.Н. Муромцева. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние восемь лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой

Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию (где три последних зимы мы провели на Капри), был в некоторых городах Румынии, Сербии -и, говоря словами Боратынского, отовсюду -«К вам приходил, родные степи, моя начальная любовь» -и снова «по свету бродил и наблюдал людское племя ...».

Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гайавате», давший повод некоторым моим критикам, при их обычной поспешности суждений и любви (или необходимости), повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то «созерцателей». В 1900 году издал первую книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заго-

ворили было о моем «увлечении декадентами» и усердно цитировали мой сонет «В Альпах», мысль которого, в сущности, была совсем не нова, - подобна мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: «услышишь суд глупца», - меж тем как другие одобряли меня за то, что я держусь каких-то «заветов», «традиций», хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году «Знание», ближайшим сотрудником которого я был после этого почти все время его деятельного существования, издало первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал Пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году - почетным членом Общества любителей российской словесности, коего я состою теперь временным председателем, и т.д. Добавлю еще, что в текущем году книгоиздательство Маркса выпускает приложением к «Ниве» редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит все, что я считаю более или менее до-

стойным печати.

В общем, жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т.п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из пи-

савших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным-сперва «декадент», потом «парнасец», «холодный мастер», - в то время как прочие все еще твердили: «певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе, любовь к человеку ... есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское» (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум.

А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось, во внимании ко мне за это время недостатка не было. Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторявшийся в русской литературе, - то, как некоторые отнеслись к моей «Деревне», к «Ночному разговору», к «Суходолу». На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был), корили меня моим происхождении-

ем, - точно я был первый и единственный «дворянин» в русской литературе, - уверяли, что я для деревни только «пришлый интеллигент», приплетали некстати мои «поездки в Индию», хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что «недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа: «А все-таки это не таю», - и, никогда не приводя никаких доказательств, отделялись фразами о «искрах божьих», «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих «искр» я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя

Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа.», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками

его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба «Горя от ума» всем известна. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» в один голос кричали: «Это клевета., это невозможность». Гончарову, по свидетельству А. Ф. Кони, «пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» Достоевского называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «позорным измышлением», «произведением самым жалким». А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках -по извозчикам и дворникам, о солдатах- только одно: «так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются ... Но все же не раз

думал я: доколе же так вот и будет писаться история? Не ужасно ли, что, покричав: «Это клевета, это невозможность», -мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось «невозможностью», признавалось «классическим» и поступало уже в полное ведение учителей словесности?

За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог.

Москва, 10.IV.15

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ к ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ ГОСПОДИНА ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»

Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие

имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в городе Воронеже. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился и в печати.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были отмечены высшей наградой Российской Академии наук - премией имени Пушкина.

В 1909 году эта Академия избрала меня в число двенадцати почетных Академиков.

Однако известности более или менее широкой я не имел долго: я несколько лет, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал ничего, кроме стихов; я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности; я не

принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; а между тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из «народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той «литературной революции», которая, - в большой мере из-за подражания Западной Европе, - столь шумно проделывалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунисии, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я напечатал

«Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, её светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы.

В эти годы, я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция. < ...>

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а в феврале 1920 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу - сперва на Балканы, потом во Францию,

Париж, 1921

Р. С. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы.

В эмиграции мною написано шесть новых книг.

Париж, 1924

СТИХОТВОРЕНИЯ

1888⁻¹⁹¹¹

* * *

1888-1899

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат.
Звездами осыпан черный сад
И на крышах- белая солома:
Трауры полночные лежат.

Ноябрь, 1888

* * *

Пустыня, грусть в степных просторах.
Синеют тучи. Скоро снег.
Леса на дальних косогорах
Как желто-красный лисий мех.
Под небом низким, синеватым
Вся эта сумрачная ширь
И пестрота лесов по скатам
Угрюмы, дики, как Сибирь.
Я перейду луга и доли,
Где серо-сизый, неживой
Осыпался осинник голый

Лимонной мелкою листвою.
Я поднимусь к лесной сторожке -
И с грустью глянут на меня
Ее подслепые окошки
Под вечер сумрачного дня.
Но я увижу на пороге
Дочь молодую лесника:
Малы ее босые ноги,
Мала корявая рука.
От выреза льняной сорочки
Ее плечо еще круглей,
А под сорочкою - две точки
Стоячих девичьих грудей.

1888

* * *

Как все вокруг сурово, снежно,
Как этот вечер сиз и хмур!
В морозной мгле краснеют окна нежно
Из деревенских нищенских конур.
Ночь северная медленно и грозно
Возносит косное величие свое.
Как сладко мне во мгле морозной
Мое звериное жильё!

1888

* * *

Под орган душа тоскует,
Плачет и поет,
Торжествует, негодует,
Горестно зовет:
О благий и скорбный! Буди
Милостив к земле!
Скудны, нищи, жалки люди
И в добре, и в зле!
О Иусе, в крестной муке
Преклонивший лик!
Есть святые в сердце звуки, -
Дай для них язык!

1889

* * *

На поднебесном утесе, где бури
Свищут в слепящей лазури,-
Дикий, зловонный орлиный приют.
Пью, как студеную воду,
Горную бурю, свободу,
Вечность, летящую тут.
Крым, 1889

ЦЫГАНКА

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса, -
Впереди опять свобода,
Степь, простор и небеса.
Но притворщица отстала,
Ловко семечки грызет,
Говорит, что в сердце жало,
Яд горючий унесет.
Говорит... А что ж играет
Яркий угольный зрачок?
Солнцем, золотом сияет,
Но бесстрастен и далек.
Сколько юбок! Ногу стройно
Облегает башмачок,
Стан струится беспокойно,
И жемчужна смуглость щек...
Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса,
Счастье, молодость, свобода,
Солнце, степи, небеса.

1889

■К * *

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах сваялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж - и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.
И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

* * *

Седое небо надо мной
И лес раскрытый, обнаженный.
Внизу, вдоль просеки лесной,
Чернеет грязь в листве лимонной.
Вверху идет холодный шум,
Внизу молчанье увяданья ...
Вся молодость моя - скитанья

Да радость одиноких дум!

1889

* * *

Один встречаю я дни радостной недели,-
В глуши, на севере... А там у вас весна:
Растаял в поле снег, леса повеселели,
Даль заливных лугов лазурна и ясна;
Стыдливо белая береза зеленеет,
Проходят облака все выше и нежней,
А ветер сушит сад и мягко в окна веет
Теплом апрельских дней".

1889

Как дымкой даль полей закрыв на полча-
са,

Прошел внезапный дождь косыми полоса-
ми -

И снова глубоко синеют небеса

Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом
ржи,

На солнце бархатом пшеницы отливают,

И в зелени ветвей, в березах у межи,

Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез

Уж веет ласково, а белые березы

Роняют тихий дождь своих алмазных слез
И улыбаются сквозь слезы.
1889

В СТЕПИ

Н.Д. Телешову
Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:
И новая цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за теплыми морями,
А к нам идет утрюмая зима:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагоняя,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листвой засыпал доли и овраги,
И по ночам в их черной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радуется теперь!
И все-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне

Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.
Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья -
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастье - в печальной красоте.
Бывают дни: повеет теплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь - и все опять повеселело.
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж черными ветвями,
Меж золотыми листьями берез
Синеет наше ласковое небо!
Я в эти дни люблю бродить, вдыхая
Осинников поблекших аромат
И слушая дроздов пролетных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,

Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни
А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.
Моя весна тогда зовет меня,-
Мечты любви и юности далекой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается бывшее счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом,-
Оно живет в моем безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нем теперь все дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы, -
Покорность грустной участи своей!

1889

В КОСТЕЛЕ

Гаснет день - и звон тяжелый
В небеса плывет:
С башни старого костела
Колокол зовет.
А в костеле -ожиданье:
Сумрак, гул дверей,
Напряженное молчанье,
Тихий треск свечей.
В блеске их престол чернеет,
Озарен темно;
Высоко над ним желтеет
Узкое окно.
И над всем -Христа распятье:
В диадеме роз,
Скорбно братские объятья
Распростер Христос ...
Тишина. И вот, незримо
Унося с земли,
Звонко песня серафима
Разлилась вдали.
Разлилась -и отзвучала:
Заглушил, покрыл

Гром органного хора
Песнь небесных сил.
Вторит хор ему... Но, Боже!
Отчего и в нем
Та же скорбь и горе то же, -
Мука о земном?
Не во тьме ль веков остался
День, когда с тоской
Человек, как раб, склонялся
Ниц перед тобой
И сиял зловещей славой
Пред лицом людей
В блеске молнии кровавой
Блеск твоих очей?
Для чего звучит во храме
Снова скорбный стон,
Снова дымными огнями
Лик твой озарен?
И тебе ли мгла куренья,
Холод темноты,
Запах воска, запах тленья
Мертвые цветы?
Дивен мир твой! Расцветает
Он, тобой согрет,
В небесах твоих сияет

Солнца вечный свет,
Гимн природы животворный
Льется к небесам ...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!
1889

ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в поля мои родные,
Я странником вступил под сень моих дуб-
рав,
Под их навесы вековые,
И, зноем истомлен, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу
...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юных блеск очей, и юную отвагу!
Ты видишь -я красы твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю ...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.
1890

* * *

В туче, солнце заступающей,
Прокатился гулкий гром,
Ангел, радугой сияющий,
Золотым взмахнул крестом -
И сорвался бурей, холодом,
Унося в пыли бурьян,
И помчался шумно, молодо
Дымным ливнем ураган.

1891

* * *

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, -
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.
В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда. 1891

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело и важно.
Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом

Густые белые пары
Напоены теплом и светом.
А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.
Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
В затишье гумен и дворов.
Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.
Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

СОЛОВЬИ

То разрастаясь, то слабея,
Гром за усадьбой грохотал,
Шумела тополей аллея,
На стекла сумрак набегал.
Все ниже тучи наплывали;
Все ощутительней, свежей
Порывы ветра обвевали
Дождем и запахом полей.
В полях хлеба к межам клонились...
А из лощин и из садов -
Огвсюду с ветром доносились
Напевы ранних соловьев.
Но вот по тополям и кленам
Холодный вихорь пролетел ...
Сухой бурьян зашелестел,
Окно захлопнулось со звоном,
Блеснула молния огнем...
И вдруг над самой крышей дома
Раздался треск короткий грома
И тяжкий грохот ... Все кругом
Затихло сразу и глубоко,
Сад потемневший присмирел, -

И благодатно и широко
Весенний ливень зашумел.
На межи низко наклонились
Хлеба в полях... А из садов
Все так же звучно доносились
Напевы ранних соловьев.
Когда же, медленно слабея,
Дождь отшумел и замер гром,
Ночь переполнила аллеи
Благоуханьем и теплом.
Пар, неподвижный и пахучий,
Стоял в хлебах. Спала земля.
Заря чуть теплилась под тучей
Полоской алого огня.
А из лощин, где распускались
Во тьме цветы, и из садов
Лились и в чащах отдавались
Все ярче песни соловьев.

1892

* * *

Гаснет вечер, даль синеет,
Солнышко садится,
Степь да степь кругом -и всюду
Нива колосится!
Пахнет медом, зацветает

Белая гречиха ...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо ...
А вдали кукушка в роще
Медленно кукует...
Счастлив тот, кто на работе
В поле заночует!
Гаснет вечер, скрылось солнце,
Лишь закат краснеет ...
Счастлив тот, кому зарею
Теплый ветер веет;
Для кого мерцают кротко,
Светятся с приветом
В темном небе темной ночью
Звезды тихим светом;
Кто устал на ниве за день
И уснет глубоко
Мирным сном под звездным небом
На степи широкой!

1892

Еще от дома на дворе
Синеют утренние тени
И под навесами строений
Трава в холодном серебре;

Но уж сияет яркий зной,
Давно топор стучит в сарае
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.
С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеется,
И гулко в роще отдается
Над нею ладный стук валька.

1892

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни -и апрельский день.
Ласково синее утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней... А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.
В стороне далекой от родного края

Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,
Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый - степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд кре-
стьянский,

И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье -
Юности и счастья первая весна.

1893

* * *

За рекой луга зазеленели,
Веет легкой свежестью воды;
Веселей по рощам зазвенели
Песни птиц на разные лады.
Ветерок с полей тепло приносит,
Горький дух лозины молодой ...
О, весна! Как сердце счастья просит!
Как сладка печаль моя весной!
Кротко солнце листья пригревает
И дорожки мягкие в саду...
Не пойму, что душу раскрывает
И куда я медленно бреду!
Не пойму, кого с тоской люблю я,

Кто мне дорог ... И не все ль равно?
Счастья жду я, мучась и тоскуя,
Но не верю в счастье уж давно!
Горько мне, что я бесплодно трачу
Чистоту и нежность лучших дней,
Что один я радуюсь и плачу
И не знаю, не люблю людей.
1893

В ПОЕЗДЕ

Все шире вольные поля
Проходят мимо нас кругами;
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.
Вот под горою скит святой
В бору белеет за лугами ...
Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами,
А вот и лес! -И гул идет
Под стук колес в лесу зеленом;
Берез веселых хоровод,
Шумя, встречает нас поклоном.
От паровоза белый дым,
Как хлопья ваты, расползаясь,

Плывет, цепляется по ним,
К земле беспомощно склоняясь ...
Но уж опять кусты пошли,
Опять деревьев строй редееет,
И бесконечная вдали
Степь развернулась и синеет,
Опять привольные поля
Проходят мимо нас кругами,
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

1893

* * *

Ночь идет -и темнеет
Бледно-синий восток ...
От одежд ее веет
По полям ветерок.
День был долог и зноен...
Ночь идет и поет
Колыбельную песню
И к покою зовет.
Грустен взор ее темный,
Одинок ее путь...
Спи-усни, мое сердце!
Отдохни ... Позабудь.

1893

* * *

...И снилось мне, что осенней порой
В холодную ночь я вернулся домой.
По темной дороге прошел я один
К знакомой усадьбе, к родному селу...
Трещали обмерзшие сучья лозин
От бурного ветра на старом валу ...
Деревня спала". И с о страхом, как вор,
Вошел я в пустынный, покинутый двор.
И сжалось сердце от боли во мне,
Когда я кругом поглядел при огне!
Навис потолок, обвалились углы,
Повсюду скрипят под ногами полы
И пахнет печами ... Зброшен, забыт,
Навеки забыт он, родимый наш дом!
Зачем же я здесь? Что осталось в нем,
И если осталось -о чем говорит?
И снилось мне, что всю ночь я ходил
По саду, где ветер кружился и выл,
Искал я отцом посаженную ель,
Тех комнат искал, где сбиралась семья,
Где мама качала мою колыбель
И с нежною грустью ласкала меня, -
С безумной тоскою кого-то я звал,
И сад обнаженный гудел и стонал...

МАТЬ

И дни и ночи до утра
В степи бураны бушевали,
И вешки снегом заметали,
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом
И стекла в рамах дребезжали,
И снег сухой в старинной зале
Кружился в сумраке ночном.
Но был огонь - не угасая,
Светил в пристройке по ночам,
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая.
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила ...
И ночь тянулась без конца...
Порой, дремотой обвевая,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца.
Когда ж буран в порыве диком

Внезапным шквалом налетал,
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым, дальним криком
В степи на помощь призывал.
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами".
1893

КОВЫЛЬ

*Что ми шумитъ, что ми звенитъ давеча
Рано предъ зорями?*

Сл. о Пл. Игор.

И
Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?
Холодеет ночь перед зарею,
Смутно травы шепчутся сухие,
Сладкий сон их нарушает ветер.
Опускаясь низко над полями,
По курганам, по могилам сонным,
Нависает в темных балках сумрак.
Бледный день над сумраком забрезжил,

И рассвет ненастный задымился ...
Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?
Холодеет ночь перед зарею,
Серой мглой подернулись балки...
Или это ратный стан белеет?
Или снова веет вольный ветер
Над глубоко спящими полками?
Не ковыль ли, старый и сонливый,
Он качает, клонит и качает,
Вежи половецкие колышет
И бежит-звенит старинной былью?

II

Ненастный день. Дорога прихотливо
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво,
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно синее,
Кричат орлы, пустынный ветер веет
В задумчивых, тоскующих полях,
Да день от туч кочующих темнеет.
А путь бежит... Не тот ли это шлях,
Где Игоря обозы проходили
На синий Дон? Не в этих ли местах,
В глухую ночь, в яругах волки выпи,

А днем орлы на медленных крылах
Его в степи безбрежной провожали
И клетком псов на кости созывали,
Грозя ему великою бедой?
- Гей, отзовись, степной орел седой!
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!
...Безмолвна степь. Один ковыль сонливый
Шуршит, склоняясь ровной чередой ...

1894

Могилы, ветряки, дороги и курганы -
Все смерклось, отошло и скрылося из глаз.
За дальней их чертой погас закат румя-
ный,

Но точно ждет чего вечерний тихий час.
И вот идет она, Степная Ночь, с востока ...
За нею синий мрак над нивами встает...
На меркнувший закат, грустна и одинока,
Она задумчиво среди хлебов идет.
И медлит на межах, и слушает молчанье ...
Глядит вослед зари, где в призрачной дали
Еще мерещутся колосьев очертанья
И слабо брезжит свет над сумраком земли.
И полон взор ее, загадочно-унылый,
Великой кротости и думы вековой

О том, что ведают лишь темные могилы,
Степь молчаливая да звезд узор живой.

1894

Неуловимый свет разлился над землею,
Над кровлями безмолвного села.

Отчетливей кричат перед зарею

Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом -ни звука, ни тревоги.

Спят безмятежным сном зеленые овсы...

Нахохлясь, кобчик спит на кочке у дороги,

Покрытый пылью матовой росы ...

Но уж светлеет даль ... Зелено-серебри-

стый,

Неуловимый свет восходит над землей,

И белый пар лугов, холодный и душистый,

Как фимиам, плывет перед зарей.

1894

Если б только можно было

Одного себя любить,

Если б прошлое забыть,-

Все, что ты уже забыла,

Не смущал бы, не страшил

Вечный сумрак вечной ночи:

Утомившиеся очи
Я бы с радостью закрыл!

1894

* * *

Нагая степь пустыней веет...
Уж пал зазимок на поля,
И в черных пашнях снег белеет,
Как будто в трауре земля.
Глубоким сном среди лощины
Деревня спит... Ноябрь идет,
Пруд застывает, и с плотины
Листва поблекшая лозины
Уныло сыплется на лед.
Вот день... Но скупое над землею
Сияет солнце; поглядит
Из-за бугра оно зарею
Сквозь сучья черные раakit,
Пригреет кроткими лучами -
И вновь потонет в облаках ...
А ветер жидкими тенями
В саду играет под ветвями,
Сухой травой шуршит в кустах ...

1894

Что в том, что где-то, на далеком

Морском побережье, валуны
Блестят на солнце мокрым боком
Из набегающей волны?
Не я ли сам, по чьей-то воле,
Вообразил тот край морской,
Осенний ветер, запах соли
И белых чаек шумный рой?
О, сколько их - невыразимых,
Ненужных миру чувств и снов,
Душою в сладкой муке зримых, -
И что они? И чей в них зов?
1895

КОСТЕР

Ворох листьев сухих все сильней, веселей
Разгорается,
И трещит и пылает костер.
Пышет пламя в лицо; теплый дым на вет-
ру развевается,
Затянул весь лесной косогор.
Лес гудит на горе, низко гнутся березы вет-
вистые,
Меж стволами качается тень ...
Блеском, шумом листвы наполняет леса

ЗОЛОТИСТЫЕ

Этот солнечный ветренный день.

А в долине - затишье, светло от орешника
яркого,

И по светлой долине лесной

Тянет гарью сухой от костра распаленного,
жаркого,

Развеивается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом
очарованный,

В полусне я лежу у куста. ..

Странно желтой листвой озарен этот дол
заколдованный,

Эти лисьи, глухие места!

Ветер стоны несет... Не собаки ль вдали за-
ливаются?

Не рога ли тоскуют, вопят?

А вершины шумят, а вершины скрипят и
качаются,

Однотонно шумят и скрипят...

17.IX.95

Лес Жемчужникова

Когда на темной город сходит

В глухую ночь глубокий сон,

Когда метель, кружась заводит
На колокольнях перезвон, -
Как жутко сердце замирает!
Как заунывно в этот час,
Сквозь вопли бури, долетает
Колоколов невнятный глас!
Мир опустел ... Земля остыла...
А вьюга трупы замела,
И ветром звезды загасила,
И бьет во тьме в колокола.
И на пустынном, на великом
Погосте жизни мировой
Кружится Смерть в веселье диком
И развеивает саван свой!

1895

Ночь наступила, день угас,
Сон и покой -и всей душою
Я покоряюсь в этот час
Ночному кроткому покою.
Как облегченно дышит грудь!
Как нежно сад благоухает!
Как мирно светит и сияет
В далеком небе Млечный Путь!
За все, что пережито днем,

За все, что с болью я скрываю
Глубоко на сердце своем, -
Я никого не обвиняю.
За счастье минут таких,
За светлые воспоминанья
Благословляю каждый миг
Былого счастья и страданья!
1895

НА ПРОСЕЛКЕ

Веет утро прохладой степною...
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травой
Полевая дорога в хлебах.
В мураве колеи утопают,
А за ними, с обеих сторон,
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,
Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигает душистый,
И вливает отраду он в грудь,
И свевает с души он тревоги ...

Весел мирный проселочный путь,
Хороши вы, степные дороги!

1895

* * *

Долог был во мраке ночи
Наш неверный трудный путь!
Напрягались тщетно очи
Разглядеть хоть что-нибудь ...
Только гнулась и скрипела
Тяжко мачта, да шумело
Море черное, и челн
Уносило и качало
И с разбегу осыпало
Ледяною пылью волн...
Но редет мрак холодный;
Отделились небеса
От седой пучины водной,
И сереют паруса;
Над свалившеюся тучей,
Как над черной горной кручей,
Звезды блещут серебром;
Над кормой огонь сигнальный
Искрой бледной и печальной
Догорает ... А кругом, -
Из морской дали туманной,-

Бледным сумраком одет,
Уж сквозит рассвет багряный,
Дышит холодом рассвет!
И все ярче меж волнами,
В брызгах огненно-живых,
В переливах голубых,
Золотое блещет пламя,
И все выше над волной
Глубью радостной, иной
Бирюза сквозит и тает,
И, качая быстрый челн,
Светлой влагой, пылью волн
Море весело кидает!

1895

Поздний час. Корабль и тих и темен,
Слабо плещут волны за кормой.
Звездный свет да океан зеркальный -
Царство этой ночи неземной.
В царстве безграничного молчанья,
В тишине глубокой сторожат
Час полночный звезды над морями
И в морях таинственно дрожат.
Южный Крест, загадочный и кроткий,
В душу льет свой нежный свет ночной

И душа исполнена предвечной
Красоты и правды неземной.
1895

МЕТЕЛЬ

Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, березки и ели...
Месяц меж тучек над полем сияет, -
Бледная тень набегает и тает ...
Мнится мне ночью: меж белых берез
Бродит в туманном сиянье Мороз.
Ночью в избе, под напевы метели,
Тихо разносится скрип колыбели ...
Месяца свет в темноте серебрится -
В мерзлые стекла по лавкам струится...
Мнится мне ночью: меж сучьев берез
Смотрит в безмолвные избы Мороз.
Мертвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя замедает ночная,
Спят твои села под песни метели,
Дремлют в снегу одинокие ели...
Мнится мне ночью: не степи кругом -
Бродит Мороз на погосте глухом...
1887-1895

В окошко из темной каюты
Я высунул голову. Ночь.
Кипящее черное море
Потопом уносится прочь.
Над морем - тупая громада
Стальной пароходной стены.
Торчу из нее и пьянею
От зыбко бегущей волны.
И все забирает налево
Покатая к носу стена,
Хоть должен я верить, что прямо
Свой путь пролагает она.
Все вкось чья-то сила уводит
Наш темный полуночный гроб,
Все будто на нас, а все мимо
Несется кипящий потоп.
Одно только звездное небо,
Один небосвод недвижим,
Спокойный и благостный, чуждый
Всему, что так мрачно под ним.

1896

РОДИНА

Под небом мертвенно-свинцовым
Утрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

1896

* * *

Ночь и даль седая,-
В инее леса.
Звездами мерцая,
Светят небеса.
Звездный свет белеет,
И земля окрест
Стынет-цепенеет
В млечном свете звезд.
Тишина пустыни ...
Четко за горой
На реке в долине
Треснет лед порой...

Метеор зажжется,
Озаряя снег...
Шорох пронесется -
Зверя легкий бег...
И опять - молчанье ...
В бледной мгле равнин,
Затаив дыханье,
Я стою один.

1896

* * *

Христос воскрес! Опять с зарею
Редет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы ... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают

И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

1896

НА ДНЕПРЕ

За мирным Днепром, за горами
Заря догорала светло,
И тепел был воздух вечерний,
И ясно речное стекло.
Вечернее алое небо
Гляделось в зеркальный затон,
И тихо под лодкой качался
В бездонной реке небосклон ...
Далекое, мирное счастье!
Не знаю, кого я любил,
Чей образ, и нежный и милый,
Так долго я в сердце хранил.

Но сердце грустит и доньне".
И помню тебя я, как сон -
И близкой, и странно далекой,
Как в светлой реке небосклон...
1896

КИПАРИСЫ

Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская
даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волна-
ми,
А здесь - глубокий сон и вечная печаль.
Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь ... Задумчивой тол-
пой
Здесь кипарисы ждут -и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.
Жизнь не смущает их, минутная, дневная
...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и занывая,
С могильной стражею белеющих крестов.
1896

Вьется путь в снегах, в степи широкой.
Вот -луга и над оврагом мост,
Под горой -поселок одинокий,
На горе -заброшенный погост.
Ни души в поселке; не краснеют
Из-под крыш вечерние огни;
Слепо срубы в сумерках чернеют ...
Знаю я -покинуты они.

Пахнет в них холодной золою,
В печку провалилася труба,
И давно уж смотрит нежилою,
Мертвой и холодной изба.
Под застрехи ветер жесткий дует,
Сыплет снегом... Только он один
О тебе, родимый край, тоскует
Посреди пустых твоих равнин!
Путь бежит, в степи метель играет,
Хмуρο сходит долгой ночи тень...
О, пускай скорее умирает
Этот жуткий, этот тусклый день!
1897

* * *

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,

Что туманно синее безбрежное море
И скрывается солнце вдали?
Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далеко земля,
Что с прощальной грустью закат угасает
На косых парусах корабля
И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
В беспредельном просторе морей?
1897

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Холодный ветер, резкий и упорный,
Кидает нас, и тяжело грести;
Но не могу я взоров отвести
От бурных волн, от их пучины черной.
Они кипят, бушуют и гудят,
В ухабах их, меж зыбкими горами,
Качают чайки острыми крылами
И с воплями над бездною скользят.
И ветер вторит диким завываньем
Их жалобным, но радостным стенаньям,
Потяжелее выбирает вал,

Напрягши грудь, на нем взметает пену
И бьет его о каменную стену
Прибрежных мрачных скал.
1897

НА ХУТОРЕ

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий
взгляд -

И звучит гитара удалю печальной
Песне беззаботной, старой песне в лад.
«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»
Свечи нагорели, долог зимний вечер...

Брови ты приподнял, грустен тихий
взгляд.

Не судья тебе я за грехи былого!
Не воротишь жизни прожитой назад!
1897

Скачет пристяжная, снегом обдает...
Сонный зимний ветер надо мной поет,

В полусне волнуясь, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.
Эй, проснися, ветер! Подыми пургу,
Задымись метелью белою в лугу,
Загуди поземкой, закружись в степи,
Крикни вместо песни: «Постыдись, не
спи!»

Безотраден путь мой! Каждый Божий
день -

Глушь лесов да холод-голод деревень ...
Стыдно мне и больно ... Только стыд-то
мой

Слишком скоро гаснет в тишине немой!
Сонный зимний ветер надо мной поет,
Усыпляет песней, воли не дает,
Путь заносит снегом, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит

...

1897

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь
несмело:

Вот в этой руке - все твое бытие,
Я всю тебя чувствую - душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее
быть?

Но Ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летающий над миром, чтоб смертною стра-
стью губить,

Уж мчится над нами!

1898

Поздно, склонилась луна,
Море к востоку черно, тяжело,
А под луною, на юг,
Блещет оно, как стекло.
Там, под усталой луной,
У озаренных песков и камней,
Что-то темнеет, рябит
В неводе сонных лучей.
Там, под усталой луной,
У позлащенных камней и песков,
Чудища моря ползут,
Движется много голов.
Поздняя ночь, мы одни
В этой степной и безлюдной стране,
В мертвом молчанье ее,
При заходящей луне.
Поздняя ночь все свежей,

Звездный все глубже, синей небосклон,
Дикою пахнет травой,
Запахом древних времен.
И холодеют пески,
Холодны милые руки твои ...
К югу склонилась луна.
Выпита чаша до дна,
Древняя чаша любви.

1898

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, -луна сияла
В ее окно, - и одеяла
Светился спущенный атлас.
Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, -
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

При свете звезд померкших глаз сиянье,
Косящий блеск меж гробовых ресниц,
И сдавленное знойное дыханье,
И это сердце -сердце диких птиц!

1898

НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ

Так небо низко и уныло,
Так сумрачно вдали,
Как будто время здесь застыло,
Как будто край земли.
Густое чахлое полесье
Стоит среди болот,
А там -угрюмо в поднебесье
Уходит сумрак вод.
Уж ночь настала, но свинцовый
Дневной не меркнет свет.
Немая тишь в глуши сосновой,
Ни звука в море нет.
И звезды тускло, недвижимо
Горят над головой,
Как будто их зажег незримо
Сам ангел гробовой.

1898

ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллей, над сонными пруда-
ми,

Бреду я наугад.

Осенней свежестью, листвою и плодами

Благоухает сад.

Давно он поредел,- и звездное сиянье

Белеет меж ветвей.

Иду я медленно,- и мертвое молчанье

Царит во тьме аллей.

И звонок каждый шаг среди ночной про-
хлады.

И царственным гербом

Горят холодные алмазные Плеяды

В безмолвии ночном.

1898

* * *

И вот опять уж по зарям

В выси, пустынной и привольной,

Станицы птиц летят к морям,

Чернея цепью треугольной.

Ясна заря, безмолвна степь,

Закат алеет, разгораясь ...

И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.
Какая даль и вышина!
Глядишь - и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.
И обнимает эта даль, -
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.

1898

Листья падают в саду ...
В этот старый сад, бывало,
Ранним утром я уйду
И блуждаю где попало.
Листья кружатся, шуршат,
Ветер с шумом налетает -
И гудит, волнуясь, сад
И угрюмо замирает.
Но в душе - все веселей!
Я люблю, я молод, молод:
Что мне этот шум аллей
И осенний мрак и холод?
Ветер вдаль меня влечет,

Звонко песнь мою разносит,
Сердце страстно жизни ждет,
Счастья просит!
Листья падают в саду,
Пара кружится за парой".
Одиноко я бреду
По листве в аллее старой.
В сердце -новая любовь,
И мне хочется ответить
Сердцу песнями -и вновь
Беззаботно счастье встретить.
Отчего ж душа болит?
Кто грустит, меня жалея?
Ветер стонет и пылит
По березовой аллее,
Сердце слезы мне теснят,
И, кружась в саду угрюмом,
Листья желтые летят
С грустным шумом!

1898

Таинственно шумит лесная тишина,
Незримо по лесам поет и бродит Осень...
Темнеет день за днем, -и вот опять слышна
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,
Пусть заметет она печальный след былого!
Надежда, грусть, любовь -вы, старые слова,
Как блеклая листва, не расцветете снова!»
Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль...
Но в шумном ропоте и песне безнадёжной
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,
Укор былой весне, и ласковый и нежный.
И далеко еще безмолвная зима ...

Душа готова вновь волненьям предаваться,
ся,

И сладко ей грустить и грустью упиваться,
Не внемля голосу ума.

1898

В пустынной вышине,
В открытом океане небосклона
Восток сияет ясной бирюзой.
В степной дали
Погасло солнце холодно и чисто,
Свеж, звонок воздух над землей,
И тишина царит,-
Молчание осеннего заката
И обнаженных черных тополей ...
Как хороши пустынные аллеи!

Иду на юг,
Смотрю туда, где я любил когда-то,
Где грусть моя далекая живет".
А там встают,
Там медленно плывут и утопают
В глубоком океане небосклона,
Как снеговые горы, облака...
Как холодны и чисты изваянья
Их девственных алеющих вершин!
Как хороши безлюдные равнины!
Багряная листва,
Покрытая морозною росой,
Шуршит в аллее под моей ногой...
Вот меркнет даль,
Темнеет сад, краснее запад рдеет,
В холодной и безмолвной красоте
Все застывает, медленно мертвея,
И веет холод ночи на меня,
И я стою, безмолвием объятый...
Как хороша, как одинока жизнь!

1898

* * *

Все лес и лес. А день темнеет;
Низы синеют, и трава
Седой росой в лугах белеет...

Проснулась серая сова.
На запад сосны вереницей
Идут, как рать сторожевых,
И солнце мутное Жар-Птицей
Горит в их дебрях вековых.

1899

Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?
Но молчишь ты, слаба, как цветок ...
О, молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья, -
Я опять одинок!

1899

Нынче ночью кто-то долго пел.
Далеко скитаясь в темном поле,
Голос грустной удалью звенел,
Пел о прошлом счастье и о воле.
Я открыл окно и сел на нем.
Ты спала... Я долго слушал жадно ..
С поля пахло рожью и дождем,
Ночь была душиста и прохладна.

Что в душе тот голос пробудил,
Я не знаю ... Но душа грустила,
И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила.

1899

Зеленоватый свет пустынной лунной но-
чи,

Далеко под горой -морской пустынный
блеск...

Я слышу на горах осенний ветер в соснах
И под обрывом скал -невнятный шум и
плеск.

Порою блеск воды, как медный щит, свет-
леет.

Порой тускнеет он. и зыбью взор томит...
Как в полусне сижу ... Осенний ветер веет
Соленой свежестью -и все кругом шумит.
И в шорохе глухом и гуле горных сосен
Я чувствую тоску их безнадежных дум,
А в шумном плеске волн -лишь холод лун-
ной ночи

Да мертвый плеск И: шум.

1899

1900-1902

Враждебных полон тайн на взгорье спя-
щий лес.

Но мирно розовый мерцает Антарес
На южных небесах, куда прозрачным ды-
мом

Нисходит Млечный Путь к лугам необо-
зримым.

С опушки на луга гляжу из-под ветвей,
И дышит ночь теплом, и сердце верит ей,-
Колосьям Божьих нив, на гнездах смолк-
шим птицам,

Мерцанью кротких звезд и ласковым зар-
ницам,

Играющим огнем вокруг немой земли
Пред взором путника, звенящего вдали
Валдайским серебром, напевом беззабот-
ным

В просторе полевым, спокойном и дремот-
ном.

1900

Затрепетали звезды в небе,
И от зари, из-за аллея,
Повеял чистый, легкий ветер

Весенней свежестью полей.
К закату, точно окрыленный,
Спешу за ним, и жадно грудь
Его вечерней ласки ищет
И счастья в жизни потонуть.
Не верю, что умру, устану,
то навсегда в земле усну, -
Нет, - упоенный счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

1900

* * *

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.
Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала -и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,
Сверкающий ливень запрыгал -
И сад зашумел от дождя.
И ветер, играя листвою,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задрожавшие блески,

А лужи налил синевой.
Вон радуга ... Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе
И счастьем простым дорожить:
С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой ...
Иного нет счастья на свете.
1900

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,

И Осень тихую вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая -

И снова все кругом замрет.
Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой -
Предвестник долгого ненастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу".
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.
Теперь уж тишина другая:
Прислушайся -она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.

О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В серебристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастой головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой ...
Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят, -
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила

В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив ...
Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликаая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,

И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.
Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший
И скоро мягкой порошей

Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый,
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом острове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,

Заблещет звездный щит Стожар -
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.
1900

НА РАСПУТЬЕ

На распустье в диком древнем поле
Черный ворон на кресте сидит.
Заросла бурьяном степь на воле,
И в траве заржавел старый щит.
На распустье люди начертали
Роковую надпись: «Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем воротишься домой.
Путь направо без коня оставит -
Побредешь один и сир и наг, -
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в неизвестных полях ...»
Жутко мне! Вдали стоят могилы ...
В них бывшее дремлет вечным сном...
«Отзовися, ворон чернокрылый!
Укажи мне путь в краю глухом».
Дремлет полдень. На тропах звериных

Тлеют кости в травах. Три пути
Вижу я в желтеющих равнинах ...
Но куда и как по ним идти?
Где равнина дикая граничит?
Кто, пугая чуткого коня,
В тишине из синей дали кличет
Человечьим голосом меня?
И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Черный ворон сумрачно и важно,
Полусонный, на кресте сидит.
1900

ВИРЬ

Где ельник сумрачный стоит
В лесу зубчатым темным строем,
Где старый позабытый скит
Манит задумчивым покоем,
Есть птица Вирь. Ее убор
Весь серо-аспидного цвета,
Головка в хохолке, а взор
Исполнен скорбного привета.
Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,

Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,
Он не покинет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!
И вот, когда в лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Стеною траурно-узорной,
С какой отрадой ловит он
Все, что зарей еще печальней:
Вечерний колокольный звон,
Напевы женщин в роще дальней,
И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще...
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!
Когда же лес, одетый тьмой,
Сгустится в ней и тьма сольется
С его могильной бахромой, -
Вирь в темноте тревожно вьется,
В испуге бьется средь ветвей,
Тоскливо стонет и рыдает,
И тем тоскливей, тем грустней,

Чем человек больней страдает...

1900

В ОТЬЕЗЖЕМ ПОЛЕ

Сумрак ночи к западу уходит,
Серой мглой над черной пашней бродит,
дидит,

По бурьянам стелется к земле...

Звезды стали тусклы и далеки,

Небеса туманны и глубоки,

Но восток уж виден в полумгле.

Лошади продрогли. Север дышит

Ветром ночи и полынь колышет ...

Вот и утро! - В колеях дорог

Грязь чернеет, лужи заалели ...

Томно псы голодные запели ...

Встань, труби в холодный, звонкий рог!

1900

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.

Всю ночь -туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер -
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

1900

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;

Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;

На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,

Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы.

Все цветет и поет, молодые надежды тая...

О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!

1900

* * *

Не угас еще вдали закат,
И листва сквозит узором четким,
А под ней уж серебрится сад
Светом и таинственным и кротким:
Народился месяц молодой.
Робко он весенними зарями
Светит над зеркальной водой,
По садам сияя меж ветвями.
Завтра он зарею выйдет вновь
И опять напомним, одинокий,
Мне весну, и первую любовь,
И твой образ, милый и далекий.

1900

* * *

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень,
Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам:
Пусть встретит жизнь их ласковым приве-

ТОМ,

Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1900

* * *

Лес шумит невнятным, ровным шумом.
Лепет листьев клонит в сон и лень...

Петухи в далекой караулке
Распевают про весенний день.

Лес шумит невнятным, тихим шумом ...

Хорошо и беззаботно мне
На траве, среди берез зеленых,
В тихой и безвестной стороне!

1900

* * *

Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.

Под навесами сонного бора -
Предрассветная теплая мгла.

Еще ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,

Влажно-зелены темные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.

И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,

Эта ночь -не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...
Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоет ...
Тихо ночь по долинам идет ...
Еще утро не скоро, не скоро.
1900

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Засинели, темнеют равнины ...
Далеко, далеко в тишине
Колокольчик поет, замирая ...
Мне грустней и больнее вдвойне.
Вот уж звук его плачет чуть слышно;
Вот и пыль над простором немым,
По широкой пустынной дороге,
Опускаясь, темнеет, как дым...
Но душа еще ждет и тоскует ...
О, зачем ты и ночью и днем
Вспоминаешься мне так призывно?
Отчего ты везде и во всем?
Вслед заре, уходящей к закату,
Умиравшим звукам вослед
Посылаю тебе мою душу -

Мой печальный и нежный привет!

1900

* * *

Ночь печальна, как мечты мои.

Далеко в глухой степи широкой

Огонек мерцает одинокий...

В сердце много грусти и любви.

Но кому и как расскажешь ты,

Что зовет тебя, чем сердце полно!

-Путь далек, глухая степь безмолвна.

Ночь печальна, как мои мечты.

1900

РАССВЕТ

Высоко поднялся и белеет
Полумесяц в бледных небесах.

Сумрак ночи прячется в лесах.

Из долин зеленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.

Льется, как серебряное пенье,

Звон костела, славя воскресенье ...

Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,

Возродися в блеске и тепле,

Возвести опять по всей земле,
Что вся жизнь - день радости и счастья!
1900

РОДНИК

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.
1900

УЧАН-СУ

Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу:
Поет веселый и проворный,
Со скал летящий Учан-Су!
Глядишь - и, точно застывая,
Но в то же время ропот свой,
Свой легкий бег не прерывая, -
Прозрачной пылью снеговой
Несется вниз струя живая, -
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И вдруг, и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной ...
1900

ЗНОЙ

Горячо сухой песок сверкает,
Сушит зной на камнях невода.
В море -штиль, и ласково плескает
На песок хрустальная вода.
Чайка в светлом воздухе блеснула...
Тень ее спустилась надо мной -
И в сиянье солнца потонула ...
Клонит в сон и ослепляет зной...
И лежу я, упоенный зноем.
Снится сад мне и прохладный грот,
Кипарисы неподвижным строем
Стерегут там звонкий водомет.
Старый мрамор под ветвями тисов
Молодыми розами увит,
И горит залив меж кипарисов,
Точно синим пламенем налит...
1900

ЗАКАТ

Корабли в багряном зареве заката
В океан выходят -и на небесах
Вырастают мачты стройного фрегата
В черных парусах.
Медленно плывет он в зареве далеком
И другой выводит в лоно темных вод...
Скажешь: это снялся в трауре глубоком
Погребальный флот.
1900

СУМЕРКИ

Все -точно в полусне. Над серою водой
Сползает с гор туман, холодный и гу-
стой,
Под ним гудит прибой, зловеще разраста-
ясь,
А темных голых скал прибрежная стена,
В дымящийся туман погружена,
Лениво курится, во мгле небес теряясь.
Суров и дик ее могучий вид!

Под шум и гул морской она в дыму стоит,
Как неугасший жертвенник титанов,
И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в
храм,

Где мрачный хор поет в седых клубах туманов

Торжественный хорал неведомым богам.

1900

* * *

На мертвый якорь кинули бакан,
И вот, среди кипящего залива,
Он прыгает и мечется тоскливо,
И звон его несется сквозь туман.
Осенний мрак сгущается вдали,
Подходит ночь, -и по волнам тяжелым
Ныряют и качаются за молом
Рыбацкие пустые корабли.
И мачты их средь темной высоты
Чертят туман все шире и быстрее,
И плавают среди тумана реи,
Как черные могильные кресты.

1900

К побережью моря длинная аллея
Ведет вдали как будто в небосклон:

Там море подымается, синяя
Меж позабытых мраморных колонн.
Там на прибой идут ступени стройно
И львы лежат, как сфинксы, над горой;
Далеко в море важно и спокойно
Они глядят вечернею порой.
А на скамье меж ними одиноко
Сидит она... Нет имени для ней,
Но знаю я, что нежно и глубоко
Она с душой сроднилась моей.
Я ль не любил? Я ль не искал мятежно
Любви и счастья юность разделить
С душою женской, чистою и нежной,
И жизнь мою в другую перелить?
Но та любовь, что душу посещала,
Оставила в душе печальный след, -
Она звала, она меня прельщала
Той радостью, которой в жизни нет.
И от нее я взял воспоминанья
Лишь лучших дней и уж не ту люблю,
Кого любил ... Люблю мечты созданья
И снова о несбыточном скорблю.
Вечерняя безмолвная аллея
Зовет меня к скалистым берегам,
Где море подымается, синяя,

К пустынным и далеким небесам.
И горько я и сладостно тоскую,
И грезится мне светлая мечта,
Что воскресит мне радость неземную
Печальная земная красота.

1900

Открыты жнивья золотые,
И светлой кажутся мечтой
Простор небес, поля пустые
И день, прохладный и пустой.
Орел, с дозорного кургана
Взмахнувший в этой пустоте,
Как над равниной океана
Весь четко виден в высоте.
И на кургане одиноком,
Сдержав горячего коня,
Степь от заката до востока
В прозрачной дали вижу я.
Как низко, вольно и просторно
Степных отав раскинут круг!
И как легко фатой узорной
Плывут два облачка на юг!

1900

Был поздний час -и вдруг над темнотою,
Высоко над уснувшею землею,
Прорезав ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бешеной змеею.
Стремительный порыв ее вознес.
Но миг один -и в темноту, в забвенье
Уже текут алмазы крупных слез,
И медленно их тихое паденье.

1901

* * *

Зеленый цвет морской воды
Сквозит в стеклянном небосклоне,
Алмаз предутренней звезды
Блестит в его прозрачном лоне.
И, как ребенок после сна,
Дрожит звезда в огне денницы,
А ветер дует ей в ресницы,
Чтоб не закрыла их она.

1901

Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу все серое, сухое,
И паутиной пала тень.
Змея, шурша листвою дубовой,

Зашевелилася в дупле
И в лес пошла, блестя лиловой,
Пятнистой кожей по земле.
Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка ...
О миг счастливый, миг обманный,
Стократ блаженная тоска!

1901

* * *

Зарницы лик, как сновиденье,
Блеснул -и в темноте исчез.
Но увидел я на мгновенье
Всю даль и глубину небес.
Там, в горнем свете, встали горы
Из розоватых облаков,
Там град и райские соборы -
И снова черный пал покров.
Вот задрожал и вспыхнул снова -
И снова блестящий восторг,
Вновь мрак томления земного
Господь десницею расторг.
Не так же ль в радости случайной
Мечта взмахнет порой крылом -
И вдруг блеснет небесной тайной
Все потонувшее в былом?

1901

* * *

На глазки синие, прелестные
Нисходит сумеречный хмель:
Качайте, ангелы небесные,
Все тише, тише колыбель.
В заре сторели тучки вешние,
И поле мирное темно:
Светите, дальние, нездешние,
Огни в открытое окно.
Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, свернувший лепестки,
Лампадка, бережно хранимая
Заботой Божеской руки.

1901

НОЧЬ И ДЕНЬ

Старую книгу читаю я в долгие ночи
При одиноком и тихом дрожащем огне:
«Все мимолетно -и скорби, и радость, и песни,
ни,
Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине».

Ясное небо я вижу в окно на рассвете.
Солнце восходит, и горы к лазури зовут:
«Старую книгу оставь на столе до заката.
Птицы о радости вечного Бога поют!»

1901

* * *

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доньне
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине

Его толпы не радует привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

1901

к к *

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет Божий мир.
Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.
Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.
Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901

* * *

Высоко в просторе неба,

Все сияя белизною,
Вышло облачко на полдень
Над равниной водяною.
Из болот оно восстало,
Из холодного тумана -
И замлело, засияло
В синей стали океана ...
-Не затем ли ты возникло,
Чтобы в вечном отразиться?
Не затем ли ввысь стремилось,
Чтоб под солнцем раствориться?
Вышло облачко высоко,
Стало тонкое, сквозное,
Улыбнулось одиноко -
И угасло в ярком зное.

1901

* * *

Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!

В лоне океана, в раковине тесной,
Рос он одиноко, как цветок безвестный,
На обломках мшистых мертвых кораблей.
Бурею весенней выброшен со дна,
Он лежал в прибое на побережье диком,
Где носились чайки над водою с криком,

Где его качала шумная волна ...
Мил мне жемчуг нежный на груди твоей!
Сладко упиваясь юной красотой,
В светлом божьем мире я брожу мечтою, -
В небе, в блеске солнца, в тишине морей,
С перлами морскими под водой цвету,
Рассыпаюсь в рифах влагой голубою -
И одно есть счастье: разделить с тобою
Эту радость жизни, эту красоту!

1901

* * *

Дымится поле, рассвет белеет,
В степи туманной кричат орлы,
И дико-звонок их плач голодный
Среди холодной плывущей мглы.
В росе их крылья, в росе бурьяны,
Благоухают поля со сна...
Зарею сладок твой бодрый холод,
Твой томный голод,- твой зов, весна!
Ты победила, -вся степь дымится,
Над степью властно кричат орлы,
И тучи жарким горят пожаром,
И солнце шаром встает из мглы!

1901

* * *

Гроза прошла над лесом стороною,
Был теплый дождь, а траве стоит вода ...
Иду один тропинкою лесною,
И в синеве вечерней надо мною
Слезою светлой искрится звезда.
Иду -и вспоминается мерцанье
Мне звезд иных". глубокий мрак ресниц,
И ночь, и тучи жаркое дыханье,
И молодой грозы благоуханье,
И трепет замирающих зарниц ...
Все пронеслось, как бурный вихрь весною,
И все в душе я сохраню, любя ...
Слезою светлой блещет надо мною
Звезда весны за чашцей кружевною ...
Как я любил тебя!

1901

В СТАРОМ ГОРОДЕ

С темной башни колокол уныло
Возвещает, что закат угас.
Вот и снова город ночь сокрыла
В мягкий сумрак от усталых глаз.
И нисходит кроткий час покоя
На дела людские. В вышине
Грустно светят звезды. Все земное
Смерть, как страж, обходит в тишине.
Улицей бредет она пустынной,
Смотрит в окна, где чернеет тьма...
Всюду глухо. С важностью старинной
В переулках высятся дома.
Там в садах платаны зацветают,
Нежно веет раннею весной,
А на окнах девушки мечтают,
Упиваясь свежестью ночной,
И в молчанье только им не страшен
Близкой смерти медленный дозор,
Сонный город, думы черных башен
И часов задумчивый укор.

1901

* * *

Отошли закаты на далекий север,
Но всю ночь хранится солнца алый след.
Тихо в темном поле, сладко пахнет клевер,
Над землею брезжит слабый полусвет.
Это - ночи робких молодых мечтаний,
Предрассветный сумрак в чутком полусне.
Это -ночи грусти и воспоминаний,
Думы на закате о былой весне.

1901

* * *

Облака, как призраки развалин,
Встали на заре из-за долин.
Теплый вечер темен и печален,
В темном доме я совсем один.
Слабым звоном люстра отвечает
На шаги по комнате пустой ...
А вдали заря зарю встречает,
Ночь зовет бессмертной красотой.

1901

* * *

Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.
А будут дни -угаснет и печаль,

И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.

1901

* * *

За все тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне - как всегда.

Но вот закат разлил свой пышный пла-
мень,

И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю - с Тобой.

1901

* * *

Высоко наш флаг трепещет,
Гордо вздулся парус полный,
Встал, огромный и косой;
А навстречу зыбью плещет,
И бегут - змеятся волны

Быстрой, гибкой полосой.
Изумруд горит, сверкая,
В ней, как в раковине тесной,
Медью светит на борта;
А кругом вода морская
Т ак тяжка и полновесна,
Точно ртутью налита.
Ходит зыбкими буграми,
Ходит мощно и упруго,
Высоко возносит челн -
И бегущими горами
Принимают друг от друга
Нас крутые гребни волн.

1901

* * *

Полями пахнет, - свежих трав,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубрав
Я в нем ловлю благоуханье.
Повеет ветер - и замрет ...
А над полями даль темнеет,
И туча из-за них растет, -
Закрыла солнце и синеет.
Нежданной молнии игра,
Как меч, блеснувший на мгновенье,

Вдруг озарит из-за бугра -
И снова сумрак и томленье ...
Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твоё молчанье,
Твоё внезапное блистанье, -
Твои безумные глаза!
1901

ИЗ АПОКАЛИПСИСА

Ия узрел: отверста дверь на небе,
И прежний глас, который слышал я,
Как звук трубы, гремевшей надо мною,
Мне повелел: войди и зри, что будет.
И дух меня мгновенно осенил.
И се - на небесах перед очами
Стоял престол, на нем же был Сидящий.
И сей Сидящий, славою сияя,
Был точно камень яспис и сардис,
И радуга, подобная смарагду,
Его престол широко обняла.
И вокруг престола двадесять четыре
Других престола было, и на каждом
Я видел старца в ризе белоснежной
И в золотом венце на голове.

И от престола исходили гласы,
И молнии, и громы, а пред ним -
Семь огненных светильников горели,
Из коих каждый был господний дух.
И пред лицом престола было море,
Стеклянное, подобное кристаллу,
А посреди престола и окрест —
Животные, число же их четыре.
И первое подобно было льву,
Тельцу -второе, третье -человеку
Четвертое -летающему орлу.
И каждое из четырех животных
Три пары крыл имело, а внутри
Они очей исполнены без счета
И никогда не ведают покоя,
Взывая к Славе свят, свят, свят, Господь,
Бог вседержитель, кой пребывает
И был во веки века и грядет!
Когда же так взывают, воздавая
Честь и хвалу Живущему вовеки,
Сидящему во славе на престоле,
Тогда все двадесять четыре старца
Ниц у престола падают в смиренье
И, поклоняясь Сущему вовеки,
Кладут венцы к престолу и рекут:

«Воистину достоин воспринять
Ты, Господи, хвалу, и честь, и силу
Затем, что все Тобой сотворено
И существует волею Твоею!»

1901

Не слышать еще тяжкого грома за лесом, -
Только сполох зарниц пробегает в вершинах.

Лапы елей висят неподвижным навесом,
И запуталась хвоя в сухих паутинах.

Если ж молния вспыхнет, как пламя над
горном,

Раскрываются чаши в изломах неверных,
Точно древние своды во храмах пещерных,
В подземелье Перуна, высоком и черном!

1901

* * *

Любил он ночи темные в шатре,
Степных кобыл заливчатое ржанье,
И перед битвой волчье завыванье,
И коршунов на сумрачном бутре.
Страсть буйной мощи силясь утолить,
Он за врагом скакал как исступленный,
Чтоб дерзостью погони опьяненной,

Горячей кровью землю напоить.
Стрелою скиф насквозь его пробил,
И там, где смерть ему закрыла очи,
Восстал курган -и темный ветер ночи
Дождем холодных слез его кропил.
Прошли века, но слава древней были
Жила в веках... Нет смерти для того,
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его.

Они поют печаль воспоминаний,
Они бессмертье прошлого поют
И жизнь, отошедшей в мир преданий,
Свой братский зов и голос подают.

1901

* * *

Это было глухое, тяжелое время.

Дни в разлуке текли, я как мертвый блуждал;

Я коня на закате седлал

И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя.

На горе меня темное поле встречало.

В темноту, на восток, направлял я коня -

И пустынная ночь окружала меня

И, склонивши колосья, молчала.

И, молчанью внимая, я тихо склонялся
Головой на луку. Я без мысли глядел
На дорожную пыль, и душой холодел,
И в холодной тоске забывался.

1901

* * *

Моя печаль теперь спокойна,
И с каждым годом все ясней
Я вижу даль, где прежде знойно
Синела дымка летних дней...
Так в тишине приморской виллы
Слышнее осенью прибой,
Подобный голосу Сибиллы,
Бесстрастной, мудрой и слепой.
Так на заре в степи широкой
Слышнее колокол вдали,
Спокойный, вещий и далекий
От мелких горестей земли.

1901

* * *

Звезды ночи осенней, холодные звезды!
Как угрюмо и грустно мерцаете вы!
Небо тускло и глухо, как купол собора,
И заливы морские - темны и мертвы.
Млечный Путь над заливами смутно беле-

ет,

Точно саван ночной, точно бледный про-
свет

В бездну Вечных Ночей, в запредельное
небо,

Где ни скорби, ни радости нет.

И осенние звезды, угрюмо мерцая

Безнадежным мерцанием тусклых лучей,

Говорят об иной -о предвечной печали

Запредельных Ночей.

1901

* * *

Шумели листья, облетая,

Лес заводил осенний вой...

Каких-то серых птичек стая

Кружилась по ветру с листвою.

А я был мал,- беспечной шуткой

Смятенье их казалось мне:

Под гул и шорох пляски жуткой

Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным

Кружиться по лесу, кричать -

И каждый мертвый лист встречать

Восторгом радостно-безумным!

* * *

Светло, как днем, и тень за нами бродит
В нагих кустах. На серебре травы Л
уна с небес таинственно обводит
Сияние вокруг темной головы.

Остановясь, ловлю твой взор прощальный,
Но в сердце холод мертвенный таю -
И бледный лик, загадочно-печальный,
Под бледною луной не узнаю.

1901

* * *

Смотрит месяц ненастный, как сыплются
желтые листья,

Как проносится ветер в беспомощно-зыб-
ком саду.

На кусты и поляны в тоске припадают де-
ревья:

«Пронеси, вольный ветер, скорей эту жут-
кую ночь!»

С неземною печалью глядит затуманен-
ный месяц...

Ветер в жутком восторге проносится в чер-
ных кустах:

«Достигайте в несчастий радости мук бес-
предельных!

Приготовьтесь к Великому мукой великих

потерь!»

1901

ОТРЫВОК

В окно я вижу груды облаков,
Холодных, белоснежных, как зимою,
И яркость неба влажно-голубого.
Осенний полдень светел, и на север
Уходят тучи. Клены золотые
И белые березки у балкона
Сквозят на небе редкою листвою,
И хрусталем на них сверкают льдинки.
Они, качаясь, тают, а за домом
Бушует ветер... Двери на балконе
Уже давно заклеены к зиме,
Двойные рамы, топленные печи -
Все охраняет ветхий дом от стужи,
А по саду пустому кружит ветер
И, листья подметая по аллеям,
Гудит в березах старых... Светел день,
Но холодно,- до снега недалеко.
Я часто вспоминаю осень юга...
Теперь на Черном море непрерывно
Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,

Скалистый берег, бешеный прибой
И по волнам сверкающая пена ...
Ты помнишь этот берег, окаймленный
Ее широкой снежною грядой?
Бывало, мы сбежим к воде с обрыва
И жадно ловим ветер. Вольно веет
Он бодростью и свежестью морской;
Срывая брызги с бурного прибоя,
Он влажной пылью воздух наполняет
И снежных чаек носит над волнами.
Мы в шуме волн кричим ему навстречу,
Он валит с ног и заглушает голос,
А нам легко и весело, как птицам...

Все это сном мне кажется теперь.

1901

ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный
В старом храме, и сиял
Чистый образ новобрачной
При огнях, в фате прозрачной,
Под молитвенный хорал.
А из окон ночь синела;
Зимний вечер темен был,
Вьюга в сумраке шумела,
Грустно с колоколом пела,
Подымая снег с могил ...
Сохрани убор венчальный,
Сохрани цветы твои:
В жизни краткой и печальной
Светит только безначальный,
Непорочный свет любви!

1901

* * *

Морозное дыхание метели
Еще свежо, но улеглась метель.
Белеет снега мшистая постель,
В сугробах стыннут траурные ели.
Ночное небо низко и черно,-

Лишь в глубине, где Млечный Путь белеет,
Сквозит его таинственное дно
И холодом созвездий пламенеет.
Обрывки туч порой темнеют в нем...
Но стынет ночь. И низко над землею
Усталый вихрь шипящею змеею
Скользит и жжет своим сухим огнем.
1901

НА ОСТРОВЕ

Люблю я наш обрыв, где дикою грядою
Белеют стены скал, смотря на дальний
юг,
Где моря синего раскинут полукруг,
Где кажется, что мир кончается водою,
И дышится легко среди безбрежных вод.
В веселый летний день, когда на солнце
блещет
Скалистый известняк и в каждый звонкий
грот
Зеленая вода хрустальной влагой плещет,
Люблю я зной, и ширь, и вольный небо-
свод,
И острова пустынные высоты.

Ласкают их ветры, и волны лижут их,
А чайки зоркие заглядывают в гроты, -
Косятся в чуткий мрак пещер береговых
И вдруг, над белыми утесами взмывая,
Сверкают крыльями в просторах голубых,
Кого-то жалобно и звонко призывая.

1901

* * *

Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны.
В детстве я любил вас безотчетно, -
Сказкою вы нежною мерцали.
В молодые годы только с вами Я
делил надежды и печали.
Вспоминая первые признанья,
Я ищу меж вами образ милый".
Дни пройдут -вы будете светиться
Над моей забытою могилой.
И быть может, я пойму вас, звезды,
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!

1901

* * *

Перед закатом набежало
Над лесом облако - и вдруг
На взгорье радуга упала,
И засверкало все вокруг.
Стеклянный, редкий и ядреный,
С веселым шорохом спеша,
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладой дыша.
Вот день! Уж это не впервые:
Прольется -и уйдет из глаз...
Как эти ливни золотые,
Пугая, радовали нас!
Едва лишь добежим до чащи -
Все стихнет ... О, росистый куст!
О, взор, счастливый и блестящий,
И холодок покорных уст!

1902

* * *

Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна,
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,
И над болотом красный сумрак реет.
Уж поздно -и какая тишина!
Мне кажется, луна оцепенеет:

Она как будто выросла со дна
И допотопной розою краснеет.
Но меркнут звезды. Даль озарена.
Равнина вод на горизонте млеет,
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она.
Поет комар. Теплом и гнилью веет.
1902

СМЕРТЬ

Спокойно на погосте под луною ...
Крестов объятъя, камни и сирень".
Но вот наш склеп,- под мраморной стеною,
Как темный призрак, вытянулась тень.
И жутко мне. И мой двойник могильный
Как будто ждет чего-то при луне...
Но я иду -и тень, как раб бессильный,
Опять ползет, опять покорна мне!
1902

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

В березовом лесу, где распевают птицы,
Где в шелковой траве сквозь тень лучи
горят,

Темнеют холмики -могил забытых ряд,
А под березами, как юные черницы,
Смиренно елочки зеленые стоят.

Был здесь когда-то скит, как говорят преда-
нья,

И десять девственниц, отрекшись от зем-
ли,

В нем приняли обет святого созерцанья,
Держали строгий пост и, как цветы, цвели
Под пенье божьих птиц и странников ска-
занья.

Был здесь дремучий бор, в народе говорят,
Был долгий стан татар, в лесах кипели бит-
вы;

Потом был этот край спокоен и богат,
И древний скудный скит и подвиги, мо-
литвы

Забылись, точно сон, уж много лет назад.

Немало было снов, -зачем нам помнить

их?

И вот опять весна. В лесу все зеленеет,
Лес сенокоса ждет, а небосклон синеет
Меж белых облаков, среди вершин лесных,
И на глазах трава в полдневном зное мле-
ет.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все прохо-
дит,

Меж тем как счастье жить вовеки не
умрет,

Покуда над землей заря зарю выводит
И молодая жизнь рождается в свой черед.
Бежит зеленый лес, поют и свищут птицы,
А вон и озеро, песчаный, белый скат...
Пошел! И бубенцы играют и гремят,
В колесах, как лучи, блестят на солнце спи-
цы,

И кружева теней по лошадям скользят ...

1902

* * *

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена
И небо меж снастей синеет в вышине,
Люблю твой бледный лик, печальная Селе-
на,

Твой безнадежный взор, сопутствующий
мне.

Люблю под шорох волн рыбацкие напевы,
И свежесть от воды -ночные вздохи волн,
И созданный мечтой, манящий образ девы,
И мой бесцельный путь, мой одинокий
челн.

1902

* * *

Если б вы и сошлись, если б вы и смирились,-

Уж не той она будет, не той!

Кто вернет тот закат, как навек вы простились,

Темный взор, засиявший слезой?

Дни бегут -и теперь от бывшего остались

Только думы о том, чего нет,

Лишь цветы, что цвели в день, когда вы
венчались,

Да поблекший портрет!

1902

* * *

Крест в долине при дороге,

А на нем, на ржавых копьях

У подножия распятья,

Из степных цветов венок ...
Как был ясен южный вечер!
Как любил я вечерами
Уходить в простор долины,
К одинокому кресту!
Тяжело в те дни мне было.
Я был молод, я навеки
С тем, кому я отдал душу,
Расставался в эти дни.
Чья же грусть мою смиряла?
Кто, задумчивый и кроткий,
Сплел в долине при дороге
Из степных цветов венок?
За широкою долиной,
В балках, даль полей синела,
Южный августовский вечер
Был спокоен, тих и ясен,
А в долине кто-то пел.
И звала меня, томила
Даль полей, что поздним летом
Так прекрасна и бесстрастна,
Так безлюдна и грустна.

1902

* * *

Как все спокойно и как все открыто!

Как на земле стало тихо и бедно!
Сад осыпается, -все в нем забыто,
Небо велико и холодно-бледно ...
Небо далекое, не ты ли, немое,
Меня пугаешь своим простором?
Здесь, в этой бедности, где все родное,
Встречу я осень радостным взором.
Еще рассеян огонь листопада,
И редкие краски ласково-ярки;
Еще синицы свищут из сада,
И как им тихо в забытом парке!
И только ночью, когда бушует
Осенний ветер, все чуждо снова ...
И одинокое сердце тоскует:
О, если бы близость сердца родного!

1902

БРОДЯГИ

На позабытом тракте к Оренбургу,
В бесплодной и холмистой котловине
Большой, глухой дороги на восток,
Стоит в лугу холщовая кибитка
И бродит кляча в путах. Ни души
Нет на лугу,- цыган в кибитке дремлет,
И девочка-подросток у дороги
Сидит себе одна и равнодушно,
С привычной скукой, смотрит на закат:
На солнце, уходящее за пашню,
На блеск лучей над темным косогором.
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,
Она следит в безлюдье за холодным,
Печальным солнцем, тенью от холма
И алой пылью, веющей с дороги
Из-под копыт кобылы,- то молчит,
То будто грезит,- что-то напевает...
Какая глушь! Какая скудость жизни!
Какие заунывные напевы!
Вот вечереет, солнце в тучку село,
Темнеет в котловине, ветер дует,
И ночь идет... Пошли господь бродягам

Не думать днем и не слышать, как ночью
Шатается в сухом бурьяне ветер
И что-то шепчет, словно в забытьи!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься -
Буди отца больного, запрягай -
И снова в путь... А для чего,- кто скажет?
Жизнь, как могила в поле, молчалива.
1902

ЭПИТАФИЯ

Я девушкой, невестой умерла.
Он говорил, что я была прекрасна,
Но о любви я лишь мечтала страстно,
Я краткими надеждами жила.
В апрельский день я от людей ушла,
Ушла навек покорно и безгласно -
И все ж была я в жизни не напрасно:
Я для его любви не умерла.
Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,
Где только ветер веет в полусне,
Все говорит о счастье и весне.
Сонет любви на старом мавзолее
Звучит бессмертной грустью обо мне,
А небеса синеют вдоль аллеи.

1902

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ

Лазурным пламенем сияют небеса ...
Как ясен зимний день, как восхищают
взоры

В безбрежной высоте изваянные горы, -
Титанов снеговых полярная краса!
На скатах их, как сеть, чернеются леса,
И белые поля сквозят в ее узоры,
А выше, точно рать, бредет на косогоры
Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовут их горный мир, зовут снегов пусты-
ни,

И тянет к ним уйти, -быть вольным, как
дикарь,

И целый день дышать морозом на верши-
не.

Уйти и чувствовать, что ты -пигмей и
царь,

Что над тобой, как храм, воздвигся купол
синий

И блещет Зильбергорн, как ледяной ал-
тарь!

1902

КОНДОР

Громады гор, зазубренные скалы
Из океана высятся грядой.
Под ними берег, дикий и пустой,
Над ними кондор, тяжелый и усталый.
Померк закат. В ущелья и провалы
Нисходит ночь. Гонимый темнотой,
Уродливоплечистый и худой,
Он медленно спускается на скалы.
И долгий крик, звенящий крик тоски,
Вдруг раздается жалобно и властно
И замирает в небе. Но бесстрастно
Синеет море. Скалы и пески
Скрывает ночь - и веет на вершине
Дыханьем смерти, холодом пустыни.

1902

* * *

Широко меж вершин дубравы
Струилась синяя река;
Благоухая, сохли травы,
Дымясь, курились облака.
Дымясь, вставали из-за леса

На склон небес -и вот одно
Могучим обликом Зевеса
Воздвигло снежное руно ...
Но тает призрак величавый -
И снова светозарный сон,
И снова меж вершин дубравы -
Лазури пламенный затон.
1902

1903-1906

СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА

Над озером, над заводью лесной -
Нарядная зеленая береза...
«О девушки! Как холодно весной:
Я вся дрожу от ветра и мороза!»
То дождь, то град, то снег, как белый пух,
То солнце, блеск, лазурь и водопады".
«О девушки! Как весел лес и луг!
Как радостны весенние наряды!»
Опять, опять нахмурилось, - опять
Мелькает снег и бор гудит сурово".
«Я вся дрожу. Но только б не измять
Зеленых лент! Ведь солнце будет снова».

ПОРТРЕТ

Погост, часовенка над склепом,
Венки, лампадки, образа
И в раме, перевитой крепом, -
Большие ясные глаза.
Сквозь пыль на стеклах, жарким светом
Внутри часовенка горит.
«Зачем я в склепе, в полдень, летом?»
Незримый кто-то говорит.
Кокетливо-проста прическа,
И пелеринка на плечах...
А тут повсюду -капли воска
И банты крепа на свечах,
Венки, лампадки, пахнет тленьем.
И только этот милый взор
Глядит с веселым изумленьем
На этот погребальный вздор.
Март, 1903?

МОРОЗ

Так ярко звезд горит узор,
Так ясно Млечный Путь струится,
Что занесенный снегом двор
Весь и блестит и фосфорится.
Свет серебристо-голубой,
Свет от созвездий Ориона,
Как в сказке, льется над тобой
На снег морозный с небосклона.
И фосфором дымится снег,
И видно, как мерцает нежно
Твой ледяной душистый мех,
На плечи кинутый небрежно,
Как серьги длинные блестят
И потемневшие зеницы
С восторгом жадности глядят
Сквозь серебристые ресницы.

21. VIII.03

Норд-остом жгут пылающие зори.
Острой горит Вечерняя звезда.
Зеленое взволнованное море
Еще огромней, чем всегда.

Закат в огне, звезда дрожит алмазом.
Нет, рыбаки воротятся не все!
Ледяно-белым, страшным глазом
Маяк сверкает на косе.
25. VIII.03

ПОСЛЕ БИТВЫ

Воткнув копье, он сбросил шлём и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчу-
га

Колола грудь, а спину полдень жег...
Осенней сушью жарко дуло с юга.
И умер он. Окостенел, застыл,
Припав к земле тяжелой головою.
И ветер волосами шевелил,
Как ковылем, как мертвою травой.
И муравьи закопошились в них...
Но равнодушно все вокруг молчало,
И далеко среди полей нагих
Копье, в курган воткнутое, торчало.
31. VIII.03

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.

В верхних стеклах - небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.
Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.
И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

VIII.03

В сумраке утра проносится призрак Оди-
на -

Там, где кончается свет.
Северный ветер, Одину вослед,
На побережьях Лохлина
Гонит туманы морей по земле,
Свищет по вереску ... Тень исполина
Вдруг вырастает во мгле -
Правит коня на побережья Лохлина.
Конь по холодным туманам идет,
Тонет, плывет и ушами прядет,
Белым дыханием по ветру пышет,
Вереска свист завывающий слышит,

Голову тянет к нему ... А взмахнет
Ветер морской -ив туманах Лохлина
Шлем золоченый блеснет!
-Утром проносится призрак Одина.
30.XII.03

ЖЕНА АЗИСА

Н*еверную меняй на рис.*
Древнее, симферопольское
Уличив меня в измене,
Мой Али,- он был Азис,
Божий праведник,- в Сюрени*
Променял меня на рис.
Умер новый мой хозяин,
А недавно и Али,
И на гроб его с окраин
Все калеки поползли.
Шли и женщины толпами,
Побрела и я шутя,
Розу красную губами
Подведенными крутя.
Вот и роца, и пригорок,
Где зарыт он". Ах, Азис!
Ты бы должен был раз сорок

Променять меня на рис.

1903

КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.

Коран

Здесь царство снов. На сотни верст безлюд-
НЫ

Солончаков нагие берега.

Но воды в них -небесно-изумрудны

И шелк песков белее, чем снега.

В шелках песков лишь сизые полыни

Растит аллах для кочевых отар,

И небеса здесь несказанно сини,

И солнце в них -как адский огонь, Сакар.

И в знойный час, когда мираж зеркальный

Сольет весь мир в один великий сон,

В безбрежный блеск, за грань земли пе-
чальной,

В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом

Река всех рек, лазурная Ковсерь,

И всей земле, всем племенам и странам

Сулит покой. Терпи, молись -и верь.

1903

* * *

Звезды горят над безлюдной землей,
Царственно блещет святое созвездие Пса:
Вдруг потемнело -и огненно-красной зме-
ею

Кто-то прорезал над темной землей небеса.
Путник, не бойся! В пустыне чудесного
много.

Это не вихри, а джинны тревожат ее,
Это архангел, слуга милосердного бога,
В демонов ночи метнул золотое копьё.

1903

НОЧЬ АЛЬ-КАДРА

В эту ночь ангелы сходят с неба.

Коран

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились вершины,
ны,

И выше к небесам воздвиглись их чалмы.

Пел муэzzин. Еще алеют льдины,

Но из теснин, с долин уж дышит холод
тьмы.

Ночь Аль-Кадра. По темным горным склонам

Еще спускаются, слоятся облака.

Пел муэzzин. Перед Великим Троном

Уже течет, дымясь, Алмазная Река.

И Гавриил -неслышно и незримо -

Обходит спящий мир. Господь, благослови

Незримый путь святого пилигрима

И дай земле твоей ночь мира и любви!

1903

* * *

Далеко на севере Капелла

Блещет семицветным огоньком,

И оттуда, с поля, тянет ровным,

Ласковым полуночным теплом.
За окном по лопухам чернеет
Тень от крыши; дальше, на кусты
И на жнивье, лунный свет ложится,
Как льняные белые холсты.

1903

Проснулся я внезапно, без причины.
Мне снилось что-то грустное -и вдруг
Проснулся я. Сквозь голые осины
В окно глядел туманный лунный круг.
Усадьба по-осеннему молчала.
Весь дом был мертв в полночной тишине,
И, как ребенок брошенный, кричала
Ушастая пуст ушка на гумне.

1903

Старик у хаты веял, подкидывал лопату,
Как раз к святому Спасу покончив с мо-
лотьбой.

Старуха в черной плахте белила мелом ха-
ту

И обводила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль сяди-
лось -

И тени ног столбами ложились на гумно,
А хата молодела - зарделась, застыдилась -
И празднично блестело протертое окно.

1903

* * *

Уж подсыхает хмель на тыне.
За хуторами, на бахчах,
В нежарких солнечных лучах
Краснеют бронзовые дыни.
Уж хлеб свезен, и вдалеке,
Над старую степную хатой,
Сверкает золотой заплатой
Крыло на сером ветряке.

1903

* * *

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши;
Там низко над водой склоняются кистями
Темно-зеленые густые камыши;
Полдневный ветерок змеистыми струями
Порой зашелестит в их потайной глуши,
Да чайка вдруг блеснет серебристыми кры-
лами

С плаксивым возгласом тоскующей души -
И снова плавни спят, сияя зеркалами.
Над тонким их стеклом, где тонет небо-

СВОД,

Нередко облако восходит и глядится
Блистающим столбом в зеркальный сон
болот -

И как светло тогда в бездонной чаше вод!
Как детски верится, что в бездне их таится
Какой-то дивный мир, что только в дет-
стве снится!

1903

* * *

Первый утренник, серебряный мороз!
Тишина и звонкий холод на заре.
Свежим глянцем зеленеет след колес
На серебряном просторе, на дворе.
Я в холодный обнаженный сад пойду -
Весь рассеян по земле его наряд.
Бирюзой сияет небо, а в саду
Красным пламенем настурции горят.
Первый утренник - предвестник зимних
дней.

Но сияет небо ярче с высоты,
Сердце стало и трезвей и холодней.
Но как пламя рдеют поздние цветы.

1903

* * *

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колочий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.
И на заре седой орленок
Шипит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросонок
В тумане сизом красный диск.
1903

КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в темной роще,
Ходит в темной роще Богоматерь,
По зеленым взгорьям, по долинам
Собирает к ночи божьи травы.
Только вечер им остался сроку,
Да и то уж солнце на исходе:
Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката ...
Уж в долинах сыро, пали тени,
Уж луга синеют, пали росы,
Пахнет под росой медуница,
Золотой венец по роще светит.
Как туман, бела ее одежда,

Голубые очи точно звезды.
Соберет она цветы и травы
И снесет их к Божьему престолу.
Скоро ночь -им только ночь осталась,
А наутро срежут их косами,
А не срежут -солнце стубит зноем.
Так и скажет сыну Богоматерь: «Погляди,
возлюбленное чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть, она и Жизнью правит».
Но Христос ей молвит: «Мать! не солнце,
Только землю тьма ночная кроет:
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.
И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть -Любовь опять посеет.
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешаться до скончанья века!»

1903

МИРА

Тебя зовут божественною, Мира,
Царицею в созвездии Кита.
Таинственна, как талисманы Пирра,
Твоей недолгой жизни красота.
Ты, как слеза, прозрачна и чиста,
Ты, как рубин, блестяшь среди эфира,
Но не за блеск и дивные цвета
Тебя зовут божественною, Мира.
Ты в сонме звезд, среди ночных огней,
Нежнее всех. Не ты одна играешь,
Как самоцвет: есть ярче и пышней.
Но ты живешь. Ты меркнешь, умираешь -
И вновь горишь. Как феникс древних дней,
Чтоб возродиться к жизни -ты стораешь.
1903?

ДИЗА

Вечернее зимнее солнце
И ветер меж сосен играют,
Алеют снега, а в светлице
Янтарные пятна мелькают.
Мохнатые тени от сосен,
Играя, сквозят позолотой
И по столу ходят; а Диза
В светлице одна, за работой.
На бронзу волос, на ланиты,
На пальцы и руки широко
Вечернее льется сиянье,
А думы далеко, далеко.
Тяжелое зимнее море
Грохочет за фьордом в утесах,
И стелется по ветру пена
И стынет на снежных откосах;
Качаются с криками чайки
И падают в пену и тают...
Но звонкой весенней слюдою
Давно уж откосы блистают!
Пусть ночи пожарами светят
И рдеют закаты, как раны,

Пусть ветер бушует,- он с юга,
Он гонит на север туманы!
Пусть милый далеко,- он верен,
И вот на вечернее солнце,
На снег, на зеленые ветви
Она загляделась в оконце.
Забыты узоры цветные,
Забыты точеные пальцы,
И тихо косою играют
Прозрачные тонкие пальцы.
И тихо алеют ланиты,
Сияя, как снег, белизною,
И взоры так мягки и яркие,
Как синее небо весною.

1903

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Древнюю чашу нашел он у шумного синего
Моря,
В древней могиле, на диком песчаном при-
брежье.

Долго трудился он; долго слагал воедино
То, что гробница хранила три тысячи лет,
как святыню,

И прочитал он на чаше
Древнюю повесть безмолвных могил и
гробниц:

«Вечно лишь море, безбрежное море и
небо,

Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
Вечно лишь то, что связует незримою свя-
зью

Душу и сердце живых с темной душою мо-
гил».

1903

МОГИЛА ПОЭТА

Мрамор гробницы его - в скорбной толпе
кипарисов:

Радостней светит меж них синее лоно
небес.

Ангел изваян над ним с опрокинутым све-
точем жизни:

Ярче пылает огонь, смертью поверженный
ниц!

1903

КОЛЬЦО

В белом песке золотое блеснуло кольцо.
Я задремал над Днепром у широкого
плеса,

Знойною ласкою ветер повеял в лицо,
Легкой прохладой и запахом свежего теса...

Ярко в воде золотое блеснуло кольцо.

Как его вымыли волны на отмели белой! -

Точно к венчанию ... Искрился солнечный
блеск,

Видел я плахты, сорочки и смуглое тело,
Слышал я говор, веселые крики и плеск...
Жадной толпою сошлись они к отмели бе-
лой!

Жадно дыша, одевались они на песке,
Лоснились косы, и карие очи смеялись,
С звонкими песнями скрылись они вдале-
ке,

Звонко о берег прозрачные волны плеска-
лись ...

Чье-то кольцо золотится в горячем песке.
О, красота, тишина и раздолье Днепра!
Помню, как ветер в лугах серебрил вербо-
лозы,

Помню, как реяла дальних миражей игра...
1903

ЗАПУСТЕНИЕ

Домой я шел по скату вдоль Оки,
По перелескам, берегом нагорным,
Любуясь сталью вьющейся реки
И горизонтом низким и просторным.
Был теплый, тихий, серенький денек,
Среди берез желтел осинник редкий,
И даль лугов за их прозрачной сеткой
Синела чуть заметно -как намек.
Уже давно в лесу замолкли птицы,
Свистели и шуршали лишь синицы.
Я уставал, кругом все лес пестрел,
Но вот на перевале, за лощиной,
Фруктовый сад листвою покраснел,
И глянул флигель серою руиной.
Глеб отворил мне двери на балкон,
Поговорил со мною в позе чинной,
Принес мне самовар -и по гостиной
Полился нежный и печальный стон.
Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая,
Следил, как замолкал он, потухая.
В тиши звенел он чистым серебром,
А я глядел на клены у балкона,

На вишенник, красневший под бугром ...
Вдали синели тучки небосклона
И умирал спокойный серый день,
Меж тем как в доме, тихом, как могила,
Неслышно одиночество бродило
И реяла задумчивая тень.
Пел самовар, а комната беззвучно
Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!»
В соломе, возле печки, на полу,
Лежала груда яблок; паутины
Под образом качались в углу,
А у стены темнели клавишины.
Я тронул их -и горестно в тиши
Раздался звук. Дрожащий, романтический,
Он жалок был, но я душой привычной
В нем уловил напев родной души:
На этот лад, исполненный печали,
Когда-то наши бабушки певали.
Чтоб мрак спугнуть, я две свечи зажег,
И весело огни их заблестели,
И побежали тени в потолок,
А стекла окон сразу посинели ...
Но отчего мой домик при огне
Стал и бедней и меньше? О, я знаю -
Он слишком стар... Пора родному краю

Сменить хозяев в нашей стороне.
Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге.
Пора свести последние итоги.
Печален долгий вечер в октябре!
Любил я осень позднюю в России.
Любил лесок багряный на горе,
Простор полей и сумерки глухие,
Любил стальную, серую Оку,
Когда она, теряясь лентой длинной
В дали лугов, широкой и пустынной,
Мне навевала русскую тоску ...
Но дни идут, наскучило ненастье -
И сердце жаждет блеска дня и счастья.
Томит меня немая тишина.
Томит гнезда родного запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонек.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далек.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора...
Поля, леса - все глохнет без заботы ...

Я жду веселых звуков топора,
Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,

Вновь расцвела из праха на могиле,
Я изнемог, и мертвый стук часов
В молчании осенней долгой ночи
Мне самому внимать нет больше мочи!»
1903

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой ...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один -без жены ...

Сегодня идут без конца
Те же тучи -гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила -и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

1903

ТЕНЬ

Высоко в небе месяц ясный,
Затих волны дремотный плеск.
Как снежно-золотое поле,
Сияет в море лунный блеск.
Плыла меж небом и землею
Над морем тучка, наплыла
На край луны -и вдруг широко
Нас мягкой тенью обняла.
Далеко золотое поле
Покрылось матовым стеклом,
И ветер, шелестя травую,
Пахнул полуночным теплом.
Счастливым и глубоким вздохом
Волна вздохнула в полусне -
И как доверчиво, как нежно
Ты вся прижалася ко мне!
Но вспыхнул блеск на горизонте,
Тень по горам в леса ушла -
И снова мы сидим недвижно,
И снова ночь, как день, светла.
Спит море под луною ясной,
Блестит на влажных камнях мох...

О, ночь любви! Ужель и в счастье
Нам нужен хоть единый вздох?
1903

ГОЛУБИ

Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом.
Опустошен поблекший сад дождями.
Как лунный камень, холодно и бледно
Над садом небо. Ветер в небе гонит
Свинцовые и дымчатые тучи,
И крупный ливень с бурей то и дело
Бежит, дымится по саду... Но если
Внезапно глянет солнце, что за радость
Овладевает сердцем! Жадно дышишь
Душистым влажным воздухом, уходишь
С открытой головою по аллее,
Меж тем как над аллеей все приветней
Синеет небо яркое -и вдруг
С гумна стрелою мчится белый турман
И снежным комом падает к балкону,
За ним другой -и оба долго, долго
Пьют из лазурной лужи, поднимая
Свои головки кроткие ... Zamрешь,
Боясь их потревожить, весь охвачен

Какой-то робкой радостью, и мнится,
Что пьют они не дождевую воду,
А чистую небесную лазурь.
1903

СУМЕРКИ

Как дым, седая мгла мороза
Застыла в сумраке ночном.
Как привидение, береза
Стоит, серея, за окном.
Таинственно в углах стемнело,
Чуть светит печь, и чья-то тень
Над всем простерлася несмело,-
Грусть, провожающая день,
Грусть, разлитая на закате
В полупомеркнувшей золе,
И в тонком теплом аромате
Сгоревших дров, и в полумгле,
И в тишине, -такой угрюмой,
Как будто бледный призрак дня
С какою-то глубокой думой
Глядит сквозь сумрак на меня.
1903

ПЕРЕД БУРЕЙ

Тьма затопляет лунный блеск,
За тучу входит месяц полный,
Холодным ветром дышат волны,
И все растет их шумный мес^
Вот на мгновенье расступился
Зловещий мрак, и, точно ртуть,
По гребням волн засеребрился
Дрожащий отблеск - лунный путь.
Но как за ним сгустились тучи!
Как черный небосклон велик!..
О ночь! Сокрой во тьме свой лик,
Свой взор, тревожный и могучий!
1903

В КРЫМСКИХ СТЕПЯХ

Синеет снеговой простор,
Померкла степь. Белее снега
Мерцает девственная Вега
Над дальним станом крымских гор.
Уж сумрак пал, как пепел сизый,
Как дым угасшего костра:
Лишь светится багряной ризой
Престол аллы -Шатер-Гора.
1903

ЖАСМИН

Цветет жасмин. Зеленой чащей
Иду над Тереком с утра.
Вдали, меж гор - простой, блестящий
И четкий конус серебра.
Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху -зима и лето:
Январский снег и синь небес.
Лес замирает, млеет в зное,

Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой -неземное Великолепие
вершин.

VI.04

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом -ночь пол-
года.

И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.
Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близ чума, устремила
Незрячий взор в полуночную твердь -
И навсегда Звезда над ней застыла.

1904

* * *

Набегает впотьмах
И узорною пеною светится
И лазурным сиянием реет у скал на песке

...

О божественный отблеск незримого -жиз-
ни, мерцающей

В мириадах незримых существ!

Ночь была бы темна,
Но все море насыщено тонкою Пылью света,
и звезды над морем горят.

В полусвете все видно: и рифы, и взморье
зеркальное, И обрывы прибрежных холмов.

В полусвете ночном
Под обрывами волны качаются -
Переполнено зыбкое, звездное зеркало
волн!

Но, колеблясь упруго, лишь изредка складки
тяжелые

Набегают на влажный песок.
И тогда, фосфорясь,
Загораясь мистическим пламенем,
Рассыпаясь по гравию кипенью бледных
огней,

Море светит сквозь сумрак таинственно,
тонко и трепетно,

Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа

У меня загорается радостью:

Я в пригоршни ловлю закипевшую пену
волны -

И сквозь пальцы течет не вода, а сапфиры,
- несметные

Искры синего пламени, Жизнь!
1904

ПЕРЕКРЕСТОК

Я долго в сумеречном свете
Шел одиноко на закат.
Но тьма росла -и с перекрестка
Я тихо повернул назад.
Чуть брезжил полусвет заката.
Но после света как мертва,
Как величава и угрюма
Ночного неба синева!
И бледны, бледны звезды неба.
И долго быть мне в темноте,
Пока они теплей и ярче
Не засияют в высоте.
1904

ОГНИ НЕБЕС

Огни небес, тот серебристый свет,
Что мы зовем мерцанием звезд небес-
ных,-

Порою только неугасший свет
Уже давно померкнувших планет,
Светил, давно забытых и неизвестных.
Та красота, что мир стремится вперед,
Есть тоже след былого. Без возврата
Сгорим и мы, свершая в свой черед
Обычный путь, но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то.
И много в мире избранных, чей свет,
Теперь еще незримый для незрящих,
Дойдет к земле чрез много, много лет...
В неизвестном сонме мудрых и творящих
Кто знает их? Быть может, лишь поэт.

1903-1904

РАЗВАЛИНЫ

Над синим понтон - серые руины,
Остатки древней греческой тюрьмы.
На юг - морские зыбкие равнины,
На север - голые холмы.
В проломах стен - корявые оливы
И дереза, спутница руин,
А под стенами - красные обрывы
И волн густой аквамарин.
Угрюмо здесь, в сырых подземных кельях;
Но весело тревожить сон темниц,
Перекликаться с эхом в подземельях
И видеть небо из бойниц!
Давно октябрь, но не уходит лето:
Уж на холмах желтеет шелк травы,
Но воздух чист - и сколько в небе света,
А в море нежной синевы!
И тихи, тихи старые руины.
И целый день, под мерный шум валов,
Слежу я в море парус бригаантины,
А в небесах - круги орлов.
И усыпляет моря шум атласный.
И кажется, что в мире жизни нет:

Есть только блеск, лазурь и воздух ясный,
Простор, молчание и свет.
1903-1904

КОСОГОР

Косогор над разлужьем и пашни кругом,
Потускневший закат, полумрак...
Далеко за извалами крест над холмом -
Неподвижный ветряк.
Как печальна заря! И как долго она
Тлеет в сонном просторе равнин!
Вот чуть внятная девичья песня слышна...
Вот заплакала лунь ... И опять тишина ...
Ночь, безмолвная ночь. Я один.
Я один, а вокруг темнота и поля,
И ни звука в просторе их нет...
Точно проклят тот край, тот народ, где зем-
ля
Так пустынна уж тысячу лет!
1903-1904

РАЗЛИВ

Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой
зыби,

Сквозь муть лиловых туч румянится заря.

На темном кряже гор, в их сумрачном из-
гибе,

Померкнули в лесу кресты монастыря.

Оттуда по Оке пахучим дымом тянет...

Но и костер потух, пылавший за Окой,

И монастырь уснул. Темней уже не станет,

Но все же ночь давно -ночь, сумрак и по-
кой.

Лишь брезжится закат на взгорьях сквозь
верхушки,

Блестит, как ртуть, вода по лужам на пес-
ке,

Дрожит в разливе рябь, да сонные лягушки

Звенят чуть слышно в тростнике.

1903-1904

СКАЗКА

...И снилось мне, что мы, как в сказке,
Шли вдоль пустынных берегов
Над диким синим лукоморьем,
В глухом бору, среди песков.
Был летний светозарный полдень,
Был жаркий день, и озарен
Весь лес был солнцем, и от солнца
Веселым блеском напоен.
Узорами ложились тени
На теплый розовый песок,
И синий небосклон над бором
Был чист и радостно-высок.
Играл зеркальный отблеск моря
В вершинах сосен, и текла
Вдоль по коре, сухой и жесткой,
Смола, прозрачнее стекла...
Мне снилось северное море,
Лесов пустынные края...
Мне снилась даль, мне снилась сказка -
Мне снилась молодость моя.

1903-1904

РОЗЫ

Блистая, облака лепились
В лазури пламенного дня.
Две розы под окном раскрылись -
Две чаши, полные огня.
В окно, в прохладный сумрак дома,
Глядел зеленый знойный сад,
И сена душная истома
Струила сладкий аромат.
Порою, звучный и тяжелый,
Высоко в небе грохотал
Громовый гул... Но пели пчелы,
Звенели мухи - день сиял.
Порою шумно пробегали
Потоки ливней голубых ...
Но солнце и лазурь мигали
В зеркально-зыбком блеске их -
И день сиял, и млели розы,
Головки томные клоня,
И улыбались сквозь слезы
Очами, полными огня.

1903-1904

НА МАЯКЕ

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,
Осенний ветер дует -и, звеня,
Гудит вверху. Он влажен и прохладен,
Он опьяняет свежестью меня.
Остановясь на лестнице отвесной,
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой
И зыбь бежит. А выше -свод небесный
И океан туманно-голубой.
Внизу -шум волн, а наверху, как струны,
Звенит-поет решетка маяка.
И все плывет: маяк, залив, буруны,
И я, и небеса, и облака.

1903-1904

В ГОРАХ

Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.
Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает ...
Не Время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный сон!
1903-1904

ШТИЛЬ

На плоском взморье -мертвый зной и
Штиль.
Слепит горячий свет, струится воздух чи-
стый,
Расплавленной смолой сверкает черный
киль Рыбацкого челна на мели золотистой.
С нестройным криком голых татарчат
Сливается порой пронзительный и жал-
кий,

Зловещий визг серебряной рыбалки.
Но небо ясно, отмели молчат.
Разлит залив зеркальностью безбрежной,
И глубоко на золоте песка,
Под хрусталем воды, сияет белоснежный
Недвижный отблеск маяка.
1903-1904

НА БЕЛЫХ ПЕСКАХ

На белых песках от прилива
Немало осталось к заре
Сверкающих луж и затонов -
Зеркальных полос в серебре.
Немало камней самоцветных
Осталось на дюнах нагих,
И смотрит, как ангел лазурный,
Весеннее утро на них.
А к западу сумрак теснится,
И с сумраком, в сизый туман,
Свивается сонный, угрюмый,
Тяжелый удав - Океан.
1903-1904

САМСОН

Был ослеплен Самсон, был Господом оби-
жен,

Был чадами греха поруган и унижен
И приведен на пир. Там, опустив к земле
Незрячие глаза, он слушал смех и клики,
Но мгла текла пред ним -и в этой жуткой

мгле

Пылали грозные архангельские лики.

Они росли, как смерч,- и вдруг разверзлась
твердь,

Прорезал тьму глагол: «Восстань, мой раб
любимый!»

И просиял слепец красой непостижимой,
Затрепетал, как кедр, и побледнел, как
смерть.

О, не пленит его теперь Ваала хохот,
Не обольстит очей ни пурпур, ни виссон! -
И целый мир потряс громовый гул и гро-
хот:

Зане был слеп Самсон.

1903-1904

СКЛОН ГОР

Склон гор, сады и минарет.
К звездам стремятся кипарисы,
Спит море. Теплый лунный свет
Позолотил холмы и мысы.
И кроток этот свет: настал
Час мертвой тишины - уж клонит
Луна свой лик, уж между скал
Протяжно полуночник стонет.
И замер аромат садов.
Узорный блеск под их ветвями
Стал угасать среди цветов,
Сплетаясь с длинными тенями.
И неподвижно Ночь сидит
Над тихим морем: на колено
Облокотилася, - глядит
На валуны, где тает пена.
Передрассветный лунный свет
Чуть золотит холмы и мысы.
Свечой желтеет минарет,
Чернеют маги-кипарисы,
Блестя, ушел в морской простор
Залив зеркальными луками,

Таинственно вершины гор
Мерцают вечными снегами.
1903-1904

САПСАН

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.
Воловьѣ ребра у дороги
Торчат в снегу -и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
Готовый взвиться каждый миг.
Я застрелил его. А это
Грозит бедой. И вот ко мне
Стал гость ходить. Он до рассвета
Вкруг дома бродит при луне.
Я не видал его. Я слышал
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.
На третью ночь я в поле вышел ...
О, как была печальна ночь!
Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумна.
На небе мгlistом и высоком

Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме,
Серо маячила ветла.
Даль над пустынными полями
Была таинственно светла.
Облитый этим странным светом,
Подавлен мертвой тишиной,
Я стал -и бледным силуэтом
Упала тень моя за мной.
По небесам, в туманной мути,
Сияя, лунный лик нырлял
И серебристым блеском ртути
Слюду по насту озарял.
Кто был он, этот полуночный
Незримый гость? Откуда он
Ко мне приходит в час урочный
Через сугробы под балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один? что в дом ко мне
Лишь снег да небо в ночь немую
Глядят из сада при луне?
Быть может, он сегодня слышал,
Как я, покинув кабинет,
По темной спальне в залу вышел,
Где в сумраке мерцал паркет,

Где в окнах небеса синели,
А в этой сини четко встал
Черно-зеленый конус ели
И острый Сириус блистал?
Теперь луна была в зените,
На небе плыл густой туман ...
Я ждал его, -я шел к раките
По насту снеговых полян,
И если б враг мой от привады
Внезапно прынул на сугроб,
Я б из винтовки без пощады
Пробил его широкий лоб.
Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла ... И мне казалось,
Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный иней, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
И в крылья голову вжимал.
И был он страшен, непонятен,
Таинственен, как этот бег
Туманной мглы и светлых пятен,
Порою озарявших снег, -
Как воплотившаяся сила

Той Воли, что в полночный час
Нас страхом всех соединила -
И сделала врагами нас.

9.1.05

РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам,
Туманная муть на полях,
Конским размокшим навозом
В тумане чернеется шлях.
В сонной степной деревушке
Пахучие хлеба пекут.
Медленно две побирушки
По деревушке бредут.
Там, среди улицы, лужи,
Зола и весенняя грязь,
В избах угар, а снаружи
Завалинки тлеют, дымясь.
Жмурясь, сидит у амбара
Овчарка на ржавой цепи.
В избах -темно от угара,
Туманно и тихо -в степи.
Только петух беззаботно
Весну воспекает весь день.

В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень.

10.1.05

В гостиную, сквозь сад и пыльные гарди-
НЫ,

Струится из окна веселый летний свет,
Хрустальным золотом ложась на клави-
НЫ,

На ветхие ковры и выцветший паркет.
Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и оси-

НЫ,
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...

А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины,
Все двери заперты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,
Как мелкий перламутр, беззвучно моль

ПЛЫВЕТ.

По стеклам радужным, как бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая снует.

Но фортки нет в окне, и рама в нем -глухая.
Тут даже моль недолго наживет!

29. VII.05

Старик сидел, покорно и уныло

Поднявши брови, в кресле у окна.
На столике, где чашка чаю стыла,
Сигара нагоревшая струила
Полоски голубого волокна.
Был зимний день, и на лицо худое,
Сквозь этот легкий и душистый дым,
Смотрело солнце вечно молодое,
Но уж его сиянье золотое
На запад шло по комнатам пустым.
Часы в углу своею четкой мерой
Отмеривали время... На закат
Смотрел старик с беспомощною верой ...
Рос на сигаре пепел серый,
Струился сладкий аромат.

23. VII.05

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвел.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст и гол.
Только ты красива,

Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.
Женственно глядишься
В воду в полусне -
И засеребришься
Прежде всех к весне.

1905

Бегут, бегут листы раскрытой книги,
Бегут, струятся к небу тополя,
Гул молотьбы слышней идет из риги,
Дохнули ветром рощи и поля.
Помещик встал и, окна закрывая,
Глядит на юг... Но туча дождевая
Уже прошла. Опять покой и лень.
В горячем свете весело и сухо
Блестит листвой под окнами сирень;
Зажглась река, как золото; старуха
Несет сажать махотки на плетень;
Кричит петух; в крапиву за наседкой
Спешит десяток желтеньких цыплят ...
И тени штор узорной легкой сеткой
По конскому лечебнику пестрят.

1905

* * *

Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел -и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.
На ней был креп, -прозрачный легкий газ
Весенний ветер взвевял на мгновенье,
Но на лице и в ярком блеске глаз
Я уловил бывшее оживленье.
И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом ... Была весна...
Она меня простила - и забыла.

1905

ОГОНЬ НА МАЧТЕ

И сладостно и грустно видеть ночью
На корабле далеком в темном море
В ночь уходящий топовый огонь.
Когда все спит на даче и сквозь сумрак
Одни лишь звезды светятся, я часто
Сижу на старой каменной скамейке,
Над скалами обрыва. Ночь тепла,
И так темно, так тихо все, как будто
Нет ни земли, ни неба -только мягкий
Глубокий мрак. И вот вдали, во мраке,
Идет огонь -как свечечка. Ни звука
Не слышно на побережье, -лишь сверчки
Звенят в горе чуть уловимым звоном,
Будя в душе задумчивую нежность,
А он уходит в ночь и одиноко
Висит на горизонте, в темной бездне
Меж небом и землею ... Пойте, пойте,
Сверчки, мои товарищи ночные,
Баюкайте мою ночную грусть!

1905

Все море -как жемчужное зеркало,

Сирень с отливом млечно-золотым.
В дожде закатном радуга сияла.
Теперь душист над саклей тонкий дым.
Вон чайка села в бухточке скалистой, -
Как поплавок. Взлетает иногда,
И видно, как струею серебристой
Сбегаёт с лапок розовых вода.
У берегов в воде застыли скалы,
Под ними светит жидкий изумруд,
А там, вдали,- и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.

1905

Черные ели и сосны сквозят в палисадни-
ке темном:

В черном узоре ветвей -месяца рог золотой.

Слышу, поют петухи. Узнаю по напевам
печальным

Поздний, таинственный час. Выйду на
снег, на крыльцо.

Замерло все и застыло, лучатся жестокие
звезды,

Но до костей я готов в легком промерзнуть
меху,

Только бы видеть тебя, умирающий в золо-

те месяц,
Золотом блестящий снег, легкие тени бе-
рез
И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпи-
тер,
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий
огнем,
Альдебарана рубин, алмазную цепь Орио-
на
И уходящий в моря призрак серебристый -
Арго.

1905

Густой зеленый ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шел олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь елку гнул и белым зубом скреб -
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг -прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон -и ветки,
Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!
1905

СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами -
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.
Был победитель славен и богат,
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как сытый лев, покою.
Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.
И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.
И пуст Сераль, и смолк его фонтан,

И высохли столетние деревья".

Стамбул, Стамбул! Последний мертвый
стан

Последнего великого кочевья!

1905

* * *

Тонет солнце, рдяным углем тонет
За пустыней сизой. Дремлет, клонит
Головы баранта. Близок час:

Мы проводим солнце, обувь скинем
И свершим под звездным, темным, синим
Милосердным небом свой намаз.

Пастухи пустыни, что мы знаем!

Мы, как сказки детства, вспоминаем
Минареты наших отчих стран.

Разверни же, Вечный, над пустыней

На вечерней тверди темно-синей
Книгу звезд небесных -наш Коран!

И склонив колени, мы закроем

Очи в сладком страхе, и омоем

Лица холодеющим песком,

И возвысим голос, и с мольбою

В прахе разольемся пред тобою,

Как волна на берегу морском.

1905

* * *

Ра-Озирис, владыка дня и света,
Хвала тебе! Я, бог пустыни, Сет,
Горжусь врагом: ты, побеждая Сета,
В его стране царил пять тысяч лет.
Ты славен был, твоя ладья воспета
Была стократ. Но за ладьей вослед
Шел бог пустынь, бог древнего завета -
И вот, о Ра, плоды твоих побед:
Безносый сфинкс среди полей Гизеха,
Ленивый Нил да глыбы пирамид,
Руины Фив, где гулко бродит эхо,
Да письменна в куски разбитых плит,
Да обелиск в блестящей политуре,
Да пыль песков на пламенной лазури.

1905

ПОТОП

Халдейские мифы

Когда ковчег был кончен и наполнен
И я, царь Касисадра, Ксисутрос,
Зарыл в Сиппаре хартии закона,
Раздался с неба голос: «На закате
На землю хлынет ливень. Затвори
В ковчеге дверь». И вот настало время
Войти в ковчег. Со страхом ждал я ночи,
И в страхе затворил я дверь ковчеха
И в страхе поручил свою судьбу
Бусуркургалу, кормчему. А утром
Поднялся вихрь -и тучи охватили
Из края в край всю землю. Роману
Гремел среди небес. Нэбо и Сарру
Согласно надвигались по долинам
И по горам. Нергал дал волю ветру.
Нинип наполнил реки, и несли
Смерть и погибель Гении. До неба
Достигли воды. Свет потух во мраке,
И брат не видел брата. Сами боги
К вершинам Анну в страхе поднялись
И на престолах плакали, и с ними

Истара горько плакала. Шесть дней
И семь ночей свирепствовали в мире
Вихрь, ураган и ветер - наконец,
С рассветом дня, смирились. Воды пали.
И ливень стих. **Я** плакал о погибших,
Носясь по воле волн,- и предо мною,
Как бревна, трупы плавали. **Я** плакал,
Открыв окно и увидавши солнце.
1905

ЭЛЬБУРС

Иранский миф

На льдах Эльбурса солнце всходит.
На льдах Эльбурса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течет алмазный круг планет.
Туман, всползающий на скаты,
Вершин не в силах достгнуть:
Одним небесным Иазатам
К венцу земли доступен путь.
И Митра, чье святое имя
Благословляет вся земля,
Восходит первый между ними
Зарей на льдистые поля.

И светит ризой златотканой
И озирает с высоты
Истоки рек, пески Ирана
И гор волнистые хребты.
1905

ПОСЛУШНИК

Грузинская песня

«Брат, как пасмурно в келье!
Белый снег лежит в ущелье.
Но на скате, на льдине,
Видел я подснежник синий».
«Брат, ты бредишь, ты бледен!
Горный край суров и беден.
Монастырь наш высоко.
До весны еще далеко».
«Не пугайся, брат милый!
Скоро смолкнет бред унылый
К ночи вьюга пустыни
Занесет подснежник синий!»
1905

ХАЯ-БАШ

(*Мертвая голова*)
Ночь идет, - молись, слуга пророка.
Ночь идет - и Хая-Баш встает.
Ветер с гор, он крепнет - и широко,
Как сааз, туманный бор поет.
Ты уже высоко,- от аула
Ты уже далеко. А в бору
Зимней стужей с Хая-Баш пахнуло,
Задымились сосны на ветру.
Вас у перевала только двое -
Ты да конь. А бор померк, дымит.
Звонкий ветер в крепкой синей хвое
Все звончей и сумрачней шумит.
Где ты заночуешь? Зябнет тело,
Зябнет сердце... Конь не пил с утра...
Видишь ли и сквозь сосны? Побелела
Хая-Баш, гранитная гора.
Там нависло небо низко, низко,
Там снега и зимняя тоска".
А уж если своды неба близко -
Значит, смерть близка.

ТЭМДЖИД

Он не спит, не дремлет.

Коран

В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть середине ночи, - раздаётся
Грустный и задумчивый Тэмджид.
На середине между ранним утром
И вечерним сумраком встают
Дервиши Желвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид поют.
Спят сады и спят гробницы в полночь,
Спит Скутари. Все, что спит, молчит.
Но под звездным небом с темной башни
Не для спящих этот гимн звучит:
Есть глаза, чей скорбный взгляд с трево-
гой,

С тайной мукой в сумрак устремлен,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.
Тяжела, темна стезя земная.
Но зачтется в небе каждый вздох
Спите, спите! Он не спит, не дремлет,

Он вас помнит, милосердый Бог.
1905

ТАЙНА

Элиф. Лам. Мим.
Коран

Он на клинокдохнул -и жало
Его сирийскогокинжала
Померкло в дымке голубой:
Под дымкой ярче заблестали
Узоры золота на стали
Своей червонною резьбой.
«Во имя Бога и пророка.
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он -тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».
«Элиф. Лам. Мим? Но эти знаки
Темны, как путь в загробном мраке:
Сокрыл их тайну Мохаммед ...»
«Молчи, молчи! -сказал он строго, -
Нет в мире Бога, кроме Бога,
Сильнее тайны -силы нет».

Сказал, коснулся ятаганом
Чела под шелковым тюрбаном,
Окинул жаркий Атмейдан
Ленивым взглядом хищной птицы -
И тихо синие ресницы
Опять склонил на ятаган.
1905

С ОСТРОГОЙ

Костер трещит. В фелюке свет и жар.
В воде стоят и серебрятся щуки,
Белеет дно... Бери трезубец в руки
И не спеш. Удар! Еще удар!
Но поздно. Страсть -как сладостный кош-
мар,
Но сил уж нет, противны кровь и муки".
Гаси, гаси -вали с борта фелюки
Костер в Лиман". И чад, и дым, и пар!
Теперь легко, прохладно. Выступают
Туманные созвездья в полутьме.
Волна качает, рыбы засыпают ...
И вверх лицом ложусь я на корме.
Плыть -до зари, но в море путь не скучен.
Я задремлю под ровный стук уключин.

1905

МИСТИКУ

В холодный зал, луною освещенный,
Ребенком я вошел.
Тенями рам старинных испещренный,
Блестел вощенный пол.
Как в алтаре, высоки окна были,
А там, в саду -луна,
И белый снег, и в пудре снежной пыли -
Столетняя сосна.
И в страхе я в дверях остановился:
Как в алтаре,
По залу ладан сумрака дымился,
Сквозя на серебре.
Но взгляд упал на небо: небо ясно,
Луна чиста, светла -
И страх исчез... Как часто, как напрасно
Детей пугает мгла!
Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной -надо прямо
Смотреть в лазурь и свет.

1905

СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ

Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты, -
Я красоту небесную сокрыла.
1903-1905

ПРИЗРАКИ

Нет, мертвые не умерли для нас!
Есть старое шотландское преданье,
Что тени их, незримые для глаз,
В полночный час к нам ходят на свиданье,
Что пыльных арф, висящих на стенах,
Таинственно касаются их руки
И пробуждают в дремлющих струнах
Печальные и сладостные звуки.
Мы сказками предания зовем,
Мы глухи днем, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живем
И тишине доверчиво внимаем.
Мы в призраки не верим; но и нас
Томит любовь, томит тоска разлуки ...

Я им внимал, я слышал их не раз,
Те грустные и сладостные звуки!
1903-1905

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Она молчит, она теперь спокойна.
Но радость не вернется к ней: в тот
день,

Когда его могилу закидали
Сырой землей, простилась с нею радость.
Она молчит,- ее душа теперь
Пуста, как намогильная часовня,
Где над немой гробницей день и ночь
Горит неугасимая лампада.
1903-1905

ВЕРШИНА

Леса, скалистые теснины -
И целый день, в конце теснин,
Громада снеговой вершины
Из-за лесных глядит вершин.
Селений нет, ущелья дики,
Леса синеют и молчат,
И серых скал нагие пики
На скатах из лесов торчат.
Но целый день, -куда ни кину
Вдоль по горам смущенный взор, -
Лишь эту белую вершину
Повсюду вижу из-за гор.
Она полнеба заступила,
За облака ушла венцом -
И все смирилось, все застыло
Пред этим льдистым мертвецом.
1903-1905

ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат -осенней ночи ждут.
Вот крикнул сыч в пустынном буераке.
Вот темный лист свалился, чуть шурша ...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Ее немая, скорбная душа.
1903-1905

В ОТКРЫТОМ МОРЕ

В открытом море -только небо,
Вода да ветер. Тяжело
Идет волна, и низко кренит
Фелюка серое крыло.
В открытом море ветер гонит
То свет, то тень -и в облака
Сквозит лазурь ... А ты забыта,
Ты бесконечно далека!
Но волны, пенясь и качаясь,

Идут, бегут навстречу мне -
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.
И что-то вольное, живое,
Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
То, что забыто навсегда!
1903-1905

ПОД ВЕЧЕР

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу ...
В окно зарница глянула тревожно ...
Притихший соловей в сирени на валу
Выводит трели осторожно.
Гром, проворчав в саду, скатился за гумно;
Но воздух меркнет, небо потухает ...
А тополь тянется в открытое окно
И ладаном благоухает.
1903-1905

СКВОЗЬ ВЕТВИ

Осень листья темной краской метит:
Не уйти им от своей судьбы!
Но светло и нежно небо светит
Сквозь нагие черные дубы,
Что-то неземное обещает,
К тишине уводит от забот -
И опять, опять душа прощает
Промелькнувший, обманувший год!
1903-1905

КЕЛЬЯ

День распогодился с закатом.
Сквозь стекла в старый кабинет
Льет солнце золотистый свет;
Широким палевым квадратом
Окно рисует на стене,
А в нем бессильно, как во сне,
Скользит трепещущим узором
Тень от березы над забором ...
Как грустно на закате мне!

Зачем ты, солнце, на прощанье,
В своем сиянье золотом,
Вошло в мой одинокий дом?
Он пуст, в нем вечное молчанье!
Я был спокоен за трудом,
Я позабыл твое сиянье:
Зачем же думы о былом
И это грустное веселье
В давно безлюдной, тихой келье?
1903-1905

СУДРА

Жизнь впереди, до старости далеко.
Но вот и я уж думаю о ней...
О, как нам будет в мире одиноко!
Как грустно на закате дней!
Умершие оставили одежды -
Их носит бедный Судра. Так и мне
Оставит жизнь не радость и надежды,
А только скорбь о старине.
Мы проживем, быть может, не напрасно;
Но тем больнее будет до конца
С улыбкою печальной и безгласной
Влачить одежды мертвеца!

1903-1905

ОГОНЬ

Нет ничего грустней ночного
Костра, забытого в бору.
О, как дрожит он, потухая
И разгораясь на ветру!
Ночной холодный ветер с моря
Внезапно залетает в бор;
Он, бешено кружась, бросает
В костер истлевший хвойный сор -
И пламя вспыхивает жадно,
И тьма, висевшая шатром,
Вдруг затрепещет, открывая
Стволы и ветви над костром.
Но ветер пролетает мимо,
Теряясь в черной высоте,
И ветру отвечает гулом
Весь бор, невидный в темноте,
И снова затопляет тьмою
Свет замирающий ... О, да!
Еще порыв, еще усилье, -
И он исчезнет без следа,
И явственней во мраке станет

Звон сонной хвои, скрип стволов
И этот жуткий, все растущий,
Протяжный гул морских валов.
1903-1905

НЕБО

В деревне капали капли,
 Был теплый солнечный апрель.
Блестели вывески и стекла,
И празднично белел отель.
А над деревней, над горами,
Раскрыты были небеса,
И по горам, к вершинам белым,
Шли темно-синие леса.
И от вершин, как мрамор чистых,
От изумрудных ледников
И от небес зеленоватых
Тянуло свежестью снегов.
И я ушел к зиме, на север.
И целый день бродил в лесах,
Душой теряясь в необъятных
Зеленоватых небесах.
И, радуясь, душа стремилась
Решить одно: зачем живу?

Зачем хочу сказать кому-то,
Что тянет в эту синеву,
Что прелесть этих чистых красок
Словами выразить нет сил,
Что только небо -только радость
Я целый век в душе носил?
1903-1905

НА ВИНОГРАДНИКЕ

На винограднике нельзя дышать. Лоза
Пожухла, сморщилась. Лучистый от-
блеск моря
И белизна шоссе слепят огнем глаза,
А дача на холме, на голом косогоре.
Скрываюсь в дом. О, рай! Прохладно и тем-
но,
Все ставни заперты ... Но нет, и здесь не
скрыться:
Прямой горячий луч блестит сквозь щель
в окно
И понемногу тьма редет, золотится.
Еще мгновение -и приглядишься к ней,
И будешь чувствовать, что за стеною -мо-
ре.

Что за стеной -шоссе, что нет нигде теней,
Что вся земля горит в сияющем просторе!
1903-1905

ОКЕАНИДЫ

В полдневный зной, когда на щебень,
На валуны прибрежных скал,
Кипя, встает за гребнем гребень,
Крутясь, идет за валом вал, -
Когда изгиб прибоя блещет
Зеркально-вогнутой грядой
И в нем сияет и трепещет
От гребня отблеск золотой,-
Как весел ты, о буйный хохот,
Звонящий смех Океанид,
Под этот влажный шум и грохот
Летящих в пене на гранит!
Как звучно море под скалами
Дробит на солнце зеркала
И в пене, вместе с зеркалами,
Клубит их белые тела!
1903-1905

СТОН

Как розовое море -даль пустынь.

Как синий лотос -озеро Мерида.

«Встань, сонный раб, и свой шалаш покинь:

Уж озлатилась солнцем пирамида».

И раб встает. От жесткого одра

Идет под зной и пламень небосклона.

Рассвет горит. И в пышном блеске

Вдали звучат стенания Мемнона.

1903-1905

В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ

Бледно-зеленые грустные звезды ...
Помню темнеющий лес,
Сырость и сумерки в горной долине,
Холод осенних небес.
Жадно и долго стремился я, звезды,
К вам, в вышину ...
Что же я встретил? Нагие граниты,
Сумерки, страх, тишину ...
Бледны и грустны вы, горные звезды:
Вы созерцаете смерть.
Что же влечет к вам? Зачем же так тянет
Ваша бездонная твердь?
1903-1905

ОРМУЗД

Ни алтарей, ни истуканов,
Ни темных капищ. Мир одет
В покровы мрака и туманов:
Боготворите только Свет.
Владыка Света весь в едином -
В борьбе со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму.
Ночь третью мира властно правит.
Но мудрый жаждет верить Дню:
Он в мире радость солнца славит,
Он поклоняется Огню.
И, возложив костер на камень,
Всю жизнь свою приносит в дар
Тебе, неугасимый Пламень,
Тебе, всевидящий Датар!
1903-1905

ДЕНЬ ГНЕВА

Апокалипсис, VI

...И Агнец снял четвертую печать.
И услышал я голос, говоривший:
«Восстань, смотри!» И я взглянул: конь
бледен,

На нем же мощный всадник -Смерть. И Ад
За нею шел, и власть у ней была
Над четвертью земли, да умерщвляет
Мечом и голодом, мором и зверями.
И пятую он снял печать. И видел
Я под престолом души убиенных,
Вопившие: «Доколе, о Владыко,
Не судишь ты живущих на земле
За нашу кровь?» И были им даны
Одежды белоснежные, и было
Им сказано: да починут, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса Г осподни.
Когда же снял шестую он печать,
Взглянул я вновь, и вот - до оснований
Потрясся мир, и солнце стало мрачно,
Как вретище, и лик луны -как кровь;

И звезды устремились вниз, как в бурю
Незрелый плод смоковницы, и небо
Свилось, как свиток хартии, и горы,
Колеблясь, с места двинулись; и все
Цари земли, вельможи и владыки,
Богатые и сильные, рабы
И вольные - все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: «Падите и сокройте
Нас от лица сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настает
Великий день его всесильной кары!»

1903-1905

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ

Он драгоценной яшмой был когда-то,
Он быш неизреченной белизны -
Как цвет садов блаженного Джинната,
Как горный снег в дни солнца и весны.
Дух Гавриил для старца Авраама
Его нашел среди песков и скал,
И гении хранили двери храма,
Где он жемчужной грудой сверкал.
Но шли века -со всех концов вселенной
К нему неслись молитвы, и рекой
Текли во храм, далекий и священный,
Сердца, обремененные тоской...
Аллах! Аллах! Померк твой дар бесценный
Померк от слез и горести людской!
1903-1905

ЗА ИЗМЕНУ

Вспомни тех, что покинули страну свою
Ради страха смерти.

Коран

Их Господь истребил за измену несчастной
отчизне,

Он костями их тел, черепами усеял поля.

Воскресил их пророк: он просил им у гос-
пода жизни.

Но позора Земли никогда не прощает Зем-
ля.

Две легенды о них прочитал я в легендах
Востока.

Милосерда одна: воскрешенные пали в
бою.

Но другая жестока: до гроба, по слову про-
рока,

Воскрешенные жили в пустынном и ди-
ком краю.

В день восстанья из мертвых одежды их
черными стали,

В знак того, что на них -замогильного тле-
ния след,

И до гроба их лица, склоненные долу в печали,

Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет.

1903-1905

ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,
Полусонный, убегает вниз.
Как чернец, над белым саркофагом
В синем небе замер кипарис.
Нежные, как девушки, мимозы
Льют под ним узор своих ветвей,
И цветут, благоухают розы
На кустах, где плачет соловей.
Ниже - дикий берег и туманный,
Еле уловимый горизонт:
Там простор воздушный и безгранный,
Голубая бездна - Геллеспонт.
Мир тебе, о юная! Смиренно
Я целую белое тюрбэ:
Пять веков бессмертна и нетленна
На Востоке память о тебе.
Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.

Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках!

1903-1905

ЧИБИСЫ

Заплакали чибисы, тонко и ярко
Весенняя светится синь,
Обвяла дорога, где солнце -там жарко,
Сереет и сохнет полынь.
На серых полях -голубые озера,
На пашнях -лиловая грязь.
И чибисы плачут -от света, простора,
От счастья -плакать, смеясь.

13.IV.06

КУПАЛЬЩИЦА

Смугла, ланиты побледнели,
И потемнел лучистый взгляд.
На молодом холодном теле
Струится шелковый наряд.
Залив опаловою гладью
В дали сияющей разлит.
И легкий ветер смольной прядью
Ее волос чуть шевелит.
И млеет знойно-голубое
Подобье гор -далекий Крым.
И горяча тропа на зное
По виноградникам сухим.

1906

НОВЫЙ ГОД

Ночь прошла за шумной встречей года...
Сколько сладкой муки! Сколько раз
Я ловил, сквозь блеск огней и говор,
Быстрый взгляд твоих влюбленных глаз!
Вышли мы, когда уже светало
И в церквах затеплились огни...
О, как мы любили! Как томились!
Но и здесь мы были не одни.
Молча шла ты об руку со мною
По середине улиц. Городок
Точно вымер. Мягко веял влажный
Тающего снега холодок...
Но подъезд уж близок. Вот и двери ...
О, прощальный милый взгляд! «Хоть раз,
Только раз прильнуть к тебе всем сердцем
В этот ранний, в этот сладкий час!»
Но сестра стоит, глядит бесстрастно.
«Доброй ночи!» Сдержанный поклон,
Стук дверей -и я один. Молчанье,
Бледный сумрак, предрассветный звон...
1906

ИЗ ОКНА

Ветви кедра -вышивки зеленым
Темным плюшем, свежим и густым,
А за плюшем кедра, за балконом -
Сад прозрачный, легкий, точно дым:
Яблони и сизые дорожки,
Изумрудно-яркая трава,
На березах -серые сережки
И ветвей плакучих кружева,
А на кленах -дымчато-сквозная
С золотыми мушками вуаль,
А за ней -долинная, лесная,
Голубая, тающая даль.

1906

ЗМЕЯ

Покуда март гудит в лесу по голым
Снастям ветвей, -бесцветна и плоска,
Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым,
Холодным сном- и жду: весна близка.
Уж в облаках, как синие оконца,
Сквозит лазурь ... Подсохло у корней,
И мотылек в горячем свете солнца
Припал к листве... Я шевелюсь под ней,
Я развиваю кольца, опьяняюсь
Теплом лучей... Я медленно ползу -
И вновь цвету, горю, меняюсь,
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.
Где суше лес, где много пестрых листьев
И желтых мух, там пестрый жгут -змея.
Чем жарче день, чем мухи золотистой -
Тем ядовитей я.

1906

НЕВОЛЬНИК

Песок, серебристый и горячий,
Вожу я к морю на волах,
Чтоб усыпать дорожки к даче,
Как снег, белеющий в скалах.
И скучно мне. Все то же, то же:
Волы, скрипучий трудный путь,
Иссохшее речное ложе,
Песок, сверкающий, как ртуть.
И клонит голову дремота.
И мнится, что уж много лет
Я вижу кожу бегемота -
Горы морщинистый хребет,
И моря синий треугольник,
И к морю длинный след колес...
Я покорился. Я невольник,
Живу лишь сонным ядом грез.
1903-1906

ПЕЧАЛЬ

На диких скалах, среди развалин -
Рать кипарисов. Она гудит
Под ветром с моря. Угрюм, печален
Пустынный остров, нагой гранит.
Уж берег темен -заходят тучи.
Как крылья чаек, среди камней
Мелькает пена. Прибой все круче,
Порывы ветра все холодней.
И кто-то скорбный, в одежде темной,
Стоит над морем ... Вдали -печаль
И сумрак ночи...

1903-1906

ПЕСНЯ

Я - простая девка на баштане,
Он -рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.
Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши ... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море -
Может, не вернется никогда!
Буду ждать в погоду, в непогоду,..
Не дождусь - с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

1903-1906

ДЕТСКАЯ

От пихт и елей в горнице темней,
Скучней, старинней. Древнее есть что-
то

В уборе их. И вечером красней
Сквозь них зари морозной позолота.
Узорно-легкой, мягкой бахромой
Лежит их тень на рдеющих обоях -
И грустны, грустны сумерки зимой
В заброшенных помещичьих покоях!
Сидишь и смотришь в окна из угла
И думаешь о жизни старосветской ...
Увы! Ведь эта горница была
Когда-то нашей детской!

1903-1906

РЕЧКА

Светло, легко и своенравно
Она блестит среди болот
И к старым мельницам так плавно
Несет стекло весенних вод.
Несет - и знать себе не хочет,
Что там, над омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу, -
Пылит на мельницах помолом,
Трясег и жернов и привод -
И, падая, в бреду тяжелом
Кружит седой водоворот.

1903-1906

ПАХАРЬ

Легко и бледно небо голубое,
Поля в весенней дымке. Влажный пар
Взрезаю я -и лезут на подвои
Пласты земли, бесценный Божий дар.
По борозде спеша за сошниками,
Я оставляю мягкие следы -
Так хорошо разутыми ногами
Ступать на бархат теплой борозды!
В лилово-синем море чернозема
Затерен я. И далеко за мной,
Где тусклый блеск лежит на кровле дома,
Струится первый зной.

1903-1906

ДВЕ РАДУГИ

Две радуги -и золотистый, редкий
Весенний дождь. На западе вот-вот
Блеснут лучи. На самой верхней ветке
Садов, густых от майских непогод,
На мрачном фоне тучи озаренной
Чернеет точкой птица. Все свежей
Свет радуг фиолетово-зеленый
И сладкий запах ржей.
1903-1906

ЗАКАТ

Вдыхая тонкий запах четок,
Из-за чернеющих решеток
Глядят монахи на посад,
На синь лесов и на закат.
Вся келья в жарком, красном блеске:
Костром в далеком перелеске
Гнездо Жар-Птицы занялось
И за сосною тонет вкось.
Оно сгорает, но из дыма

Встают, слагаются незримо
Над синим сумраком земли
Туманно-сизые кремли.
1903-1906

ЧУЖАЯ

Ты чужая, но любишь,
Любишь только меня.
Ты меня не забудешь
До последнего дня.
Ты покорно и скромно
Шла за ним от венца.
Но лицо ты склонила -
Он не видел лица.
Ты с ним женщиной стала,
Но не девушка ль ты?
Сколько в каждом движенье Простоты,
красоты!
Будут снова измены ...
Но один только раз
Так застенчиво светит
Нежность любящих глаз.
Ты и скрыть не умеешь,
Что ему ты чужда ...

Ты меня не забудешь
Никогда, никогда!
1903-1906

АПРЕЛЬ

Туманный серп, неясный полумрак,
Свинцовотусклый блеск железной кры-
ши,

Шум мельницы, далекий лай собак,
Таинственный зигзаг летучей мыши.
А в старом палисаднике темно,
Свежо и сладко пахнет можжевельник,
И сонно, сонно светится сквозь ельник
Серпа зеленоватое пятно.
1903-1906

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок -как шелк ... Прильну к сосне коря-
вой

И чувствую: мне только десять лет,
А ствол -гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.
1903-1906

ПОМОРЬЕ

Белый полдень, жар неслосьный,
Мох, песок, шелюг да сосны ...
Но от сосен тени нет,
Облака легки, высоки,
Солнце в бледной поволоке -
Всюду знойный белый свет.
Там, за хижинной помора,
За песками косогора,
Голой мачты виден шест...
Но и море гладью млечной,
Серебристой, бесконечной,
Простирается окрест.
А на отмели песчаной
Спит помор, от солнца пьяный,
Тонко плачется комар,
И на икрах обнаженных,
Летним зноем обожженных,
Блещет бронзовый загар.
1903-1906

ДОННИК

Брат, в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на парах,
Цветок засухи -желтый донник.
Я встал от книг и в степь пошел ...
Ну да, все поле -золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.
Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет -
И, значит, завтра вновь жара И вновь сух-
мень. А хлеб уж зреет.

Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом ... И все же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!

1903-1906

У ШАЛАША

Распали костер, сумей
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих
Золотых и синих змей!
Ночь из тьмы пустого сада
Дышит холодом прудов,
Прелых листьев и плодов -
Ароматом листопада.
Здесь же яркий зной и свет,
Тени пляшут по аллеям,
И бегущим жарким змеям,
Их затеям -счета нет!
1903-1906

ТЕРЕМ

ВЫСОКО стоит луна.
Тени елей резки, четки.
Я -в светлице у окна,
Я бледнее полотна...
В серебре пруты решетки.
Мать, отец - все спят давно.
Я с распущенной косою
Загляделася в окно...
Я бледна, как полотно,
Как поляна под росую.
Подоконник не велик,
Все же можно здесь прижаться.
С неба смотрит лунный лик -
И у ног на половик
Клетки белые ложатся.
Да и я -как в серебре,
Испещренная крестами...
Долги ночи в сентябре!
Но усну лишь на заре,
Истомленная мечтами.
1903-1906

ГОРЕ

Меркнет свет в небесах.
Скачет князь мелколесьем, по топям,
где сохнет осока.

Реют сумерки в черных еловых лесах,
А по елкам мелькает, сверкает -сорока.

Станет князь, поглядит:

Нет сороки! Но сердце недоброе чует.

Снова скачет -и снова сорока летит,

Перелесьем кочует.

Болен сын... Верно, хуже ему...

Погубили дитя переходящие старцы-калики!

Ночь подходит... И что-то теперь в терему?

Скачет князь -и все слышит он женские
крики.

А в лесу все темней,

А уж конь устает... Поспешай, - недалеко!

Вот и терем ... Но что это? Сколько огней!

Нагадала сорока.

1903-1906

ДЮНЫ

За сизыми дюнами -северный тусклый туман.

За сизыми дюнами -серая даль океана.

На зыби холодной, у берега -черный баклан,

На зыби маячит высокая шейка баклана.

За сизыми дюнами -север. Вдали иногда

Проходят, как тени, норвежские старые

шхуны

И снова все пусто. Холодное небо, вода,

Туман синеватый и дюны.

1903-1906

КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.
Степь -без границ, но даль синее слабо.
Вот остов лошадиной головы.
Вот снова - Каменная Баба.
Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя ... А ты
Мне улыбаешься несмело.
О дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем? -
Не Бог, не Бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.
1903-1906

ЭСХИЛ

Я содрогаюсь, глядя на твои
Черты немые, полные могучей
И строгой мысли. С древней простотой
Изваян ты, о старец. Бесконечно
Далеки дни, когда ты жил, и мифом
Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен
Их древностью. Ты страшен тем, что ты,
Незримый в мире двадцать пять столетий,
Незримо в нем присутствуешь доньше,
И пред твоею славой легендарной
Бессильно Время. - Рок неотвратим,
Все в мире предначертано Судьбою,
И благо поклоняющимся ей,
Всесильной, осудившей на забвеньё
Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей
Склонил чело суровое с таким
Величием, с такою мощью духа,
Какая подобает лишь богам
Да смертному, дерзнувшему впервые
Восславить дух и дерзновенье смертных!
1903-1906

У БЕРЕГОВ МАЛОЙ АЗИИ

Здесь царство Амазонок. Были дики
Их буйные забавы. Много дней
Звучали здесь их радостные клики
И ржание купавшихся коней.
Но век наш -миг. И кто укажет ныне,
Где на пески ступала их нога?
Не ветер ли среди морской пустыни?
Не эти ли нагие берега?
Давно унес, развеял ветер южный
Их голоса от этих берегов...
Давно слизал, размыл прибой жемчужный
С сырых песков следы подков ...
1903-1906

АГНИ

Лежу во тьме, сраженный злою силой.
Лежу и жду, недвижимый и немой:
Идут, поют над вырытой могилой,
Несут огни,- вещают жребий мой.
Звенят в щиты, зовут меня домой,
В стоустый вопль сливают плач унылый.
Но мне легко: ты, Агин светлокрылый,
Спасешь меня, разъединишь со тьмой.
Смотрите, братья, недруги и други,
Как бог, гудя, охватит мой костер,
Отсвечивая золотом в кольчуге!
Смирите скорбь рыдающих сестер:
Бог взял меня и жертвою простер,
Чтоб возродить на светозарном Юге!
1903-1906

СТОЛП ОГНЕННЫЙ

В пустыне раскаленной мы блуждали,
Томительно нам знойный день светил,
Во мгlistые сверкающие дали
Туманный столп пред нами уходил.
Но пала ночь -и скрылся столп туманный,
Мираж исчез, свободней дышит грудь -
И пламенем к земле обетованной
Нам Ягве указывает путь!

1903-1906

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

А *покалисис, I*
Я, Иоанн, ваш брат и соучастник
В скорбях и царстве Господа, был изгнан
На Патмос за свидетельство Христа.
Я осенен был Духом в день воскресный
И слышал за собою как бы трубный
Могучий глас: «Я Альфа и Омега».
И обратился, дабы видеть очи
Того, кто говорит, и, обратившись,

Увидел семь светильников златых.
И посреди их пламенников - мужа,
Подиром облеченного по стану
И в поясе из золота - по персям.
Глава Его и волосы сияли,
Как горный снег, как белая ярина,
И точно пламень огненный - глаза.
Стопы Его - халколиван горящий,
Как будто раскаленные в горниле, И глас
его был шумом многих вод.

Семь звезд в Его деснице, меч струился
Из уст Его, и лик Его - как солнце,
Блистающее в славе сил своих,
И, увидав, я пал пред Ним, как мертвый.
1903-1906

СОН

Из книги пророка Даниила

Царь! вот твой сон: блистал перед тобою

Среди долин огромный истукан,
Поправший землю глиняной стопою.

Червонный лик был истукану дан,
Из серебра имел он грудь и длани,
Из меди - бедра мощные и стан.

Но пробил час, назначенный заране, -
И сорвался в долину сам собой

Тяжелый камень с дальней горной грани.

Царь! пробил час, назначенный судьбой:

Тот камень пал, смешав металлы с глиной,

И поднял прах, как пыль над молотьюбой.

Бог сокрушил металла блеск в единый

И краткий миг: развеял без следа,

А камень стал великою вершиной.

Он овладел вселенной. Навсегда.

1903-1906

АТЛАНТ

...И долго, долго шли мы плоскогорьем,
Меж диких скал - все выше, выше, к
небу,

По спутанным кустарникам, в тумане,
То закрывавшем солнце, то, как дым,
По ветру пронесившемся пред нами -
И вдруг обрыв, бездонное пространство
И глубоко в пространстве - необъятный,
Туманно восходящий к горизонту
Своей воздушно-зыбкою равниной
Лилово-синий южный Океан!

И сатана спросил, остановившись:
«Ты веришь ли в предания, в легенды?»
Еще был март, и только что мы вышли
На высший из утесов над обрывом,
Навстречу нам пахнуло зимней бурей,
И увидел я с горной высоты,
Что пышность южных красок в Океане
Ее дыханьем мглистым смягчена
И что в горах, к востоку уходящих
Излучиной хребтов своих, белеют,
Сквозь тусклость отдаления, снега -

Заоблачные царственные кряжи
В холодных вечных саванах своих.
И Дух спросил: «Ты веришь ли в Атланта?»
Крепясь, стоял я на скале, а ветер
Сорвать меня пытался, проносясь
С звенящим завываньем в низкорослых,
Измятых, искривленных бурей соснах,
И доносил из глубины глухой
Широкий шум -шум Вечности, протяжный
Шум дальних волн... И, как орел, впервые
Взмахнувший из родимого гнезда
Над ширью Океана, был я счастлив
И упоен твоею первозданной
Непостижимой силою, Атлант!
«О да, Титан, я верил, жадно верил».

1903-1906

ЗОЛОТОЙ НЕВОД

Волна ушла -блестят, как золотые,
На солнце валуны.
Волна идет -как из стекла литые,
Идут бугры волны.
По ним скользит, колышется медуза,
Живой морской цветок ...
Но вот волна изнемогла от груза
И пала на песок,
Зеркальной зыбью блещет и дробится,
А солнце под водой
По валунам скользит и шевелится,
Как невод золотой.
1903-1906

НОВОСЕЛЬЕ

Весна! Темнеет над аулом,
Свет фиолетовый мелькнул -
И горный кряж стократным гулом
Ответил на громовый гул.
Весна! Справляя новоселье,
Она веселый катит гром,
И будит звучное ущелье,
И сыплет с неба серебром.
1903-1906

ДАГЕСТАН

Насторожись, стань крепче в стремяна.
В ущелье мрак, шумящие каскады.
И до небес скалистые громады
Встают в конце ущелья -как стена.
Над их челом -далеких звезд алмазы.
А на груди, в зловещей темноте,
Лежит аул: дракон тысячеглазый
Гнездится в высоте.
1903-1906

НА ОБВАЛЕ

Печальный берег! Сизые твердыни
Гранитных стен до облака встают,
А ниже -хаос каменный пустыни,
Лавина щебня, дьявола приют.
Но нищета смиренна. Одинок
Она ушла на берег -и к скале
Прилипла сакля... Верный раб пророка
Довольствуется малым на земле.
И вот -жилье. Над хижинкой убогой
Дымок синеет... Прыгает коза ...
И со скалы, нависшей над дорогой,
Блестят агатом детские глаза.
1903-1906

АЙЯ-СОФИЯ

Светильники горели, непонятный
Звучал язык, - великий шейх читал
Святой Коран, - и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.
Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза -и страх
Царил в толпе, и мертвою, слепую
Она лежала на коврах ...
А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.
И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

1903-1906

К ВОСТОКУ

Вот и скрылись, позабылись снежных гор
Чалмы.

Зной пустыни, путь к востоку, мертвые
холмы.

Каменистый, красно-серый, мутный океан
На восток уходит, в знойный, в голубой ту-
ман.

И все жарче, шире веет из степей теплынь,
И все суше, слаще пахнет горькая полынь.
И холмы все безнадежней. Глина, рого-
вик...

День тут светел, бесконечен, вечер синь и
дик.

И едва стемнеет, смеркнет, где-то между
скал,

Как дитя, как джинн пустыни, плачется
шакал,

И на мягких крыльях совки трепетно па-
рят,

И на тусклом небе звезды сумрачно горят.

1903-1906

ПУТЕВОДНЫЕ ЗНАКИ

Он ставит путеводные знаки.

Коран

Бог для ночных паломников в Могребе

Зажег огни -святые звезды Пса.

Привет тебе, сверкающая в небе

Алмазно-синяя роса!

Путь по пескам от Г азы до Арима

Бог оживил приметами, как встарь.

Привет вам, камни -четки пилигрима,

В пустыне ведшие Агарь!

Костями Бог усеял все дороги,

Как след гиен среди ущелий Ти.

Привет вам, почивающие в Боге,

Нам проторившие пути!

1903-1906

МУДРЫМ

Герой -как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб -сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.
А трус живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О да, он -мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

1903-1906

ЗЕЛЕНЫЙ СТЯГ

Ты почиешь в ларце, в драгоценном ковче-
ге,
Ветхий деньми, Эски,
Ты, сзывавший на брань и святые набег
Чрез моря и пески.
Ты уснул, но твой сон -золотые виденья.
Ты сквозь сорок шелков
Дышишь запахом роз и дыханием тленья -
Ароматом веков.

Ты покоишься в мире, о слава Востока!
Но сердца покорил
Ты навек. Не тебя ль над главою пророка
Воздвигал Гавриил?
И не ты ли царишь над Востоком донныне?
Развернися, восстань -
И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!
Проклят тот, кто велений Корана не слы-
шит.

Проклят тот, кто угас
Для молитвы и битв, -кто для жизни не ды-
шит,

Как бесплодный Геджас.

Ангел смерти сойдет в гробовые пещеры,-

Ангел смерти сквозь тьму

Вопрощает у мертвых их символы веры:

Что мы скажем ему?

1903-1906

СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ

Пыль, по которой Гавриил
Свой путь незримый совершает
В полночный час среди могил,
Целит и мертвых воскрешает.
Прах, на который пала кровь
Погибших в битве за свободу,
Благоговенье и любовь
Внушает мудрому народу.
Прильни к нему, благослови
Миг созерцания святыни -
И в битву мести и любви
Восстань, как ураган пустыни.
1903-1906

АВРААМ

Коран, VI

Был Авраам в пустыне темной ночью
И увидал на небесах звезду.

«Вот мой Господь!» -воскликнул он. Но в
полночь

Звезда зашла -и свет ее померк.

Был Авраам в пустыне пред рассветом
И восходящий месяц увидал.

«Вот мой Господь!» -воскликнул он.

Но месяц Померк и закатился, как звезда.

Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простер.

«Вот мой господь!» -воскликнул он. Но
солнце

Свершило день и закатилось в ночь.

Бог правый путь поведал Аврааму.

1903-1906

САТАНА БОГУ

И когда мы сказали ангелам: падите ниц перед Адамом, все пали, кроме Эблиса, сотворенного из огня.

Коран

Я - из огня, Адам -из мертвой глины,
И ты велишь мне пред Адамом пасть!
Что ж, сей в огонь листву сухой маслины -
Смирять листвой его живую страсть.
О, не смиришь! Я только выше вскину
Свой красный стяг. Смотри: уж Твой Адам
Охвачен мной! Я выжгу эту глину,
Я, как гончар, закал и звук ей дам.

1903-1906

ЗЕЙНАБ

Зейнаб, свежесть очей! Ты -арабский кув-
шин:

Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.

Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любишь -тем строже.

Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника -жизни дороже!

1903-1906

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ

В пустыне красной над пророком
Летел архангел Гавриил
И жгучий зной в пути далеком
Смягчал сияньем белых крыл.
И я в пути, и я в пустыне.
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет к святой Медине,
Держу к заветной цели путь.
Но зной не жжет - твоим приветом
Я и доньше осенен:
Мир серебристым, нежным светом
Передо мною напоен.
1903-1906

ПТИЦА

М*ы привязали к шее каждого его птицу.*
Коран

На всех на вас -на каждой багрянице,
На каждом пыльном рубище раба -
Есть амулет, подобный вещей птице,
Есть тайный знак, и этот знак -Судьба.
От древности, когда он путь свой начал,
Он совершал его среди гробов:
Он, проходя, свои следы означил
Зловещей белизною черепов.
Хамсин на них горячей мглою дует,
Песок, струясь, бежит по их костям.
Всем чуждая, на них сова ночует
Среди могильных ям.

1903-1906

1906-1911

ЗА ГРОБОМ

Я не тушил священного огня.
Книга Мертвых

В подземный мир введет на суд Отца
Сын, Ястреб-Гор. Шакал-Анубис будет
Класть на весы и взвешивать сердца:
Бог Озирис, бог мертвых, строго судит.
Я погребен, как раб, в песке пустынь.
Пройдут века -и Сириус, над Нилом
Теперь огнем горящий, станет синь,
Да светит он спокойнее могилам.
И мир забудет, темного, меня.
И на весах потянет солнце мало.
Но я страдал. Я не тушил огня.
И я взгляну без страха в лик Шакала.
1906

МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали
В сумерки, над каменистым логом.
Скорбные слова его звучали
Как источник, позабытый Богом.
На песке, босой, с раскрытой грудью,
Он сел и говорил, тоскуя:
«Предан я пустыне и безлюдью,
Отрешен от всех, кого люблю я!»
И сказали Духи:
«Недостойно Быть пророку слабым и уста-
ЛЫМ».

И пророк печально и спокойно
Отвечал: «Я жаловался скалам».

1906

* * *

Огромный, красный, старый пароход
У мола стал, вернувшись из Сиднея.
Белеет мол, и, радостно синея,
Безоблачный сияет небосвод.
В тиши, в тепле, на солнце, в изумрудной
Сквозной воде, склонясь на левый борт,
Гигант уснул. И спит пахучий порт,

Спят грузчики. Белеет мол безлюдный.
В воде прозрачной виден узкий киль,
Весь в ракушках. Их слой зелено-ржавый
Нарос давно ... У Суматры, у Явы,
В Великом океане... в зной и штиль.
Мальчишка-негр в турецкой грязной феске
Висит в бадье, по борту, красит бак -
И от воды на свежий красный лак
Зеркальные восходят арабески.
И лак блестит под черною рукой,
Слепит глаза... И мальчик-обезьяна
Сквозь сон поет... Простой напев Судана
Звучит в тиши всем чуждою тоской.

VIII. 06

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип,
Звонящей люстры серый кокон
И половиц прогнивших скрип.
Люблю неясный винный запах
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкапах,
Где рядом Сю и Патерик.
Люблю их синие странички,
Их четкий шрифт, простой набор,

И серебро икон в божничке,
И в горке матовый фарфор,
И вас, и вас, дагерротипы,
Черты давно поблекших лиц,
И сумрак от столетней липы,
И скрип прогнивших половиц.

1906

И скрип и визг над бухтой, наводненной
Буграми влаги пенисто-зеленой:
Как в забытьи, шатаются над ней
Кресты нагих запутанных снастей,
А чайки с криком падают меж ними,
Сверкая в реях крыльями тугими,
Иль белою яичной скорлупой
Скользят в волне зелено-голубой.
Еще бегут поспешно и высоко
Лохмотья туч, но ветер от востока
Уж дал горам лиловые цвета,
Чеканит грани снежного хребта
На синем небе, свежем и блестящем,
И сыпет в море золотом кипящим.

1906

* * *

Луна еще прозрачна и бледна,

Чуть розовеет пепел небосклона,
И золотится берег. Уж видна
Тень кипариса у балкона.
Пойдем к обрывам. Млеющей волной
Вода переливается. И вскоре
Из края в край под золотой луной
Затеплится и засияет море.
Ночь будет ясная, веселая. Вдали,
На рейде, две турецких бригантины.
Вот поднимают парус. Вот зажгли
Сигналы -изумруды и рубины.
Но ветра нет. И будут до зари
Они дремать и медленно качаться,
И будут в лунном свете фонари
Глазами утомленными казаться.

1906

Проснусь, проснусь -за окнами, в саду,
Все тот же снег, все тот же блеск поляр-
ный.

А в зале сумрак. Слушаю и жду:
И вот опять -таинственный, коварный,
Чуть слышный треск ... Конечно, пол иль
мышь.

Но как насторожишься, как следишь

За кем-то, притаившимся у двери
В повисшей без движения портъере!
Но он молчит, он замер. Тюль гардин
Сквозит в голубоватом лунном блеске
Да чуть мерцают -искорками льдин -
Под люструю стеклянные подвески.

1906

Ограда, крест, зеленая могила,
Роса, простор и тишина полей...
- Благоухай, звенящее кадило,
Дыханием рубиновых углей!
Сегодня год. Последние напевы,
Последний вздох, последний фимиам...
- Цветите, зрейте, новые посевы,
Для новых жатв! Придет черед и вам.

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Девушки-русалочки,
Нынче наш последний день!
Свет за лесом занимается,
Побледнели небеса,
Собираются с дубинами
Мужики из деревень
На опушку, к морю сизому
Холодного овса...
Мы из речки -на долину,
Из долины -по отвесу,
По березовому лесу -
На равнину,
На восток, на ранний свет,
На серебряный рассвет,
На овсы,
Вдоль по жемчугу
По сизому росы!
Девушки-русалочки,
Звонко стало по лугам.
Забелела речка в сумраке,
В алеющем пару,
Пнями пахнет лес березовый

По откосам, берегам, -
Густ и зелен он, кудрявый,
По утру ...
Поутру вода тепла,
Холодна трава седая,
Вся медовая, густая,
Да идут на нас с дрекольем из села.
Что ж! Мы стаей на откосы,
На опушку -из берез,
На бегу растреплем косы,
Упадем с разбега в росы
И до слез
Щекотать друг друга будем,
Хохотать и, назло людям,
Мять овес!
Девушки-русалочки,
Стойте, поглядите на рассвет:
Бел-восток алеет, ширится,-
Широко зарей в полях,
Ни души-то нету, милые,
Только ранний алый свет
Да холодный крупный жемчуг
На стеблях...
Мы, нагие,
Всем чужие,

На опушке, на поляне,
Бледны, по пояс в пару,-
Нам пора, сестрицы, к няне,
Ко двору!

Жарко в небе солнце Божье
На Петров играет день,
До Ильи сулит бездожде,
Пышь, сухмень -
Будут знойные зарницы
Зарить хлеб,
Будет омут наш, сестрицы,
Темен, слеп!

1906

Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова.
По вечерам заплакала сова,
К моей душе забывчивой взывая,
И старый склеп, руина гробовая,
Таит укор ... Но ты, земля, права!
Как нежны на алеющем закате
Кремли далеких синих облаков!
Как вырезаны крылья ветряков

За темною долиною на скате!
Земля, земля! Весенний сладкий зов!
Ужель есть счастье даже и в утрате?
1906

ВАЛЬС

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных -
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.
Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный -
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

1906

«Мимо острова в полночь фрегат прохо-
дил:

Слева месяц над морем светил,
Справа остров темнел -пропадали вдали
Дюны скудной родимой земли.
Старый дом рыбака голубою стеной
Там мерцал над кипящей волной.
Но в заветном окне не видал я огня:

Ты забыла, забыла меня!»

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:

Поздний месяц над морем светил,
Золотая текла по волнам полоса
И как в сказке неслись паруса.
Лебединою грудью белели они,
И мерцали на мачтах огни.
Но в светлице своей не зажгла я огня:
Ты забудешь, забудешь меня!»

1906

* * *

Геймдаль искал родник божественный.
Геймдаль, ты мудрости алкал -
И вот настал твой Час торжественный
В лесах, среди гранитных скал.
Они молчат, леса полночные,
Ручьи, журча, едва текут,
И звезды поздние, восточные
Их вещей говор стерегут.
И шлем ты снял -и холод счастья
По волосам твоим прошел:
Миг обрученья, миг причастия
Как смерть был сладок и тяжел.
Теперь ты мудр. Ты жаждал знания

И все забыл. Велик и прост,
Ты слышишь мхов произрастание
И дрожь земли при свете звезд.
1906

ПУГАЧ

Он сел в глуши, в шатре столетней ели.
На яркий свет, сквозь ветви и сучки,
С безумным удивлением глядели
Сверкающие золотом зрачки.
Я выстрелил. Он вздрогнул -и бесшумно
Сорвался вниз, на мох корней витых.
Но и во мху блестят, глядят безумно
Круги зрачков лучисто-золотых.
Раскинулись изломанные крылья,
Но хищный взгляд все так же дик и зол,
И сталь копей с отчаяньем бессилья
Вонзается в ружейный скользкий ствол.
1906

ДЯДЬКА

За окнами -снега, степная гладь и ширь,
На переплетах рам -следы ночной пур-
ги...

Как тих и скучен дом! Как съежился сне-
гирь

От стужи за окном,- Но вот слуга. Шаги.
По комнатам идет седой костлявый дед,
Несет вечерний чай: «Опять глядишь в уг-
лы?

Небось все писем ждешь, депеш да эста-
фет?

Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве -ба-
лы».

Смутясь, глядит барчук на строгие очки,
На седину бровей, на розовую плешь...
-Да нет, старик, я так ... Сыграем в дурачки,
Пораньше ляжем спать... Каких уж там де-
пеш!

1906

СТРИЖИ

Костел-маяк, примета мореходу
На ребрах гор, скалистых и нагих,
Звонит зимой, в туман и непогоду,
А нынче -штиль; закат и чист, и тих.
Одни стрижи, -как только над горою
Начнет гранит вершины розоветь, -
Скользят в пролетах башни и порою
Чуть слышно будят медь.
1906

НА РЕЙДЕ

Люблю сухой, горячий блеск червонца,
Когда его уронят с корабля
И он, скользнув лучистой каплей солнца,
Прорежет волны у руля.
Склонясь с бортов, с невольною улыбкой
Все смотрят вниз. А он уже исчез.
Вверх по корме струится глянец зыбкий
От волн, от солнца и небес.
Как жар горят червонной медью гайки

Под серебристым тентом корабля.
И плавают на снежных крыльях чайки,
Косясь на волны у руля.

1906

ДЖОРДАНО БРУНО

«К овчег под предводительством осла -
Вот мир людей. Живите во Вселен-
ной.

Земля -вертеп обмана, лжи и зла.
Живите красотой неизменной.
Ты, мать-земля, душе моей близка -
И далека. Люблю я смех и радость,
Но в радости моей -всегда тоска,
В тоске всегда -таинственная сладость!»
И вот он посох странника берет:
Простите, келий сумрачные своды!
Его душа, всем чуждая, живет
Теперь одним: дыханием свободы.
«Вы все рабы. Царь вашей веры -Зверь:
Я свергну трон слепой и мрачной веры.
Вы в капище: я распахну вам дверь
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы.
Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.

Мы остановим солнце Птолемея -
И вихрь миров, несметный сонм планет,
Пред нами развернется, пламенея!»
И он дерзнул на все -вплоть до небес.
Но разрушенье -жажда созиданья,
И, разрушая, жаждал он чудес -
Божественной гармонии Созданья.
Глаза сияют, дерзкая мечта
В мир откровений радостных уносит.
Лишь в истине -и цель и красота.
Но тем сильнее сердце жизни просит.
«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютней!
Я мог твоим быть другом и отцом".
Но я один. Нет в мире бесприютней!
Высоко нес я стяг своей любви.
Но есть другие радости, другие:
Оледенив желанья свои,
Я только твой, познание,- София!»
И вот опять он странник. И опять
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго
Его лицо. Враги, вам не понять,
Что Бог есть Свет. И он умрет за Бога.
«Мир -бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом -жизнью, красотой.

Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.
Ты, с лютнею! Мечты твоих очей
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?
Ты, солнце! вы, созвездия ночей!
Вы только этой Радостью дышали».
И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. *«Умерший е рабский век
Бессмертием венчается - в свободном!*
Я умираю - ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презрен-

ный!

Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! -
Он мысль мою развеет по Вселенной!»

1906

МОСКВА

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Март, весна.
И холодно и низко в мезонине,
Немало крыс, но по ночам -чудесно.
Днем падают капли, греет солнце,
А ночью подморозит, станет чисто,
Светло -и так похоже на Москву,
Старинную, далекую. Усядусь,
Огня не зажигая, возле окон,
Облитых лунным светом, и смотрю
На сад, на звезды редкие ... Как нежно
Весной ночное небо! Как спокойна
Луна весною! Теплятся, как свечи,
Кресты на древней церковке. Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов ...

1906

Леса в жемчужном инее. Морозно.
Поет из телеграфного столба
То весело, то жалобно, то грозно

Звонящим гулом темная судьба.
Молчит и внемлет белая долина.
И все победней, ярче и пышней
Горит, дрожит и блещет хвост павлина
Стоцветными алмазами над ней.
21.11.07

ПРОВОДЫ

Забил буграми жемчуг, заклубился,
Взрывая малахиты под рулем.
Земля плывет. Отходит, отделился
Высокий борт. И мы назад плывем.
Мол опустел. На сор и зерна жита,
Свистя, слетелись голуби. А там
Дрожит корма, и длинный жезл бугшпри-
та
Отходит и чертит по небесам.
Куда теперь? Март, сумерки ... К вечерне
Звонят в порту... Душа весной полна,
Полна тоской ... Вон огонек в таверне...
Но нет, домой. **Я** пьян и без вина.
1907

ДИА

Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе.
Зацвел миндаль. В ауле тишина
И теплый блеск. В мечети на карнизе,
Воркуя, ходят, ходят турмана.
На скате под обрывистым утесом
Журчит фонтан. Идут оттуда вниз
Уступы крыш по каменным откосам,
И безграничный виден Ак-Дениз.
Она уж там. И весел и спокоен
Взгляд быстрых глаз. Легка, как горный
джинн.

Под шелковым бешметом детски-строен
Высокий стан... Она нальет кувшин,
На камень сбросит красные папучи
И будет мыть, топтать в воде белье...
-Журчи, журчи, звени, родник певучий,
Она глядится в зеркало твое!

1907

ГЕРМОН

Великий Шейх, седой и мощный друг,
Ты видишь все: пустыню Джаулана,
Геннисарет, долины Иордана
И Божий дом, ветхозаветный Луз.
Как белый шелк, сияет твой бурнус
Над синевой далекого Ливана,
И сам Христос, смиренный Иисус,
Дышал тобою, радость каравана.
В скалистых недрах спит Геннисарет
Под серую стеной Тивериады.
Повсюду жар, палящий блеск и свет
И допотопных кактусов ограды -
На пыльную дорогу в Назарет
Один ты веешь сладостью прохлады.

1907

На пути под Хевроном,

В каменистой широкой долине,
Где по скатам и склонам
Вековые маслины серели на глине,
Поздней ночью я слышал

Плач ребенка - шакала.
Из-под черной палатки я вышел,
И душа моя грустно чего-то искала.
Неподвижно светили
Молчаливые звезды над старой,
Позабытой землею. В могиле
Почивал Авраам с Исааком и Саррой.
И темно было в древней гробнице Рахили.
1907

ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«**И** умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути...» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.
Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственной бледностью одет.
Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне, выпуклом и белом ...
Сладчайшее из слов земных! Рахиль!
1907

ИЕРУСАЛИМ

Э то было весной. За восточной стеной
Был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припеке во рву
Мак кропил огоньками траву.
И сказал проводник: «Господин! Я еврей
И, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
Это все, что осталось нам».
Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
«Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как
весна,
Красным маком восходит она».
В полдень был я на кровле. Кругом, подо
мною,
Тоже кровлей, - единой, сплошной,
Желто-розовой, точно песок,- возлежал
Древний город и зноем дышал.
Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали, сверлили стрижи тишину,
И далеко я видел страну.

Морем серых холмов расстилалась она
В дымке сизого мглистого сна,
И я видел гористый Моав, а внизу -
Ленту Мертвой воды, бирюзу.
«От Галгала до Газы, -сказал проводник, -
Край отцов ныне беден и дик.
Иудея в гробах. Бог раскинул по ней
Семя пепельно-серых камней.
Враг разрушил Сноп. Город тлел и сторал -
И пророк Иеремия собрал
Теплый прах, прах золы, в погасавшем ог-

не

И рассеял его по стране:
Да родит край отцов только камень и мак!
Да исчахнет в нем всяческий злак!
Да пребудет он гол, иссушен, нелюдим -
До прихода реченного им!»

1907

ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.
Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильнее,
Прекрасней, допотопная руина!
Там глыбы желто-пепельных камней,
Забутые могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.
Патриархально-царственные ткани -
Снегов и скал продольные ряды -
Лежат, как пестрый талес, на Ливане.
Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горная прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.
Под ним стоянка первого Номада.
И пусть она забвенна и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.
В блаженный мир ведут ее врата.

Баальбек, 6.V.07

Чалма на мудром -как луна

С ее спокойствием могильным.
Луна светла и холодна
Над Ак-Сараем, жарким, пыльным.
Что для нее все наши дни,
Закаты с горестным изаном
И эти бледные огни
В гнезде скалистом и туманном!
1907

ВОСКРЕСЕНИЕ

В апрельский жаркий полдень, по кремнистой

Дороге меж цветущими садами
Пришел монах, высокий Францисканец,
К монастырю над синим южным морем.
«Кто там?» - сказал привратник из-за двери.

«Брат во Христе», - ответил Францисканец.
«Кого вам надо?» - «Брата Габриэля».
«Он нынче занят - пишет Воскресенье».
Тогда монах сорвал с ограды розу,
Швырнул во двор - и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

1907

Шла сиротка пыльною дорогой,
На степи боялась заблудиться.
Встретился прохожий, глянул строго,
К мачехе велел ей воротиться.
Долгими лугами шла сиротка,
Плакала, боялась темной ночи.
Повстречался ангел, глянул кротко
И потупил ангельские очи.
По пригоркам шла сиротка, стала
Подниматься тропочкой неровной.
Встретился Господь у перевала,
Глянул милосердно и любовно.
«Не трудись, - сказал он, - не разбудишь
Матери в ее могиле тесной:
Ты моей, сиротка, дочкой будешь», -
И увел сиротку в рай небесный.

1907

СЛЕПОЙ

Вот он идет проселочной дорогой,
Без шапки, рослый, думающий, строгий,
С мешками, с палкой, в рваном армячишке,

Держась рукой за плечико мальчишки.
И звонким альтом, жалобным и страст-
ным,

Поет, кричит мальчишка, -о прекрасном
Об Алексее, божьем человеке,
Под недовольный, мрачный бас калеки.
«Вы пожалейте, -плачет альт, -бездомных!
Вы наградите, люди, сирых, темных!»
И бас грозит: «В аду, в огне сторите!
На пропитанье наше сотворите!»
И, угрожая, властным, мерным шагом
Идет к избушке ветхой над оврагом,
Над скудной балкой вдоль иссохшей реч-
ки,

А там одна старуха на крылечке.
И крестится старуха и дрожащей
Рукою ищет грошик завалиющий
И жалко плачет, сморщивая брови,

Об окаянной грешнице Прасковье.
1907

НОВЫЙ ХРАМ

По алтарям, пустым и белым,
Весенний ветер дул на нас,
И кто-то сверху капал мелом
На золотой иконостас.
И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.
И часто, вместе с малярами,
Там пели песни. И Христа,
Что слушал нас в веселом храме,
Мы написали неспроста.
Нам все казалось, что под эти
Простые песни вспомнит он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.
1907

КОЛИБРИ

Трава пестрит -как разглядеть змею?
Зеленый лес раскинул в жарком свете
Сквозную тень, узорчатые сети, -
Они живут в неведенье, в раю.
Поют, ликуют, спорят голосами,
Огнем хвостов ... Но стоит невпопад
Взглянуть в траву -и прянет пестрый гад:
Он метко бьет раскосыми глазами.

Кошка в крапиве за домом жила.
Дом обветшалый молчал, как могила.

Кошка в него по ночам приходила
И замирала напротив стола.

Стол обращен к образам -позабыли,
Стол как стоял, так остался. В углу
Каплями воск затвердел на полу -
Это горевшие свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк:

Кротко закрыты ресницы -и кротко

В черненький галстук воткнулась борода.

Свечи пылают, дрожит нависающий мрак..

Темен теперь этот дом по ночам.

Кошка приходит и светит глазами.
Угол мерцает во тьме образами.
Ветер шумит по печам.

1907

Присела на могильнике Савуре
Старуха Смерть, глядит на людный шлях.
Цветущий лен полоскою лазури
Синеет на полях.

И говорит старуха Смерть: «Здорово,
Прохожие! Не надо ли кому
Льняного погребального покрова? -
Не дорого возьму».

И говорит Савур-курган: «Не каркай!
И саван - прах. И саван обречен
Истлеть в земле, чтоб снова вырос яркий
Небесно-синий лен».

1907

Свежа в апреле ранняя заря.
В тени у хат хрустит ледок стеклянный.
Причастницы к стенам монастыря
Несут детей -исполнить долг желанный.
Прими, Господь, счастливых матерей,
Отверзи храм с блистающим престолом -

И у святых своих дверей
Покрой их звоном благостно-тяжелым.
30. VI.07

Там иволга, как флейта, распевала,
Там утреннее солнце пригревало
Труд муравьев -живые бугорки.
Вдруг пегая легавая собака,
Тропинкой добежав до буерака,
Залаяла. Я быстро взвел курки.
Змея? Барсук? -Плетенка с костяникой.
А на березе девочка -и дикий
Испуг в лице и глазках: над ручьем
Дугой береза белая склонилась -
И вот она вскарабкалась, схватилась
За ствол и закачалась на нем.
Поспешно повернулся я, поспешно
Пошел назад... Младенчески-безгрешно
И радостно откликнулась душа
На этот ужас милый ... Вся пестрела
Березовая роща, флейта пела -
И жизнь была чудесно хороша.

1907

Щебечут пестрокрылые чекканки

На глиняных могильных бугорках.
Дорога в Мекку. Древние стоянки
В пустыне, в зное, на песках.
Где вы, хаджи? Где ваши дромадеры?
Вдали слюдой блестят солончаки.
Кругом погост. Бугры рогаты, серы,
Как голых седел арчаки.

Дамаск, 1907

НИЩИЙ

Возноси хвалы при уходе звезд.
Коран

Все сады в росе, но теплы гнезда -
Сладок птичий лепет, полусон.
Возноси хвалы -уходят звезды,
За горами заалел Гермон.
А потом, счастливый, босоногий,
С чашкой сядь под ивовый плетень:
Мир идущим пыльною дорогой!
Славьте, братья, новый Божий день!

Дамаск, 1907

* * *

«Тут покоится хан, покоривший несмет-
ные страны,

Тут стояла мечеть над гробницей вождя:
Учь толак бош ослун! Эти камни, бурьяны
Пахнут мускусом после дождя».

И сидел я один на крутом и пустом косого-
ре.

Горы хмурились в грудах синеющих туч.
Вольный ветер с зеленого дальнего моря
Был блаженно пахуч.

1907

ТЕЗЕЙ

Тезей уснул в венке из мирт и лавра.
Зыбь клонит мачту в черных парусах.
Зеленым золотом горит звезда Кентавра
На южных небесах.
Забыв о ней, гребцы склоняют вежды,
Поют в дремоте сладкой... О Тезей!
Вновь пропитал Кентавр ткань празднич-
ной одежды
Палящим ядом змей.
Мы в радости доверчивы, как дети.
Нас тешит мирт, пьянит победный лавр.
Один Эгей не спал над морем в звездном
свете.

Когда всходил Кентавр.

1907

ПУСТОШЬ

Мир вам, в земле почившие! - За садом
Погост рабов, погост дворовых наших:
Две десятины пустоши, волнистой
От бугорков могильных. Ни креста,
Ни деревца. Местами уцелели
Лишь каменные плиты, да и то
Изъеденные временем, как оспой...
Теперь их скоро выберут -и будут
Выпахивать то пористые кости,
То суздальские черные иконки...
Мир вам, давно забытые! - Кто знает
Их имена простые? Жили -в страхе,
В безвестности -почили. Иногда
В селе ковали цепи, засекали,
На поселенье гнали. Но стихал
Однообразный бабий плач -и снова
Шли дни труда, покорности и страха...
Теперь от этой жизни уцелели
Лишь каменные плиты. А пройдет
Железный плуг -и пустошь всколосится

Густою рожью. Кости удобряют...
Мир вам, неотомщенные! -Свидетель
Великого и подлого, бессильный
Свидетель зверств, расстрелов, пыток, каз-
ней,

Я, чье чело отмечено навеки
Клеймом раба, невольника, холопа,
Я говорю почившим: «Спите, спите!
Не вы одни страдали: внуки ваших
Владык и повелителей испили
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»
1907

КАИН

Баальбек воздвиг в безумии Каин.
Сирийск. преда ни я
Род приходит, уходит,
А земля пребывает вовек ...
Нет, он строит, возводит
Храм бессмертных племен -Баальбек.
Он -убийца, проклятый,
Но из рая он дерзко шагнул.
Страхом Смерти объятый,
Все же первый в лицо ей взглянул.

Жадно ищущий Бога,
Первый бросил проклятье ему.
И, достигнув порога,
Пал, сраженный, увидевши -тьму.
Но и в тьме он восславит
Только Знание, Разум и Свет -
Башню Солнца поставит,
Вдавит в землю незыблемый след.
И глаза великана
Красной кровью свирепо горят,
И долины Ливана
Под великою ношей гудят.
Синекудрый, весь бурый,
Из пустыни и зноя литой,
Опоясан он шкурой,
Шкурой льва, золотой и густой.
Он спешит, он швыряет,
Он скалу на скалу громоздит.
Он дрожит, умирает ...
Но творцу отомстит, отомстит!

1906-1907

ПУГАЛО

На задворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.
Под шапкою лохматою -
Дубинка-голова.
Крестом по ветру треплются
Пустые рукава.
Старновкой - чистым золотом!
Набит его чекмень,
На зависть на великую
Соседних деревень ...
Он, огород-то, выпахан,
Уж есть и лебеда.
И глинка означается, -
Да это не беда!
Не много дел и пугалу...
Да разве огород
Такое уж сокровище? -
Пугался бы народ!
1906-1907

НАСЛЕДСТВО

В угольной -солнце, запах кипариса ...
В ней круглый год не выставляли рам.
Покой любила тетушка Лариса,
Тепло, уют". И тихо было там.
Пол мягко устлан - коврики, попоны".
Все старомодно - кресла, туалет,
Комод, кровать". В углу на юг - иконы,
И сколько их в божничке - счету нет!
Но, тетушка, о чем вы им молились,
Когда шептали в требник и псалтырь
Да свечи жгли? Зачем не удалились
Вы заживо в могилу - в монастырь?
Приемышу с молоденькой женою
Дала уют... «Скучненько нам втроем,
Да что же делать-с! Давит тишиною
Вас домик мой? Так не живите в нем!»
И молодые сели, укатили ...
А тетушка скончалась в тишине
Лишь прошлый год... Вот филин и в моги-
ле,
Я Крезом стал... Да что-то скучно мне!
Дом развалился, темен, гнил и жалок,

Варок раскрыт, в саду -мужицкий скот,
Двор в лопухах ... И сколько бойких галок
Сидит у труб! .. Но вот и «старый» ход.
По-прежнему дверь в залу туалетом
Заставлена в угольной. На столах
Алеет пыль. Вечерним низким светом
Из окон солнце блещет в зеркалах.
А в образничке -суздальские лики
Угодников. Уж сняли за долги
Оклады с них. Они угрюмы, дики
И смотрят друг на друга как враги.
Бог с ними! С паутиною, пенькою
Я вырываю раму. Из щелей
Бегут двухвостки. Садам и рекою
В окно пахнуло ... Так-то веселей!
Сад вечереет. Слаще и свежее
Запахло в нем. Прозрачный месяц встал.
В угольной ночью жутко ... Да Кощеи
Мне нипочем: я тетушку видал!

1906—1907

НЯНЯ

В старой темной девичьей,
На пустом ларе,
Села, согревается ...
Лунно на дворе,
Иней синим бисером
На окне блестит,
Над столом висячая
Лампочка коптит ...
Что-то вспоминается?
Отчего в глазах
Столько скорби, кротости? ..
Лапти н а ногах,
Голова закутана
Шалью набивной,
Полушубок старенький ...
«Здравствуй, друг родной!
Что ж ты не сказала?»
Поднялась, трясет
Головою дряхлою
И к руке идет,
Кланяется низенько ...
«В дом иди».- «Иду-с».

«Как живется-можется? »
«Что-то не пойму-с».
«Как живешь, я спрашивал,
Все одна?» -«Одна-с».
«А невестка?» -«В городе-с.
Позабыла нас!»
«Как же ты с внучатами?»
«Так вот и живу-с».
«Нас-то вспоминала ли?»
«Всех как наяву-с».
«Да не то: не стыдно ли
Было не прийти?»
«Боязно-с: а ну-кася
Да помрешь в пути».
И трясет с улыбкою,
Грустной и больной,
Головой закутанной,
И следит за мной,
Ловит губ движения ...
«Ну, идем, идем,
Там и побеседуем
И чайку попьем».

1906-1907

НА ПЛЮЩИХЕ

Пол навощен, блестит паркетом.
Столовая озарена
Полуденным горячим светом.
Спит кот на солнце у окна:
Мурлыкает и томно щурит
Янтарь зрачков, как леопард,
А бабушка - в качалке, курит
И думает: «Итак, уж март!
А там и праздники, и лето,
И снова осень...» Вдруг в окно
Влетело что-то, - вдоль буфета
Мелькнуло светлое пятно.
Зажглось, блеснув, в паркетном воске -
И вновь исчезло ... Что за шут?
А! это улицей подростки,
Как солнце, зеркало несут.
И снова думы: «Оглянуться
Не успеваешь - года нет ...»
А в окна, сквозь гардины, льются
Столбы лучей, горячий свет,
И дым, ленивою куделью
Сливаясь с светлой полосой,

Синеет, тает ... как за елью
В далекой просеке, весной.
1906-1907

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

На севере есть розовые мхи,
Есть серебристо-шелковые дюны ...
Но темных сосен звонкие верхи
Поют, поют над морем, точно струны.
Послушай их. Стань, прислонись к сосне:
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их
нежность?
Но и она -в певучем полусне".
На севере отрадна безнадежность.
1906-1901

ТРЯСИНА

Болото тихой северной страны
В осенних сумерках таинственной пого-
ста.

Цветут цветы. Мы не поймем их роста
Из заповедных недр, их сонной глубины.
Порой, грустя, мы вспоминаем что-то".
Но что? Мы и земле и Богу далеки".
В гробах трясин рождаются огоньки".
Во тьме рождается свет". Мы -огоньки болота.
1906-1901

ОДИН

Он на запад глядит -солнце к морю спускается.

Светит по морю красным огнем.

Он застыл на скале -ветхий плащ развева-
ется

От холодного ветра на нем.

Опираясь на меч, он глядит на багровую
Чешую беспредельных зыбей.

Но не видит он волн -только думу суровую
Означают изгибы бровей.

Древен мир. Он древней. Плащ Одина как
вретище.

Ржа веков -на железном мече...

Черный ворон Хугин, скорбной Памяти де-
тище,

У него на плече.

1906-1907

САТУРН

Рассеянные огненные зерна
Произрастают в мире без конца.
При виде звезд душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд Творца.
Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн -и блещет, как свинец...
Воистину злоеци и жестоки
Твои дела, творец!
1906-1907

С КОРАБЛЯ

Для жизни жизнь! Вот пенные буруны
У сизых каменистых берегов.
Вон красный киль давно разбитой шхуны.
Но кто жалеет мертвых рыбаков?
В сыром песке на солнце сохнут кости...
Но радость неба, свет и бирюза,
Еще свежей при утреннем норд-осте -
И блеск костей лишь радует глаза.
1906-1907

ОБВАЛ

В степи, с обрыва, на сто миль
Морская ширь открыта взорам.
Внизу, в стремнине - глина, пыль,
Щепа и кости с мелким сором.
Гудели ночью тополя,
В дремоте море бушевало -
Вдруг тяжело охнула земля,
Весь берег дрогнул от обвала!
Сегодня там стоят, глядят
И алой, белой повиликой
На солнце зонтики блестят
Над бездной пенистой и дикой.
Никто не знал, что здесь - погост,
Да и теперь - кому он нужен!
Весенний ветер свеж и прост,
Он только с молодостью дружен!
Внизу - щепа, гробы в пыли...
Да море берег косит, косит
Серпами волн -и от земли
Далеко сор ее уносит!

1906—1907

Вдоль этих плоских знойных берегов
Лежат пески, торчат кусты дзарига.
И моря пышноцветное индиго
Равниною глядит из-за песков.
Нет даже чаек. Слабо проползает
Шуршащий краб. Желтеют кости рыб.
И берегов краснеющий изгиб
В лиловых полутонах исчезает.
1906-1907

БАЛАГУЛА

Балагула убегает и трясет меня.
Рыжий Айзик правит парой и сосет тю-
тюн.

Алый мак во ржи мелькает - лепестки огня.
З

олотятся, льются нити телеграфных струн.
«Айзик, Айзик, вы заснули!» - «Ха! А разве
пан

Едет в город с интересом? Пан - поэт, ар-
тист!»

Правда, правда. Что мне этот грязный Ак-
керман?

Степь привольна, день прохладен, воздух

сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,

Был в довольстве ... Все насмарку! Все не то, не то!

Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,

А потом ... Потом в таверну: вывезет лото!

1906-1907

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ ДЕВИЧЬЯ

Свежий ветер дует в сумерках

На скалистый островок.

Закачалась чайка серая

Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала

И забылась в полусне.

Я бы тоже позабылася

На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную

Грусть и скуку принесешь.

Поздно ночью с милым встретишься,

Да и то когда заснешь!

1906-1907

РЫБАЦКАЯ

Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.
Осенью не весел Трапезонд!
В море вьюга, холод и туман,
Ходит головами горизонт,
В пену зарывается бакан.
Тяжела студеная вода,
Буря в ночь осеннюю дерзка,
Да на волю гонит из гнезда
Лютая голодная тоска!

1906-1901

ЗАКОН

Во имя Бога, вечно всеблагого!
Он, давший для писания тростник,
Сказал: блюди написанное слово
И делай то, что обещал язык.
Приняв закон, прими его вериги.
Иль оттолкни -иль всей душою чти:
Не будь ослом, который носит книги
Лишь потому, что их велят нести.
1906-1907

МАНДРАГОРА

Цветок Мандрагора из могил расцветает,
Над гробами зарытых возле виселиц
черных.
Мертвый соками тленья Мандрагору пита-
ет -
И она расцветает в травах диких и сорных.
Брат Каин, взрастивший Мандрагору из
яда!
Бог убийцу, быть может, милосердно осу-

дит.

Но палач -не убийца: он -исчадие ада,
И цветок, полный яда, Бог тебе не забудет!
1906-1907

РОЗЫ ШИРАЗА

Пой, соловей! Они томятся:
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слез.
Сад в эту ночь -как сад Ирема.
И сладострастна и бледна,
Как в шакнизир, тайник гарема,
В узор ветвей глядит луна.
Белеет мел стены неясно.
Но там, где свет, его атлас
Горит так зелено и страстно,
Как изумруд змеиных глаз.
Пой, соловей! Томят желанья.
Цветы молчат -нет слов у них:
Их сладкий зов -благоуханья,
Алмазы слез -покорность их.
1906-1907

С ОБЕЗЬЯНОЙ

Ай, тяжела турецкая шарманка!
Бредет худой согнувшийся хорват
По дачам утром. В юбке обезьянка
Бежит за ним, смешно поднявши зад.
И детское и старческое что-то
В ее глазах печальных. Как цыган.
Сожжен хорват. Пышь, солнце, зной, забо-
та.

Далеко от Одессы на Фонтан!
Ограды дач еще в живом узоре -
В тени акаций. Солнце из-за дач
Глядит в листву. В аллеях блещет море...
День будет долог, светел и горяч.
И будет сонно, сонно. Черепицы
Стеклом светиться будут. Промелькнет
Велосипед бесшумным махом птицы.
Да прогремит в немецкой фуре лед.
Ай, хорошо напиться! Есть копейка,
А вон киоск: большой стакан воды
Даст с томною улыбкою еврейка".
Но путь далек". Сады, сады, сады".
Зверок устал, -взор старичка-ребенка

Томит тоской. Хорват от жажды пьян.
Но пьет зверок: лиловая ладонка
Хватает жадно пенистый стакан.
Поднявши брови, тянет обезьяна,
А он жует засохший белый хлеб
И медленно отходит в тень платана. ..
Ты далеко, Загреб!
1906-1907

МЕКАМ

Мекам - восторг, священное раденье,
Стремление желанное постичь.
Мекам - тоска, блаженное томленье
И творчества беззвучный жадный клич.
К мечте безумец руки простирает
И алчет Бога видеть наяву.
Завет гласит: «Узревший - умирает».
Но смерть есть приближенье к божеству.
Благословенна сладостная мука
Трудов моих! Я творчеству отдам
Всю жизнь мою: на расстоянье лука
Ведет меня к желанному мекам.
1906-1907

БЕССМЕРТНЫЙ

Ангел Смерти в Судный день умрет:
Истребит живущих -и со стоном
Прилетит к Аллаху -и прострет,
Бездыханный, крылья перед троном.
Ангел Мести, грозный судия!
На твоём стальном клинке иссечен
Грозный клич: «Бессмертен только Я.
Трепещите! Ангел Мести вечен».
1906-1907

КАИР

Английские солдаты в цитадели
Глядят за Нил, на запад. От Али
До пирамид, среди долин, в пыли,
Лежит Каир. Он сух и сер в апреле.
Бил барабан, и плакал муэzzин.
В шафранно-сизой мути, за пустыней,
Померк закат. И душен мутно-синий
Вечерний воздух. Близится хамсин.
Веселыми несметными огнями

Горит Каир. А сфинкс от пирамид
Глядит в ночную бездну -на Апит
И темь веков. Бог Ра в могиле. В яме.
1906-1907

ИСТАРА

Луна, бог Сии, ее зарей встречает.
Она свой путь свершает на быке,
Ее тиара звездная венчает,
Стрела и лук лежат в ее руке.
Царица битв, она решает битвы,
Судья царей, она неправым мстит -
И уж ни дым, ни фимиам молитвы
Ее очей тогда не обольстит.
Но вот весна. Среди речного пара
Свой бледный лик подьемлет Син, луна -
И как нежна становится Истара!
Откинув лук, до чресл обнажена,
Таинственна и сладостна, как чара,
С какой мольбой ждет страстных ласк она!
1906--1901

АЛЕКСАНДР В ЕГИПТЕ

К оракулу и капищу Сиваха
Шел Александр. Дыханием костра
Дул ветер из пустыни. Тучи праха
Темнили свет и рвали ткань шатра.
Из-под шатра с верблюда, в тучах пыли,
Он различал своих проводников:
Два ворона на синих крыльях плыли,
Борясь с косыми вихрями песков.
И вдруг упали вихри. И верблюды
Остановились: медленно идет
Песками змей, весь черный. Изумруды
Горят на нем. Глаза -как мутный лед.
Идет -и вот их двое: он, Великий,
И змей, дрожащий в солнечном огне,
Рогатый, мутноглазый, черноликий,
Весь в самоцветах пышных, как в броне.
«Склони чело и дай дорогу змею!» -
Вещает змей. И замер царь... О да!
Кто назовет вселенную своею?
Кто властелином будет? И когда?
Он, символ и зловеший страж Востока,
Он тоже царь: кто ж примет власть богов?

Не вы, враги. Грядущий Бог далеко.
Но он придет, друг темных рыбаков!
1906—1907

БОГ

Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом
Стоял за длинной улицей села.
От хаты тень лежала за порогом,
А хата бледно-белою была.
Дул южный бриз, и ночь была тепла.
На отмелях, на берегу отлогом,
Волна, шумя, вела беседу с Богом.
Не поднимая сонного чела.
И месяц наклонялся к балке темной.
Грустя, светил на скалы, на погост.
А Бог был ясен, радостен и прост:
Он в ветре был, в моей душе бездомной -
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной.
7.VI.08

САВАОФ

Я помню сумрак каменных аркад,
В середине свет -и красный блеск атласа
В сквозном узоре старых царских врат,
На золотой стене иконостаса.
Я помню купол грубо-голубой:
Там Саваоф, с простертыми руками,
Над скудною и темною толпой,
Царил меж звезд, повитых облаками.
Был вечер, март, сияла синева
Из узких окон, в куполе пробитых.
Мертво звучали древние слова.
Весенний отблеск был на скользких пли-
тах
И грозная седая голова
Текла меж звезд, туманами повитых.
28. VII. 08

ГАЛЬЦИОНА

Когда в волне мелькнул он мертвым ликом,
К нему на сердце кинулась она -
И высоко, с двойным звенящим криком,
Двух белых чаек вынесла волна.
Когда зимой, на этом взморье диком.
Крутая зыбь мутна и солона,
Они скользят в ее пучину с криком -
И высоко выносит их волна.
Но есть семь дней: смолкает Гальциона,
И для нее щадит пловцов Эол.
Как серебро, светло морское лоно,
Чернеет степь, на солнце дремлет вол...
Семь мирных дней проводит Г альциона
В камнях, в гнезде. И внуков ждет Эол.
28.VII.08

В АРХИПЕЛАГЕ

Осенний день в лиловой крупной зыби
Блистал, как медь. Эол и Посейдон
Вели в снастях певучий долгий стон,
И наш корабль нырял подобно рыбе.
Вдали был мыс. Высоко на изгибе,
Сквозя, вставал неровный ряд колонн.
Но песня рей меня клонила в сон -
Корабль нырял в лиловой крупной зыби.
Не все ль равно, что это старый храм.
Что на мысу -забытый портик Феба!
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.
Дым облаков курился по горам,
Пустынный мыс был схож с ковригой хле-
ба.

Я жил во сне. Богов творил я сам.

12. VIII. 08

БОГ ПОЛДНЯ

Я черных коз пасла с меньшей сестрой
Меж красных скал, колючих трав и гли-
ны.

Залив был синь. И камни, грея спины,
На жарком солнце спали под горой.
Я прилегла в сухую тень маслины
С корявой серебристою корой -
И он сошел, как мух звенящий рой,
Как свет сквозной горячей паутины.
Он озарил мне ноги. Обнажил
Их до колен. На серебре рубашки
Горел огнем. И навзничь положил.
Его объятья сладостны и тяжки.
Он мне сосцы загаром окружил
И научил варить настой ромашки.

12. VIII.08

ГОРНЫЙ ЛЕС

Вечерний час. В долину тень сползла.
Сосною пахнет. Чисто и глубоко
Над лесом небо. Млечный змей потока
Шуршит слышней вдоль белого русла.
Слышней звенит далекий плач козла.
Острее стрекочет легкая сорока.
Гора, весь день глядевшая с востока,
Свой алый пик высоко унесла.
На ней молились Волчьему Зевесу.
Не раз, е раз с вершины этих скал
И дым вставал, и пели гимны лесу,
И медный нож в руках жреца сверкал.
Я тихо поднял древнюю завесу.
Я в храм отцов забытый путь искал.

14. VIII. 08

ИЕРИХОН

Скользят, текут огни зеленых мух.
Над Мертвым морем знойно и туманно
От блеска звезд. Песок вдали -как манна.
И смутный гул, дрожа, колдует слух.
То ропот жаб. Он длится неустанно,
Зовет, томит... Но час полночный глух.
Внимает им, быть может, только Дух
Среди камней в пустыне Иоанна.
Там, между звезд, чернеет острый пик
Горы Поста. Чуть теплится лампадка.
Внизу истома. Приторно и сладко
Мимозы пахнут. Сахарный тростник
Горит от мух ... И дремлет Лихорадка,
Под жабий бред откинув бледный лик.

14. VIII. 08

КАРАВАН

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,
Звон бубенцов подобен роднику:
Течет, течет струею отдаленной,
Баюкая дорожную тоску.
Давно затих базар неутомонный.
Луна меж пальм сияет по песку.
Под этот звон, глухой и однотонный,
Вожак прилег на жесткую луку.
Вот потянуло ветром, и свежее
Вздохнула ночь ... Как сладко спать в седле,
Склонясь лицом к верблюжьей теплой
шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамлэ.
И млечной синью горы Иудеи
Свой зыбкий кряж означили во мгле.

15. VIII. 08

ДОЛИНА ИОСАФАТА

Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли.
Среди врагов, в чужих краях вы были.
Но вот вам отдых, мир и тишина.
Гора полдневным солнцем сожжена,
Русло Кедрона ветры иссушили.
Но в прах отцов вы посохи сложили.
Вас обрела родимая страна.
В ней спят цари, пророки и левиты. В
блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердый Судия.
По жестким склонам каменные Шиты
Стоят раскрытой Книгой Бытия.
20. VIII. 08

БЕДУИН

За Мертвым морем -пепельные грани
Чуть видных гор. Полдневный час, обед.
Он выкупал кобылу в Иордане
И сел курить. Песок как медь нагрет.
За Мертвым морем, в солнечном тумане,
Течет мираж. В долине -зной и свет,
Воркует дикий голубь. На герани,
На олеандрах - вешний алый цвет.
И он дремотно ноет, воспевая
Зной, олеандр, герань и тамариск.
Сидит как ястреб. Пегая абая
Сползает с плеч ... Поэт, разбойник, гике.
Вон закурил -и рад, что с тонким дымом
Сравнит в стихах вершины за Сиддимом.
20.VIII.08

ЛЮЦИФЕР

В святой Софии голуби летали,
Гнусил мулла. Эректеон был нем.
И боги гомерических поэм
В пустых музеях стыли и скучали.
Великий Сфинкс, исполненный печали,
Лежал в песках. Израиль, чуждый всем,
Сбирал, рыдая, ржавые скрижали.
Христос покинул жадный Вифлеем.
Вот Рай, Ливан. Рассвет горит багряно.
Снег гор - как шелк. По скатам из пещер
Текут стада. В лугах - моря тумана ...
Мир Авеля! Дни чистых детских вер!
Из-за нагих хребтов Антиливана
Блится, угасая, Люцифер.

20. VIII. 08

ИМРУ-УЛЬ КАЙС

Ушли с рассветом. Опустели
Песчаные бугры.
Полз синий дым. И угли кровью рдели
Там, где вчера чернели их шатры.
Я слез с седла -и пряный запах дыма
Меня обвеял теплотой.
При блеске солнца был невыразимо
Красив огонь прозрачно-золотой.
Долина серая, нагая,
Как пах осла. В колодце гниль и грязь.
Из-за бугров моря текут, сверкая
И мутно серебрясь.
Но тут семь дней жила моя подруга:
Я сел на холм, где был ее намет,
Тут ветер дует с севера и юга -
Он милый след не заметет.
Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюд, легла и отдалила
От головы крестец.
Песок остыл. Холодный, безответный,
Скользит в руке, как змей.

Горит, играет перстень самоцветный -
Звезда любви моей.

21.VIII. 08

Открыты окна. В белой мастерской
Следы отъезда: сор, клочки конверта.
В углу стоит прямой скелет мольберта.
Из окон тянет свежестью морской.
Дни все светлей, все тише, золотистой -
И ни полям, ни морю нет конца.
С корявой, старой груши у крыльца
Спадают розовые листья.

28. VIII. 08

ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью ... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.
Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опущена косица,
Нога -как трость... Он говорит: «Что, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»
Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его -как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.
«С крыльца с кадиллом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взовьется от забора -
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»
В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль ... Все прочее есть гиль».

1908

ОТЧАЯНИЕ

...И нового порфирой облекли
И назвали владыкою Ирана.
Нож отняли у прежнего тирана,
Но с робостью, с поклоном до земли.
В Испании -рев варварского стана,
Там с грязью мозг копытами толкли ...
Кровоточит зияющая рана
В боку Христа. -Ей, Господи, внимли!
Я плакал в злобе; плакал от позора,
От скорби -и надежды: я года
Молчал в тоске бессилья и стыда.
Но я так жадно верил: скоро, скоро!
Теперь лишь стоны слышны. В эти дни
Звучит лишь стон... Лама савахфани?

1908

В полях сухие стебли кукурузы.
Следы колес и блеклая ботва.
В холодном море -бледные медузы
И красная подводная трава.
Поля и осень. Море и нагие
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем

На темный берег. В море -летаргия
Во всем великом таинстве своем.
«Ты видишь воду?» -«Вижу только ртут-
ный
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под нами -в
мутной
Бездонно-фосфорической пыли.
1908

ТРОН СОЛОМОНА

На письмена исчезнувших народов
Похожи руны Времени -значки
Вдоль старых стен и полутемных сводов,
Где завелись точильщики-жучки.
Царь Соломон повелевал ветрами.
Был маг, мудрец. «Недаром сеял я,-
Сказал Господь - Какими же дарами
Венчать тебя, царь, маг и судия?»
«Сев славных дел венчает солнце славы, -
Ответил царь,- Вот гении пустынь
Покорны мне. Но гении лукавы,
Они не чтут ни долга, ни святынь.
Трон Мудрости я им велел построить,

Но я умру -и, бросив труд, в Геджас
Уйдут они. Ты мог мне жизнь устроить:
Сокрой от них моей кончины час».
«Да будет так»,- сказал Господь. И годы
Текли в труде. И был окончен трон:
Из яшмы древней царственной породы.
Из белой яшмы был изваян он.
Под троном львы, над троном кондор гор-
ный.

На троне -царь. И ты сокрыл, Творец,
Что на копье склоняется в упорной,
Глубокой думе - высохший мертвец.
Но рухнет он! Древко копья из кедра.
Оно -как сталь. Но уж стучат жучки!
Стучат, стучат - и рассыпают щедро
Зловещие, могильные значки.

1906-1908

РЫБАЛКА

Вода за холодные серые дни в октябре
На отмелях спала -прозрачная стала и
чистая.

В песке обнаженном оттиснулась лапка
лучистая:

Рыбалка сидела на утренней ранней заре.

В болоте лесном, под высоким коричне-
вым шпажником,

Где цепкая тина с листвою купав сплетена,

Все лето жила, тосковала о дружке она,

О дружке, убитой заезжим охотни-
ком-бражником.

Зарю она улетела на дальний Дунай -

И горе забудет. Но жизнь дорожит и ры-
балкою:

Ей надо помучить кого-нибудь песенкой
жалкою -

И Груня жалкует, поет... Вспоминай, вспо-
минай!

1906-1908

БАБА-ЯГА

Гулкий шум в лесу нагоняет сон -
К ночи на море пал сырой туман.
Окружен со всех с четырех сторон
Темной осенью островок Буян.
А еще темней -мой холодный сруб,
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только бурый дуб,
Под которым смерть закопал Кощей.
Я состарилась, изболелась вся -
Десять сот годов берегу ларец!
Будь огонь в светце - я б погрелась,
Будь дрова в печи -похлебала б щец.
Да огонь -в морях мореходу весть,
Да на много верст слышен дым от лык.
Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!
1906-1908

ДИКАРЬ

Над стремью скал -чернеющий орел.
За стремью -синь, туманное поморье.
Он как во сне к своей добые шел .
На этом поднебесном плоскогорье.
С отвесных скал летели вниз кусты,
Но дерзость их безумца не страшила:
Ему хотелось большей высоты -
И бездна смерти бездну довершила.
Ты знаешь, как глубоко в синеву
Уходит гриф, ужаленный стрелою?
И он напярк тугую тетиву -
И зашумели крылья над скалою,
И потонул в бездонном небе гриф,
И кровь, звездой упавшую оттуда
На берега, на известковый риф,
Смыл океан волною изумруда.

1906-1908

НАПУСТВИЕ

«**З**а погостом Скутари, за черным
Кипарисовым лесом ...» -«О мать!
Страшно воздухом этим тлетворным
Молодому дышать!»
«Там шалаш, в шалаше -прокаженный ...»
«Пощади свежесть сердца!..» -«Склонись
До земли и рукой обнаженной
Гнойной язвы КОСНИСЬ».
«Мать! Зачем? Разве душу и тело
Я не отдал тебе?» -«Замолчи.
Ты идешь на великое дело:
Ждут тебя палачи.
Тверже стали, орлиного когтя
Безнадежное сердце. Склонись -
И рукой, обнаженной до локтя,
Смертной язвы коснись».
1906-1908

ПОСЛЕДНИЕ СЛЕЗЫ

Изнемогла, в качалке задремала
Под дачный смех. Синели небеса.
Зажглась звезда. Потом свежее стало.
Взошла луна -и смолкли голоса.
Текла и млела в море полоса.
Стекло балконной двери заблестало.
И вот она проснулась и устало
Поправила сухие волоса.
Подумала. Полюбовалась далью.
Взяла ручное зеркальце с окна -
И зеркальце сверкнуло синей сталью.
Ну да, виски белеют: седина.
Бровь поднята, измучена печалью.
Светло глядит холодная луна.
1906-1908

РЫБАЧКА

-Кто там стучит? Не встану. Не открою
Намокшей двери в хижине моей.
Тревожна ночь осеннюю порою -
Рассвет еще тревожней и шумней.
«Тебя пугает гул среди камней
И скрежет мелкой гальки под горою?»
-Нет, я больна. И свежестью сырою
По одеялу дует из сеней.
«Я буду ждать, когда угомонится
От бури охмелевшая волна
И станет блеклым золотом струиться
Осенний день на лавку из окна».
-Уйди! Я ночевала не одна.
Он был смелей. Он моря не боится.
1906-1908

ВИНО

На Яйле зазеленели буки,
Покраснела стройная сосна:
Отчего на севере, в разлуке
Чувствует душа, что там весна?
«В дни, когда на лозах виноградных
Распуститься цвету суждено,
В погребях, и темных и прохладных,
Бродит золотистое вино».
1906-1908

ВДОВЕЦ

Железный крюк скрипит над колыбелью,
Луна глядит в окно на колыбель:
Луна склоняет лик и по ущелью,
Сквозь сумрак, тянет млечную кудель.
В горах светло. На дальнем горном кряже,
Весь на виду, чернеет скит армян.
Но встанет мгла из этой бледной пряжи -
Не разглядит засады караван.
Пора, пора, - уж стекла запотели!

Разбойник я... Да вот, на смену мне.
Сам ангел сна подходит к колыбели,
Чуть серебрясь при меркнувшей луне.
1906-1908

ХРИСТЯ

Христя угощает кукол на сговоре -
За степною хатой, на сухих бахчах,
Степь в горячем блеске млеет, точно море.
Тыквы светят медью в солнечных лучах.
Собрались соседи к «старой бабе» Христе,
Пропивают дочку - чай и водку пьют.
Дочка - в разноцветной плахте и в мони-
сте,
Все ее жалеют -и поют, поют!
Под степною хатой, в жарком аромате
Спелого укропа, возятся в золе
Желтые цыплята. Мать уснула в хате.
Бабка -в темной клуне, тыквы -на земле.

КРУЖЕВО

Весь день метель. За дверью, у соседа,
Стучат часы и каплет с окон лед.
У барышни-соседки с мясоеда
Поет щегол. А барышня плетет.
Сидит, выводит крестики и мушки,
Бела, как снег, скромна, как лен в степи.
Темно в уездной крохотной избушке,
Наскучили гремучие коклюшки,
Весна идет ... Да как же быть? Терпи.
Синеет дым метели, вьются галки
Над старой колокольней ... День .прошел,
А толку что? -Текут с окна мочалки.
И о весне поет дурак щегол.

1906—1908

ТУМАН

Сумрачно, скучно светает заря.
Пахнет листвою и мокрыми гумнами.
Воют и тянут за рогом псаря
Гончие сворами шумными.
Тянут, стихают -и тонут следы
В темном тумане. Людская чуть курится.
Сонно в осиннике квохчут дрозды.
Чаша и дремлет и хмурится.
И до печальных вечерних огней
В море туманных лесов, за долинами,
Будет стонать все скучней и скучней
Рог голосами звериными.
Сиракузы. 25.III. 09

ПОСЛЕ МЕССИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

На темном рейде струнный лад,
Огни и песни в Катанее ...
В дни скорби любим мы нежнее,
Канцоны сладостней звучат.
И величаво-одинок
На звездном небе конус Этны,
Где тает бледный, чуть заметный,
Чуть розовеющий венок.

15.IV.09

В мелколесье пело глухо, строго,
Вместе с ночью туча надвигалась,
По кустам, на тучу, шла дорога,
На ветру листва, дрожа, мешалась ...
Леший зорко в темь глядел с порога.
Он сидел и слушал, как кукушки
Хриплым смехом где-то хохотали,
Как визжали совы и с опушки,
После блеска, гулы долетали...
Дед-лесник мертвецки спал в избушке.

Одностволка на столе лежала
Вместе с жесткой, черной коркой хлеба,
Как бельмо, окошко отражало
Скудный свет нахмуренного неба...
Над окошком шарило, шуршало.
И пока шуршало, деду снилось,
Что в печурке, где лежат онучи,
Загорелось: тлеет, задымилось ...
И сухим огнем сверкали тучи,
И в стекло угрюмо муха билась.

25. V.09

СЕНОКОС

Среди двора, в батистовой рубашке,
Стоял барчук и, щурясь, звал: «Корней!»
Но двор был пуст. Две пегие дворняжки,
Щенки, катались в сене. Все синей
Над крышами и садом небо млело,
Как сказочная сонная река,
Все горячей палило зноем тело,
Все радостней белели облака,
И все душней благоухало сено...
«Корней, седлай!» Но нет, Корней в лесу,
Осталась только скотница Елена

Да пчельник Дрон... Щенок замял осу
И сено взрыл ... Молочный голубь комом
Упал на крышу скотного варка ...
Везде открыты окна... А над домом
Так серебрится тополь, так ярка
Листва вверху -как будто из металла,
И воробьи шныряют то из зала,
В тенистый палисадник, в бересклет,
То снова в зал ... Покой, лазурь и свет...
В конюшне полусумрак и прохладно,
Навозом пахнет, сбруей, лошадьми,
Касаточки щебечут... И Ами,
Соскучившись, тихонько ржет и жадно
Косит свой глаз лилово-золотой
В решетчатую дверку ... Стременами
Звенит барчук, подняв седло с уздой,
Кладет, подпруги ловит -и ушами
Прядет Ами, вдруг сделавшись стройней
И выходя на солнце. Там к кадушке
Склоняется -блеск, небо видит в ней
И долго пьет... И солнце жжет подушки,
Луку, потник, играя в серебре...
А через час заходят побирушки:
Слепой и мальчик. Оба на дворе
Сидят как дома. Мальчик босоногий

Заглядывает в окна, на пороге
Стоит и медлит... Робко входит в зал,
С восторгом смотрит в светлый мир зер-
кал.

Касается до клавиш фортепьяно -
И, вздрогнув, замирает: звонко, странно
И весело в хоромах! -На балкон
Открыта дверь, и солнце жарким светом
Зажгло паркет, и глубоко паркетом
Зеркальный отблеск двери отражен,
И воробьи крикливою станицей
Прносятся у самого стекла
За золотой, сверкающею птицей,
За иволгой, скользящей, как стрела.

3.VII.09

СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На вьюжный двор, на снег, прилипший к
раме,

На метлы гулких, дымных тополей.
Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих -и думаешь ... Мы сами
Томим себя -тоской иных полей,
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тундры, льды и чумы
В твоей студеной дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как Бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

4. VIII. 09

МОГИЛА В СКАЛЕ

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.
Пробили вход, затеплили огни -
И на полу преддверия, в тени,
На голубом и тонком слое пыли,
Нашли живой и четкий след ступни.
Я, путник, видел это. **Я** в могиле
Дышал теплом сухих камней. Они
Сокрытое пять тысяч лет хранили.
Был некий день, был некий краткий час,
Прощальный миг, когда в последний раз
Вздыхнул здесь тот, кто узкою стопою
В атласный прах вдавил свой узкий след.
Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою.
6.VIII. 09

ПОЛНОЧЬ

Ноябрь, сырая полночь. Городок,
Весь меловой, весь бледный под луною,
Подавлен безответной тишиною.
Приливный шум торжественно-широк.
На мачте коменданта флаг намок.
Вверху, над самой мачтой, над сквозною
И мутной мглой, бегущей на восток,
Скользит луна зеркальной белизною.
Иду к обрывам. Шум грознее. Свет
Таинственной, тусклее и печальней.
Волна качает сваи под купальной.
Вдали -седая бездна. Моря нет.
И валуны, в шипящей серой пене,
Блестят внизу, как спящие тюлени.

6.VIII.09

РАССВЕТ

Как стоя птиц, в пустыне одиноко
Белеет форт. За ним - пески, страна
Нагих бугров. На золоте востока
Четка и фиолетова она.
Рейд солнца ждет. Из черных труб «Марок-
ко»

Восходит дым. Зеленая волна
Стальной сажой, блестками полна,
Качает мерно, плавно и широко.
Вот первый луч. Все окна на борту
Зажглись огнем. Вот пар взлетел - и трубы
Призывно заревели в высоту.
Подняв весло, гребец оскалил зубы:
Как нежно плачет колокол в порту
Под этот рев торжественный и грубый!
13.VIII. 09

ПОЛДЕНЬ

Горит хрусталь, горит рубин в вине,
Звездой дрожит на скатерти в салоне.
Последний остров тонет в небосклоне,
Где зной и блеск слились в горячем сне.
На баке бриз. Там, на носу, на фоне
Сухих небес, на жуткой крутизне,
Сидит ливиец в белом балахоне,
Глядит на снег, кипящий в глубине.
И влажный шум над этой влажной без-
дной

Клонит в дрему. И острый ржавый нос,
Не торопясь, своей броней железной
В снегу взрезает синий купорос.
Сквозь купорос, сквозь радугу от пыли,
Струясь, краснеет киноварь на киле.

14.VIII. 09

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне ...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

14. VIII. 09

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий
блеск заката,

Холмилась и росла лиловая волна,

С холма на холм лилось оранжевое золото,

И глубь небес была прозрачно-зелена.

Дым из жерла трубы летел назад. В упру-

гом

Кимвальном пенье рей дрожал холодный

гул.

И солнца лик мертвел. Громада моря кру-

гом

Объяла горизонт. Везувий потонул.

И до бортов вставал и, упадая, мерно

Шумел разверстый вал. И гребень, заки-

пев,

Сквозил и розовел, как пенное Фалерно, -

И малахит скользил в кроваво-черный зев.

9. VI.09

ПРОМЕТЕЙ В ПЕЩЕРЕ

Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во
мраке,

Краснея, светятся глаза моей собаки.

Огонь, и в них огонь! Из-под глухой стены,

Где сбилось стадо коз, они устремлены

За вход, в слепую ночь, на клики чад

Иерея,

Туда, где с пены волн, что прядают, белея,

Срывает брызги вихрь, где блещут космы

грив,

Дымящихся внутри, и буйный их прилив

Снегами топит брег. -Вот грохот колесни-

цы

Идет торжественно над темной высотой:

Я глохну, я слежу крутящиеся спицы,

Что мечут на бегу свой отблеск золотой,

И слепну от огня. -Привет тебе, Держав-

ный!

Теперь тебя твой враг приветствует как

равный!

10. VI. 09

МОРСКОЙ ВЕТЕР

Морского ветра свежее дыханье
Из темноты доходит, как привет,
На дачах глушь. И поздней лампы свет
Осенней ночи слушает молчанье.
Сон с колотушкой бродит -и о нем
Скучает кто-то, дальний, бесприютный.
Нет ни звезды. Один Юпитер мутный
Горит в выси мистическим огнем.
Волна и ветер с темных побережий
Доносят запах ржавчины -песков,
Сырых ракушек, сгнивших тростников.
Привет полночный, ласковый и свежий,
Мне чьей-то вольной кажется душой:
Родной мечтам и для земли -чужой.

8. VIII.09

СТОРОЖ

И снова вечер, сухо позлативший
Дороги, степь и удлинивший тень;
И бледный лик, напротив солнца всплыв-
ший;

И четко в ясном воздухе застывший
Среди бахчей курень.

Стар сторож, стар! И слаб и видит плохо.

А век бы жил!.. Так тихо в курене,

Что слышен треск подсохшего гороха ...

Да что кому до старческого вздоха

О догоревшем дне!

16. VIII.09

БЕРЕГ

За окном весна сияет новая.
А в избе -последняя твоя
Восковая свечка -и тесовая
Длинная ладья.
Причесали, нарядили, справили,
Полотном закрыли бледный лик
И ушли, до времени оставили
Твой немой двойник.
У него ни имени, ни отчества,
Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
Роковые дни.
Да пребудет в мире, да покоится!
Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
Белая ладья.

16. VIII.09

СПОР

-Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой пеной,

Пахнет нагретой землей наше густое вино.

Хлеб от вина лиловеет. Кусок овечьего сыру,

Влажно-соленый, крутой, горную свежесть хранит.

«Крит позабыл ты, хвостун! Мастика хмельнее и слаще:

Палуба ходит, скользит, парус сияет, как снег.

Пляшут зеленые волны -и пьяная цепь рулевая,

Скрежеща, вдоль бортов ползает ржавой змеей».

17. VIII. 09

ЗВЕЗДОПОКЛОННИКИ

Мир не забудет веры древних лет.
Звездопоклонники пустыни.
На ваших лицах -бледный зной планет,
Вы камни чтите как святыни.
Ваш край до шлака Ишаменем сожжен,
Ваш бог чертил столь грозные скрижали,
Что никогда его имен
Вы даже мыслить не дерзали.
Как сон прошли Христос и Магомет.
Вы и доньне не забыли
Ночных служений таинству планет
И безыменной древней Силе.
1906-1909

ПРОЩАНИЕ

Поблекший дол под старыми платанами,
Иссохшие источники и рвы
Усеяны лиловыми тюльпанами
И золотом листвы.
Померкло небо, солнце закатилось,
Холодный ветер дует. И слеза,
Что в голубых глазах твоих светилася,
Бледна, как бирюза.
1906-1909

ПЕСНЯ

Зацвела на воле
В поле бирюза.
Да не смотрят в душу
Милые глаза.
Помню, помню нежный,
Безмятежный лен.
Да далеко где-то
Зацветает он.
Помню, помню чистый

И лучистый взгляд.
Да поднять ресницы
Люди не велят.
1906-1909

СПОЛОХИ

Взвевая легкие гардины
И раздувая свет зарницы,
Ночная близилась гроза.
Метался мрак, зеркал глубины
Ловили золото божницы
И чьи-то жуткие глаза.
Я замерла, не понимая,
В какой я горнице. Крапива,
Шумя, бежала под окном.
Зарница, яркая, немая.
Мне говорила торопливо
Все об одном, все об одном.
Впервые нынче мы не лгали, -
Дрожа от радости, впервые
Сняла я тяжкое кольцо -
И в глубине зеркал мелькали
Покровы черно-гробовые
И чье-то бледное лицо.

1906-1909

НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ

Прибрежный хрящ и голые обрывы
Степных равнин луной озарены.
Хрустальный звон сливает с небом нивы.
Цветы, колосья, травы им полны,
Он ни на миг не молкнет, но не будит
Бесстрастной предрассветной тишины.
Ночь стелет тень и влажный берег студит,
Ночь тянет вдаль свой невод золотой -
И скоро блеск померкнет и убудет.
Но степь поет. Как колос налитой,
Полна душа. Земля зовет: спешите
Любить, творить, пьянить себя мечтой!
От бледных звезд, раскинутых в зените,
И до земли, где стынет лунный сон,
Текут хрустально трепетные нити.
Из сонма жизней соткан этот звон.

10.IX.10

ПИЛИГРИМ

Стал на ковер, у якорных цепей,
Босой, седой, в коротеньком халате,
В большой чалме. Свежеет на закате,
Ночь впереди -и тело радо ей.
Стал и простер ладони в муть зыбей:
Как раб хранит заветный грош в заплате,
Хранит душа одну мечту - о плате
За труд земной -и все скупей, скупей.
Орлиный клюв, глаза совы, но кротки
Теперь они: глядят туда, где синь
Святой страны, где слезы звезд -как четки
На смуглой кисти Ангела Пустынь.
Открыто все: и сердце и ладони...
И блещут, блещут слезы в небосклоне.
1906-1910

О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ

В воскресенье, раньше литургии,
Раньше звона раннего, сидели
На скамье, под ветхой белой хатой,
Мать да сын -и на море глядели.
- Милый сын, прости старухе старой:
Расскажи ей, отчего скучаешь, -
Головой, до времени чубарой,
Сумрачно и горестно качаешь?
Милый сын мой, в праздник люди кротки,
Небо ясно, горы в небе четки.
Синь залив, долины золотятся,
Сквозь весенний тонкий пар глядятся.
- Был я, мать, в темнице в Цареграде,
В кандалах холодных, на затворе,
За железной ржавою решеткой,
Да зато под ней шумело море.
Море пеной рассыпало гребни
По камням, на мелком сизом щебне,
И на щебне этом чьи-то дети,
Дети в красных фесочках, играли".
- Милый сын! Не дети: чертенята.
- Мать, молчи. Я чахну от печали.

В воскресенье, после литургии.
После полдня, к мужу подходила
Статная нарядная хозяйка,
Ласково за стол его просила.
Он сидел под солнцем, непокрытый,
Черный от загара и небритый,
Тер полою красного жупана
По горячей стали ятагана.
- Господин! Что вижу? Ты - в работе,
Двор не прибран, куры на омете,
Ослик бродит, кактус обгрызает,
Ян все утро с крыши не слезает.
Господин мой! Чем ты недоволен?
Ты ль не счастлив, не богат, не волен?
- Был, жена, я в пытке и на дыбе,
Восемь лет из плена видел воду,
Белый парус в светлых искрах зыби,
Голубые горы - и свободу ...
- Господин! Свободу? Из темницы?
- Замолчи. Пират вольнее птицы.
В воскресенье Божье, на закате
Было пусто в темной старой хате".
Кто добром разбойника помянет?
Как-то он на Страшный суд предстанет?

1906-1910

В ПЕРВЫЙ РАЗ

Ночью лампа на окне стояла,
Свет бросала в черный мокрый сад:
Желтую лесовку озаряла
И цветник, расцветший в листопад.
Нянька у окна, на табурете,
Штопала чулочки ... Перед сном,
Раздеваясь, поглядели дети
На листву и мальвы под окном.
И пока дремали, забывались,
Думали о чем-то -в первый раз:
Сказкой нерассказанной казались
Дом, и сад, и этот поздний час.
Дом был стар, как терем у Кощея,
Расцветала пестрядь у стекла,
И на свет глядела ночь, чернея...
Но зачем ты, нянька, не спала!
1906-1910

ПРИ ДОРОГЕ

Окно по ночам голубое,
Да ветхо и криво оно:
Сквозь стекла расплющенный месяц
Как тусклое блещет пятно.
Дед рано ложится, а внучке
Неволя: лежи и не спи
Да думай от скуки. А долги
Осенние ночи в степи!
Вчера чумаки проходили
По шляху под хатой. Была
Морозная полночь. Блестели
Колеса, рога у вола.
Тянулась арба за арбою,
И месяц глядел как живой
На шлях, на шагавшие тени,
На борозды с мерзлой ботвой...
У Каспия тони, там хватит
Работы на всех -и давно
Ушла бы туда с чумаками,
Да мило кривое окно.

28. I.11.

Гелуан (под Каиром)

* * *

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной,
Озаряясь жаркою зарницей.

Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.

Индийский океан

25.П.11

* * *

Мелькают дали, черные, слепые,
Мелькает океана мертвый лик:
Бог разверзает бездны голубые,
Но лишь на краткий миг.

«Да будет свет!» Но гаснет свет, и сонный
Тяжелый гул растет вослед за ним:
Бог, в довременный хаос погруженный,
Мрак сотрясает ропотом своим.

26.П.11

НОЧЛЕГ

М*ир -лес, ночной приют птицы.
Брамины*

В вечерний час тепло во мраке леса,
И в теплых водах меркнет свет зари.
Пади во мрак зеленого навеса -
И, приютясь, замри.

А ранним утром, белым и росистым,
Взмахни крылом, среди листвы шурша,
И растворишься, исчезни в небе чистом -
Вернись на родину, душа!
Индийский океан, II.11.

ЗОВ

Как старым морякам, живущим на покое.
Все снится по ночам пространство голу-
бое

И сети зыбких вант,- как верят моряки.
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать -в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах
моих,

Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да чутко встану я на голос Капитана!

8. VII.11

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Те часики с эмалью, что впотьмах
Бежали так легко и торопливо,
Давным-давно умолкли. И крапива
Растет в саду на мусорных холмах.
Тот маятник лучистый, что спесиво
Соразмерял с футляром свой размах,
Лежит в пыли чердачного архива.
И склеп хранит уж безыменный прах.
Но мы служили праведно и свято.
В полночный час нас звезды серебрят,
Днем солнце озлащает -до заката.
Позеленел наш медный циферблат.
Но стрелку нашу в диске циферблата
Ведет сам Бог. Со всей вселенной в лад.
1906-1911

ИСТОЧНИК ЗВЕЗДЫ

Сирийский апокриф

В ночь рождения Исы,
Святого, любимого Богом,
От востока к закату
Звезда уводила волхвов.
В ночь рождения Исы
По горным тропам и дорогам
Шли волхвы караваном
На таинственный зов.
Камнем крови, рубином
Горела звезда перед ними,
Протекала, склонялась -
И стала, служенье свершив:
За долиной, на склоне -
Шатры и огни в Рефаиме,
А в долине - источник
Под ветвями олив.
И волхвы, славословя,
Склонились пред теми огнями
И сказали. «Мы видим
Святого селенья огни».
И верблюды припали

К холодной воде меж камнями:
След копыт и доньине
Там, где пили они.
А звезда покатилась
И пала в источник чудесный:
Кто достоин -кто видит
В источнике темном звезду?
Только чистые девы,
Невесты с душой невестной,
Обрученные Богу,
Но и то -раз в году.
1906-1911

МАТЕРИ

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!))
Бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кровати,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампы ...
Не ты ли и ангелом была?
1906-1911

БЕЗ ИМЕНИ

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке.
ке.

Поют над ним узорной вязью саги,
Беззвучные, на звучном языке.
Но лик сокрыт - опущено забрало.
Но плащ истлел на ржавленной броне.
Был воин, вождь. Но имя Смерть украла
И унеслась на черном скакуне.
1906-1911

ЛИМОННОЕ ЗЕРНО

В сырой избушке шорника Лукьяна
Старуха-бабка в доньшке стакана
Растила золотистое зерно.
Да, видно, нам не ко двору оно.
Лукьян нетрезв, старуха как ребенок,
И вот однажды пестренький цыпленок,
Пицца, залез на лавку, на хомут,
Немножко изловчился -и капут!
1906-1911

МУЖИЧОК

Ельничком, березничком - где душа захо-
чет -
В Киев пробирается божий мужичок.
Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормо-
чет,
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.
«Али сладко, дедушка?» - «Грешен: сладко,
внучек».
«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»

«Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.
Со крестом да с верой всякий путь хорош».
Ягодка по ягодке - вот и слава Богу:
Сыты. А завидим белые холсты,
Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку - и опять в кусты.
1906-1911

ДВОРЕЦКИИ

Ночник горит в холодном и угрюмом
Огромном зале скупю и темно.
Дом окружен зловецим гулом, шумом
Столетних лип, стучащихся в окно.
Дождь льет всю ночь. То чудится, что кто-
то
К крыльцу подъехал ... То издалека
Несется крик... А тут еще забота:
Течет сквозь крышу, каплет с потолка.
Опять вставай, опять возись с тазами!
И все при этом скудном ночнике,
С опухшими и сонными глазами,
В подштанниках и ветхом сюртучке!
1906-1911

КРИНИЦА

Торчит журавль над шахтой под горой.
Зарей в лугу краснеет плахта,
Гремит ведро -и звучною игрой,
Глубоким гулом вторит шахта.
В ее провале, темном и сыром -
Бездонный блеск. Журавль склоняет шею,
Скрипит и, захлебнувшись серебром,
Опять возносится над нею.
Плывет, качаясь, тяжкое ведро,
Сверкает жечь -и медленно вдоль луга
Идет она -и стройное бедро
Под красной плахтой так упруго.
1906-1911

ПЕСНЯ

На пирах веселых,
В деревнях и селах
Проводил ты дни.
Я в лесу сидела
Да в окно глядела
На кусты и пни.
Девки пряли, шили,
Дети с нянькой жили,
Я всегда одна -
Ласковой черницы,
Т ише пленной птицы
И бледнее льна.
Я ли не любила?
Я ли не молила.
Чтоб Господь помог?
А года летели,
Волоса седали...
И замолк твой рог.
Солнце пред закатом
Бродит по палатам,
Вдоль дубовых стен.
Да оно не греет,

Да душа не смеет
Кинуть долгий плен.
1906-1911

ЗИМНЯЯ ВИЛЛА

Мистраль качает ставни. Целый день
Печет дорожки солнце. Но за домом,
Где ледяная утренняя тень,
Мороз крупой лежит по водоемам.
На синеве и белый новый дом,
И белая высокая ограда
Слепят глаза. И слышится кругом
Звонящий полусонный шелест сада.
Качаясь, пальмы клонятся. Их жаль, -
Они дрожат, им холодно от блеска
Далеких гор... Проносится мистраль,
И дом белеет слишком резко.
1906-1911

ПАМЯТИ

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты -раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель -
Певучий звон ... Все -только мысль и звуки!
То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты
вечен.

1906-1911

БЕРЕЗКА

На перевале дальнем, на краю
Пустых небес, есть белая березка:
Ствол, искривленный бурями, и плоско
Раскинутые сучья. Я стою,
Любуясь ею, в желтом голом поле.
Оно мертво. Где тень, пластами соли
Лежит мороз. Уж солнца низкий свет
Не греет их. Уж ни листочка нет
На этих сучьях, буро-красноватых,
Ствол резко-бел в зеленой пустоте...
Но осень -мир. Мир в грусти и мечте,
Мир в думах о прошедшем, об утратах.
На перевале дальнем, на черте
Пустых полей, березка одинока.
Но ей легко. Ее весна далеко.
1906-1911

РАССКАЗЫ

1882⁻¹⁹⁰²

ПЕРЕВАЛ

Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стремянами.

В сумерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот голый, пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине далеко внизу, на побережье тесного залива, который, уходя к востоку, все расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. Но в горах уже наступала ночь. Темнело быстро, я шел, приближался к лесам - и

горы вырастали все мрачней и величавее, а в пролеты между их отрогами с бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской рыхлой грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с глухим, глубоким и нелюдимым гулом сосен. Повеяло зимней свежестью, понесло снегом и ветром". Наступила ночь, и я долго шел под темными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от ветра.

«Скоро перевал, - говорил я себе. - Скоро я буду в затишье, за горами, в светлом, людном доме...»

Но проходит полчаса, час". Каждую минуту мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый и каменистый подъем не кончается. Уже давно остались внизу сосновые леса, давно прошли низкорослые, искривленные кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть. Мне вспоминается несколько могил среди сосен недалеко от перевала, где похоронены

ны какие-то дровосеки, сброшенные с гор зимней бурей. **Я** чувствую, на какой дикой и безлюдной высоте я

нахожусь, чувствую, что вокруг меня только туман, обрывы, и думаю: как пройду я мимо одиноких камней-памятников, когда они, как человеческие фигуры, зачернеют среди тумана? хватит ли у меня сил спуститься с гор, когда я уже и теперь теряю представление о времени и месте?

Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана ... какие-то темные холмы, похожие на спящих медведей. **Я** пробираюсь по ним, с одного камня на другой, лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрым голышам, с трудом влезает за мною, -и вдруг я замечаю, что дорога снова начинает медленно подниматься в гору! Тогда я останавливаюсь, и меня охватывает отчаяние. **Я** весь дрожу от напряжения и усталости, одежда моя вся промокла от снега, а ветер так и пронизывает ее насквозь. Не крикнуть ли? Но теперь даже чабаны забились в свои гомеровские хижинны вместе с козами и овцами, -кто услышит меня? И я с ужасом озираюсь:

- Боже мой! Неужели я заблудился?

Поздно. Бор глухо и сонно гудит в отдалении. Ночь становится все таинственнее, и я чувствую это, хотя не знаю ни времени, ни места. Теперь погас последний огонек в глубоких долинах, и седой туман воцаряется над ними, зная, что пришел его час, долгий час, когда кажется, что все вымерло на земле и уже никогда не настанет утро, а будут только возрастать туманы, окутывая величавые в своей полночной страже горы, будут глухо гудеть леса по горам и все гуще лететь снег на пустынном перевале.

Закрываясь от ветра, я поворачиваюсь к лошади. Единственное живое существо, оставшееся со мною! Но лошадь не глядит на меня. Мокрая, озябшая, сторбившись под высоким седлом, которое неуклюже торчит на ее спине, она стоит, покорно опустив голову с прижатыми ушами. И я злобно дергаю повод, и снова подставляю лицо мокрому снегу и ветру, и снова упорно иду навстречу им. Когда я пытаюсь разглядеть то, что окружает меня, я вижу только седую бегущую мглу, которая слепит снегом. Когда я вслушиваюсь, я

различаю только свист ветра в уши и однообразное позвякивание за спиною: это стучат стремяна, сталкиваясь друг с другом ...

Но странно - мое отчаяние начинает укреплять меня! Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует меня. Он уже переходит в ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостна безнадежность?

Вот наконец и перевал. Но мне уже все равно. Я иду по ровной и плоской степи, ветер несет туман длинными космами и валит меня с ног, но я не обращаю на него внимания. Уже по одному свисту ветра и по туману чувствуется, как глубоко овладела поздняя ночь горами, - уже давным-давно спят в долинах, в своих маленьких хижинах маленькие люди; но я не тороплюсь, я иду, стиснув зубы, и бормочу, обращаясь к лошади:

- Иди, иди. Будем брести, пока не свалимся. Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов! Как ночь, надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды дружбы - и наступал час разлуки со всем, с чем сроднил-

ся. И, скрепивши сердце, опять брал я в руки свой страннический посох. А подъемы к новому счастью были высоки и трудны, ночь, туман и буря встречали меня на высоте, жуткое одиночество охватывало на перевалах ... Но - идем, идем!

Спотыкаясь, я бреду как во сне. До утра далеко. Целую ночь придется спускаться к долинам и только на заре удастся, может быть, уснуть где-нибудь мертвым сном, - сжаться и чувствовать только одно - сладость тепла после холода.

День опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня... Где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах?

1892-1898

ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову»печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

-Холодно, тетка? -спросил странник, лежа на конике.

- Нет, -ответила Марья, -туман. А собаки валяются, - беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватом и.

Странник спустил нот с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на

слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

-Сиротка! Корову-то прогусарили?

-Продали.

-И лошади нету?

-Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусоч в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку - черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все

горло и Васька ... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору". И отец уже не погнался".

«Анчихристы», лошадиники-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний -Талдыкин. Он пришел позднее, а до него первые только цену сбивали.

Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

-Ну, -кричал один, -смотри сюда, получай с богом деньги!

-Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, -уклончиво отвечал Корней.

-Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

-Что зря толковать, -рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы, -все напоминало в нем эту собачью породу.

-Что за шум, а драки нету? -сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать

улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам:

«Поскореича, ехать время, я на выгоне дождю», - и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

-Что ж не глянул лошадь-то? Талдыкин остановился.

-Долгого взгляда не стоит, -сказал он.

-Да ты поди, побалакаем ...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

-Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

-Плоха? -стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

-Долголетия?

-Лошадь не старая.

-Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней

смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ

лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

-Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

-Молись богу да полбутылочки ставь.

-Что ты, что ты? -обиделся Корней. -Ты без креста, дядя!

-Что? -воскликнул Талдыкин грозно, - бабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

-Да какие же это деньги?

-Такие, каких у тебя нету.

-Нет, уж лучше не надо...

-Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, -верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем

от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заноса выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятшек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луги, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулкает, а с другой стороны -от грозных окриков матери:

-Ты куда? Чичер, холод -а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

-Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ло-

жились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке»печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные»песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завейной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск ... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревейским горем и заботою ...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала

на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и тарашил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку ... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери:

«Угодники божия, святителю Микола-милостивый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница -молите Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого ...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто редела и просила «хоть капуски», а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

-Вот домовой-то, -говорил он серьезно, -все спи да спи!

Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда», -полушубков не шьют, больше помирают, -и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок»соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал ...»Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в поясице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

-Что ж, тетка, -сказал он, -даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

-Что варить-то? - спросила Марья отрывисто.

-Как что? Ай нечего?

-Вот домовой-то ... -пробормотал Васька. Марья заглянула на печку:

-Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась

-Спят, -сказала Марья, села и опустила голову. Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

-Горевать, тетка, нечего. Марья молчала.

- Нечего, - повторил странник. - Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам -и ничего себе...

Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом -вот что!

-Не ночевал и ты, - вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели, -с ребятишками с голодными, не слышал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала -Христом-богом просила, одну краюшечку добыла ... и то, спасибо. Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко -в отделку сморились ...

Голос Марьи зазвенел.

-Я вон, -продолжала она, все более волну-

ась, -гоню их каждый день на пруд... «Дай капуски, дай картошечек ...»А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку ...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, -думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. - Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцой. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский ра-

ботник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена ... Потом пришлось отпустить крепостных ... Потом проводить в Сибирь сына-студента ... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в

свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

-Погоняй, потрогивай, Егор, -сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя

себя неловко, он сказал:

-Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почи-тай, морозом не тронуло.

-Тронуло, да не морозом, -отрывисто оказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

-А как же?

-Объедены.

-Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

-Не зайцы объели. Егор робко оглянулся.

-А кто ж?

-Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

-**Я** объел, -повторил Павел Антоныч. -Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

-Чего оскаляешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

-Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

-А кнутовище? -строго и быстро спросил

Павел Антоныч.

-Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

-На тебе два, дай мне один. А кнут -он, брат, ременный - вернись, найди.

-Да он, может ... около городу.

-Тем лучше. В городе купишь ... Ступай.

Придешь пешком.

Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька благодаря этому ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антопыча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели яс-

ными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот по-синевшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

-Ты чья? -спросил он.

-Корнеева, -ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

-Постой, постой, -закричал Павел Антоныч, - я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она

сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настороживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом - Танька сперва не брала - «он чернищий, ну-козь умрешь», дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встацила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она от-

вечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник ... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

-Опять? -сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротой, такою старчески-детской радостью.

-Погоди, - шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя зоренька,

Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой

деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-зарю Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее?
Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции...Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, -и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опущенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые -звезды ... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на ли-

цо и щекотал щеки, как холодный пушок ... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

КАСТРЮК

1

Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок, летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.

-Что ты, что ты, дурочка? -закричал и дед,

ловя ее за рубашку.

-Барчуки ... на жеребцах! -захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.

Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.

Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая, обиженным вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.

Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался.

В риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки и с чиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом -и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и по-весеннему дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками. Кроме ребятишек и стариков, все были в поле -даже все Орелки, Буянки и Шарики.

Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот, всеми обстоятельствами деревенской жизни, вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома.

Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что, выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки), ну, Кастрюк, говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем как его баба зашпиливала веретье на возу с картошками, - не тужи тут, поглядывай обапол дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала".

Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.

Кому Кастрюк -тебе дяденька, -говорил он с рассеянной улыбкой.

Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:

Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и

горевать-то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип-то гнуть.

Да уж чего лучше, -отвечал дед машинально.

Когда сын уехал, он сходил за чем-то в пуньку, потом передвинул в тень водовозку все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закрое, то там и сям тюкал топором". В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:

-Долго ли пролежал, -глядь, уж везде беспорядок. А умри и все прахом пойдет.

Иногда старался подбодрить себя. «Небось!» говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами, и с ожесточением выговаривал: «Эх, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Был конь, да уездился...» Но чаще опускал голову.

Закипели в колодезях воды,
Заболело во молодце сердце, -
напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником, молодым и выносливым". Глядя внучку по голове, он с лю-

бовью перебирал в памяти, что в такой-то год, в эту пору он сеял, и с кем выходили в поле, и какая была у него тогда кобыла...

Внучка шепотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно неезженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.

Вдруг Дашка встрепенулась.

-Дедушка, глянь-ка! -заговорила она и быстро и нараспев, глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!

Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:

-Дедушка! Рысью, рысью!

Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.

-Должно, к завтраму приедет, -сказала она в раздумье. Блестя

трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом ура-

гана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали.

Жаворонки пели в теплом воздухе... Весело и важно кагакали грачи ... Цвели цветы в траве около линии ... Спутанный меринок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро.

—Здорово, сударушка, -закричал он, увидев идущего по рельсам сторожа-солдата. «Здравия желаем, ваше благородие!» — прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.

— Здравствуй, оказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.

Иди, сударушка, покурим, -продолжал дед, -погуторь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.

Я путь должен обревизовать к прибытию второго номера,

ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше.

Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку:

А то погодил бы! Солдат
не обернулся.

По дороге назад дед поболтал с пастухами
и полюбовался на стадо.

Дюже хороши ноне корма будут! -сказал
он.

Хороши, -ответил подпасок и вдруг, с кри-
ком: «Азад, смертные!» — бросился за свинья-
ми.

Стадо привольно разбрелось по пару. Же-
манно, на разные лады, тонкими голосками
перекликались ягнята. Один, упав на колени,
засовал мордочкой под пах матери и так то-
ропливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее,
стал сосать, что дед засмеялся от удоволь-
ствия...

II

Поспешно подходя к своей избе, он увидал,
что по выгону, прямо к ней едет молодой ба-
рин из Залесного, и бросился отгонять под го-
ру соседскую кобылу: вороной барский жере-
бец весь заиграл и заплясал, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая своей тяжестью
дрожки, барин въехал в тень избы и остано-
вился. Дед почтительно стал у порога.

-Здравствуй, Кастрюк, -сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы.

-Жарко! -прибавил он и протянул папироску и деду.

-Непривычны, Миколай Петрович, -захихикал тот. -Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького это мы, старики, любим!

-А я бышо к вам по дельцу, -начал Николай Петрович, отдуваясь. Ездил повещать на Ма-жаровку". надевай шапку-то, Семен!" да вот, кстати, и к вам. Девок своих не пошлете ли ко мне?

-Аль еще не сажали? -спросил дед участливо.

-Запоздали нынче... не я один.

-Запоздали, Миколай Петрович, запоздали".

-Я", -продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «Балууй», что дед со всех ног бросился держать жеребца.

Немножко-то посадил, опять начал барин, а пора и совсем управиться. Девчонок-то своих и турили бы ко мне.

-Разя один совладаешь, Миколай Петро-

вич?

-Да ты скажи своим-то...

-Солдатка-то дома, что ль? -спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и замялся.

-Кабы солдатка была, она бы сбила, сказал он, как бы оправдываясь. -А я, сударушка, дома ноне сижусь". Мне и отойтигь нельзя... Кабы прежнее мое дело, покоситься там али под парнику, я бы единым духом.

Жалко, -сказал барин задумчиво. Видно, вечерком заверну, и взялся за вожжи.

Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал:

Ты, сударушка, нанял бы меня в работники

...

Что ж, нанимайся, -сказал барин, рассеянно улыбаясь.

А когда заступать?

Барин пристально поглядел на него и качнул головою.

-Заступать когда? Эка ты -шустрый какой!

Я-то, сударушка? Да я их всех, молоденьких, за пояс заткну!

Я еще жениться хочу! Да на свадьбе еще

плясать буду!

-Да уж ты! -перебил барин, усмехаясь, уда-
рил вожжой жеребца и покатил по выгону.

Дед постоял, подумал...

Все говорило ему, что он теперь отживший
человек. Так только, для дому нужен, пока
еще ноги ходят ... «Ишь покатил!» — подумал
он с сердцем, глядя вслед убегающим дрож-
кам, и пошел вынимать из печки похлебку.

Пообедав, внучка с ребятишками ушла в
лужок за баранчиками. Все они так жалобно
просились пустить их, что дед не мог устоять.
Только сказал:

-Не найдете, ребята, разве снытку только ...

В избе он от нечего делать снова принялся
за еду. Он натер себе картошек, налил в них
немного молока (боялся, что и за это сноха бу-
дет ругаться) и долго ел месиво.

В пустой избе стоял горячий, спертый воз-
дух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из
кусочков, мутные стекла било жаркими луча-
ми на покоробленную доску стола, которую,
вместе с крошками хлеба и большой ложкой,
черным роем облепили мухи.

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть

еще дело -достать из-под крыши пачку листово-
вой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под за-
стреху, он едва не сорвался -голова у него за-
кружилась, в спине заломило ... Он опять с го-
речью подумал о своей старости и, уже лени-
во дотащившись до порога избы, на который
еще падала тень, медленно занялся делом. В
полдень деревня вся точно вымерла. Тишина
весеннего знойного дня очаровала ее...

Старухи-соседки долго «искались»под ста-
рой лозиной на выгоне, потом легли, накры-
ли головы занавесками и заснули. Самые ма-
ленькие ребятишки хлопотливо лепили из
глины ульи, собравшись в размытом спуске
около пруда. Изредка мычал теленок, привя-
занный за кол около спящих баб. Изредка до-
носился крик петуха и нагонял на деревню
тихую дрему. А в полях по-прежнему залива-
лись жаворонки, зеленели всходы, и по гори-
зонтам, как расплавленное стекло, дрожал и
струился пар.

Дед лег около пуньки, стараясь заснуть.
Для этого он старался представить себе, как
шумит лес, как ходит волнами рожь на буг-

рах по ветру и шуршит, переливается, и слегка покачивался сам. Но сон не приходил.

Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости.

Теперь небось Андрей крепко спит под телегою. Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни наедине с внучкою ... А ведь было время - лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки и начиналась «веселая беседушка».

Никогда, однако, не пропивал он ума и разума. Все у него было всегда в порядке: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле («печка! - говорили мужики, -хоть спать ложись на спине!»), и свадьбу сына он справил всем на удивленье. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжьего пира, престольный праздник Андрей поехал к тестю. Рядом со

своей разряженной бабой сел он в новые «козырьки», покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покатил по выгону ... Дед надеялся тог да, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, заводить дележи...

-Пирог ситный в обмочку, думал, буду есть, -пробормотал он.

Ан все вышло не по-гаданному.

Младший сын отделился, а старший хотя и остался с ним, да не много вышло проку ... Главное жестаруха всех подрезала. Умерла в самое плохое, голодное время. Да ослабели и его ноженьки, и придется ему теперь до смерти сидеть с ребяташками, вроде караульщика.

«Ишь, ровесник-то мой, -подумал он с озлоблением, -Салтан-то -и то улег со двора!»

И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся -бог его знает!

«Ни почету не дождался, -думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком, ни богатства ничего! И помрешь вот-вот и ни один кобель по тебе не взвоят!»

III

Долог этот день показался ему!

Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске.

«Ай уж и мне пойтить к ним свистульки лепить?» думал дед с горькой улыбкой и наконец не выдержал.

Посмотри, сударушка, за избой, сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

-Ай соскучился? спросила та жалобно.

Соскучился, сударушка! И как только это вы, бабы, дома сидите!

-А ты надолго, небось?

-Нет, я сейчас, в одну минутую ...

До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.

На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого видне-

лась белая рубаша, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

-Ай, сударушка, рассохи-то пропил? пошутит дед.

-Пропил, с бледной улыбкой ответил Глебочка.

-А мои скоро?

-Должно, едут.

-Где ж девки-то твои?

-Девти идут, -ответил Глебочка картаво.

На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел вдаль, по дороге.

Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек ... Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого

донника ... Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.

«Эх, кабы теперь дождичка, -думал он, -то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!»

Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облаченную в длинную стариковскую рубаху ... и наконец пришел к счастливой мысли.

-Ну, прикончил? -говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.

-Кончить-то, кончил, -отвечал Андрей Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы. В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.

Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково

посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полосы облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде... Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.

Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежий вечерний воздух.

«Не забыть бы подкову оторвать», - думал он.

В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.

-Будя, ребята, спорить-то, -сказал дед. -Карауль пока ты, Васька, ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри

не ложись головой на межу -домовой отда-
вит!

А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь -свя-тую дорогу ко граду Иерусалиму.

Наконец и он лег.

Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи то-нули поля. За ними, за ночным мраком, сла-бо, как одинокая мачта, на слабом фоне зака-та маячил силуэт далекой-далекой мельни-цы".

1982

НА ХУТОРЕ

Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне, -одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли ... Не играли песен, не кричали ребятишки ...

Все задумалось вечерней думой, -задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.

Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к лощине. Из окна, через кусты, было далеко видно.

Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пять-пальвать» перепел.

Капитон Иваныч был один как всегда.

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл ее в своих стансах Валентиной -на деле ее звали Анютой и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате, но взаимности не имел.

Имя у него было «как у дворецкого», наружность не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий, он похож был, по отзывам приятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекции князя (недаром говорили, что князь -отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именьице от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде «а-ля полька»... Но ничего не вышло из это-

го. «Валентина» шоехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.

Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Ива-

ныч «добряк, но фантазер ... старый фантазер... отживающий свое время тип".». Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы". Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротой ...

Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворная Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:

-А помните, сударь, Анну Григорьевну?

-Помню, -сказал Капитон Иваныч.

-Умерла-с. Великим постом схоронили.

Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался.

А вечером". Вечер настал такой тихий и грустный!

Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.

Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить?

Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном". Да и что перепела!

Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.

Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчишкой, юношей? Школа кантонистов -хорошо, что теперь их нет более! -холод, голод, поездки к тетке... Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами,

-говорили, от несчастной любви сошла с ума,
-помнил, как она, по старой институтской
привычке, твердила наизусть французские
басни, закатывая глаза и делая блаженную,
важную физиономию; помнил и

«Полонез Огинского»... Страстно и необыч-
но звучал он, потому что с безумной страстью
играла его старая дева... Ах, этот полонез! И
она играла его...

Звезды в небе светят так скромно и зага-
дочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает
и волнует этот шепот-треск... В зале стоят ста-
ринные фортепианы. Там открыты окна... Ес-
ли бы туда вошла теперь она, легкая, как при-
видение, и заиграла, тронула старые звон-
ко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли
бы из дома и пошли

рядом полевой дорогою, между ржами,
прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет
запада...

Капитон Иваныч поймал себя и усмехнул-
ся. -Расфа-нта-зирова-лся... -протянул он вслух.

Трещали кузнечики в тихом вечернем воз-
духе, и из сада пахло лопухами, бледной, вы-
сокой «зарей» и крапивой. И этот запах напо-

минал вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.

Ни одного огонька не светило на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне". И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли -таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях... А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза -сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды ...

Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.

«Восемьдесят лет домику! думал Капитон

Иваныч. Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»

Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сторбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль... Он взял картуз и вышел из дому. На дворе было светлее. Свет зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

-Михайла! -тихонько позвал Капитон Иваныч старого пастуха.

Никто не откликнулся. Михайла ушел «ко двору, рубаху сменить». Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку: накосил ли Митька травы коровам? Но, думая совсем о другом, Капитон Иваныч только постоял у варка.

Митька! позвал он.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхались крыльями на насесте куры.

«Да и на что они мне нужны?» подумал Капитон Иваныч и не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре ржи. Шурша, пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел.

Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке окрестность.

«Сижу, как сыч на бугре, -подумал Капитон Иваныч. -Вот, скажет народ, делать нечего старику!»

«А ведь правда -старик я, -продолжал он размышлять. Умирать скоро ... Вот и Анна Григорьевна померла ... Где же это все девалось, все прежнее?»

Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине ...

Как ж е это так? -сказал он вслух. -Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с

поля.., будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу -меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет -я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая левою рукою черный, седеющий ус, он сидел, покачивался ...

Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное". Был когда-то мальчиком, был молод". Потом", в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге!И Капитон Иваныч сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей...

Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается; семьдесят, восемьдесят лет.., а дальше уже и считать не принято! Что же наконец, долга или коротка жизнь?

«Долга! -подумал Капитон Иваныч. -Да, все-таки долга!». В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной

бесконечности ему стало легче. «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика".» Очертания полей едваедва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, и звезды, казалось, сияли выше.

Отчетливее слышался редкий крик перепелов. Свежее пахло травой... Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!

1892

ВЕСТИ С РОДИНЫ

«А право, -с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества, -нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»

Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали -вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-пре-

зидента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.

Здравствуйтесь, -сказал он шепотом, -о чем речь?

Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».

Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.

Там вам телеграмму принесли, -сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.

Из института? быстро спросил Волков.

Не могу знать.

Из института, верно, сказал Волков.

И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздох-

нул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.

Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.

«И чего только не рисуют, - думал он. - И как старательно!»

Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института... Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв... Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно - и практически, и по части диссертации".

«Восста-аньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.

-Иван Трофимыч?

Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своей холодной и мокрою маленькой рукою.

Вы откуда?

Из сельскохозяйственного, -ответил Волков.

Что же так рано?

«По домашним обстоятельствам». А вы?

Из конторы. Работаем, батенька".

У вас, значит, и вечерние занятия?

Да, то есть нет, только весной -к отчету подгоняем". Да скверно, знаете ... Даже не скверно, собственно говоря, а прямотаки -подло ... Бессмыслица,

Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.

-Почему? -спросил Волков. Иван

Трофимыч встрепенулся.

-То есть как почему? Да на кой черт кому

нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?

-Ну, положим, смысл-то есть...

-Белиберда! -воскликнул Иван Трофимыч с сердцем. Волков

снисходительно улыбнулся.

-Ну, идите куда-нибудь еще, -сказал он спокойно.

-То есть куда это?

-Да у вас ведь имеется диплом?

-Самый форменный.

-Ну, и что же?

-Ну, и что же? -повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. -Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога -куда угодно! Вы подумайте только, -начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:

-Отчего же не идете?

-Вам сколько лет? вдруг спросил Иван Трофимыч.

-Двадцать четыре года, пять месяцев. А что?

Ну, вот видите! А мне сорок ... И, главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело... Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?

-Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно, сказал Волков.

-И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?

-Пожалуй, и пудо-верстами ... Я, право, не понимаю, господа...

-Прекрасно, -почти закричал Иван Трофимыч, -я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька, -утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра...

-Именно играть-то мы и не хотим, -перебил Волков. -Вы говорите: идите, помогайте. А мы будем помогать наукой, а не «хо-роши-ми»)словами.

Иван Трофимыч махнул рукой.

-Мы, знаете, так раскричались с вами, -ска-

зал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова, -будьте здоровы!

И, повернувшись, съежился и скрылся за углом.

Волков постоял, подумал ... И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.

Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.

«Посылаются пятницу девятнадцатого», - стояло в ней.

На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.

«Любезный брат Дмитрий, -читал он, мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь

ли ты хоть к Святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу, ни проезду...»

Волков перевернул страницу и стал про-

смаатривать конец письма:

«Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренко. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он от голодного тифа".»

Волков вдруг опустил письмо ... переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:

«... Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренко ...»

-Не может быть! -сказал он громко, поднимаясь, -не может быть! Мишка, друг детства ... головастики вместе ловили ... от голода!

Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и лоя разлетевшиеся мысли ...

Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие

книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось,

«в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кровати, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастика. И вот он умер, и в распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски-худое тело Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо". Но еще худее стал он, когда его, в белой новой рубахе, клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвальни и повезли по весенним полям в село ...

Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящичке лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидал рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы,

удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули: «Михаил Колесов»...

Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в Дворики учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете коптящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала отворявшаяся дверь и словно всплывали в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки.

-«Богородица-диво-радуйся ... Богородица-диво-радуйся ...»— тоненьким голоском заливался Мишка.

-«А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке...»— сосредоточенно бубнил Старостин сын Никитка, толстый мальй, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе.

Сам Догадун, староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался.

-Никит, перебивал он иногда важно, -ты что учишь?

Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сильным шепотом.

-Выучил?

-Нет еще.

-Ну, так стой, погоди, ребята, -продолжал Догадун, разгадай задачу? А вы все, ребята, тоже не дреми!

И он начинал:

-Шли пять стариц и несли они, ребята, по пяти костылей. На каждом костылю -по пяти суков, на каждом суку -по пяти кошелей, у каждом кошеле -по пяти пирогов, у каждом пирогу ... к примеру сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит? .. Ну-ка, барчук?

И с каким удовольствием барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шепотом начинал считать воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвальнях домой!

Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не

пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к барчуку. Но Мишка успевал-таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую.

-Насилушка убёг, -говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью.

От него пахло снегом, зимней свежестью; он летел по сугробам босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него, грязного от сажи, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели «кутки», были «нарочно разбойники», разглядывали и вырезывали картинки...

«Как ж е так случилось, -думал Волков, -как могло это случиться -эта голодная смерть?»

Его повезли в летний день в тарантасе в город в гимназию. Мишка только за гумном успел увидеть его. Он с утра сидел в коноплянике, желая проститься с ним. В дом, где была

суета, его не пускала мать ... И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он поверну лея, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли ... Митя же глядел вперед, все мысли его заняты были только новым кепи...

В гимназии он стоял на актах и ждал книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около риги... Надвигались зимние сумерки ... все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом ... слышались голоса баб, скликавших выпущенных овец «вычь, вычь, вычь! ..». Покачивая бадьей, его мать шла в лощинку за снеговой водою ...

Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьей. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел: «Из страны, страны далекой...», Мишка шел с обозом в город ... В поле бушевала вью-

га ... В темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета: на санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался ... Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся завертку...

Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты», они ходили с ним ловить перепелов, вели душевные беседы, лежа по ночам на межах, среди ржей. Но потом ...

Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой, -месяца три тому назад, на Рождестве.

Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию.

Ночь была страшно морозная и ветреная; сухой, мерзлый снег визжал и скрипел под санями; за необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирали и дымилась

поземка. Волков, отвернувшись от колючего ветра, слушал визг саней и курил папиросу; ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке... Кто-то крикнул: «Пошел», лошади рванулись, ветер стал кидать снегом в лицо и размахивать и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу... Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним.

На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел пред приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидел эту фигуру около дверей.

-Мишка! Ты? -воскликнул Волков.

И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью: Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно:

Я-с, Дмитрий Петрович ...

Ты зачем здесь? -спросил Волков, подавая ему руку.

Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали понизу, закрывая исхудалое, больное лицо.

Попроситься в город, отвечал Мишка простуженным голосом.

Как попроситься?

На машину...

Да как попроситься?

Мишка слабо улыбнулся.

Даром не проедешь, сказал он тихо.

Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет.

В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, трещащем на ходу вагоне он увидел его около красной, раскаленной печки.

-Ты зачем в город-то?

Беда! -заговорил Мишка монотонно. Может, в городе что найду ... Совсем обезживотел ...

-Не может быть! -воскликнул опять Волков. -Не может этого быть!.. Коллекции, гербарии ... «Кормовая свекловица» ... Какая галиматья!

И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли.

1893

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

На вокзале не было обычной суматохи: наступала Святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили закончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дожидаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и призрачна. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти подготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под

чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тус-

кло поблескивая, убегали туда рельсы. На лево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

-Ох, должно, не скоро еще! -шепотом ска-

зал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

-Служба-то? -отозвался другой. -Должно, не скоро. Теперь не более семи.

-А то и всех восемь наберется, -добавил третий.

Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

-Ай соскучился? «А-а-а...»— зевнул он, передразнивая первого говорившего. -Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

-Будя, Кирюх, буровить-то, -серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: -Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

-Не разумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

-Да ай не все равно? -опять заметил Кирилл насмешливо. Хушь смотри, хушь не смотри -одна честь ...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем крас-

невший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал.

Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

-Федор, спишь? -тихо окликнул его старик.

-Н-нет, -ответил тот сильным голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

-Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

-Чего ж мне скучать?

-Да ну! Ты скажи, не бойся.

-**Я** и так не боюсь.

-То-то, мол, не таись ...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад -и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеб-

лясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

-Тридцать четыре, -сказал один из мужиков.

-Кого? Вагонов-то? Боле будя.

-А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

-Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, -сказал Федька.

-Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить ...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы

земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову ...

-И чего тут остались? -послышался один неуверенный голос. -Хушь бы в город пошли -авось всего версты четыре...

-А ну как сейчас велят садиться? -утрюмо ответил Кирилл.

-Его пропустишь, а там и сиди опять десять дён.

-Надо пойтить спросить".

-Спросить? У кого?

-Да у начальника...

-И правда, пожалуй?

-Да его теперь небось нету ...

-Ну, кто-нибудь за него".

-Служба-то и тут такая же будет, -проговорил Кирилл по-прежнему утрюмо.

-Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем ...

-А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

-Дни-то, дни-то какие! -со вздохом, слабым задушевым голосом сказал старик. -А мы, как татары какие, и в церкви ни разу не были!

-Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лица ангельстии со всяким началом и властью". лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуия" .»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследиди во всех языцех".» Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокры-

ми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи ... Потом деревня остается пустою и тихою ... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается ... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса ...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крепясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

-Федор! Вставай! -взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золо-

тым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе спасе, ангели поют на небеси ...»-торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные гла-

За...

-Воскресни, Боже, суди земли!

1893

НА КРАЙ СВЕТА

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село -его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в сол-печное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волы, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло роди-

ну для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и отдельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному

морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-проквиліє...». Многих из них ожидали «кайдани турецькїї, каторга бусурманська», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорній кудрі наступати, з лоба очі козацькїї видирати ...». Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине - и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и девчата.

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то в даль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

-Прокинулись сю ніч, -говорил Юхым растерянно, -про-кинулись вони, Зинька, та й ка-

жуть: «Идемо на переселения!» — «Як же так, тату, вы ж казали ...» — «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый со своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между

землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурійський край?» думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидеть, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурійський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, нагнув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

-Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строить, він теперь знає... Не пропаде!

-Багато людей загину ло!-говорят, не слушая его, другие. Багато, багато!

Темнеет -и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную картину широкой низменности с темными кущами прибрежных роц, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки ... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых ...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустев-

ший дом. Спускаясь под гору, они смотрят на село другими глазами, чем прежде, -точно после долгой отлучки...

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой ... покойно и буднично ...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки ... словно прислушивается ... Сонные мухи гудят по потолку ... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз? -Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

Ой, зійди, зійди, Ясен місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви ...

IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга.

Наконец все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих

людей и наклоненных к траве лошадей. Сто-
рожевые, с кнутами в руках, сонно ежились
возле телег, зевали и с тоской глядели в тем-
ную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они,
когда услышали скрип проезжей телеги! Зем-
ляк! Они окружили его, улыбались и жали
ему руку, словно не видались много-много
лет.

Разбуженные говором, подымались с зем-
ли и другие и, застенчиво скрывая свою ра-
дость, тоже толпились у телеги проезжего, за-
куривали трубки и были готовы говорить
хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они,
закрывая головы свитками, и все думали об
одном, - о далекой неизвестной стране на
краю света, о дорогах и больших реках в пути,
о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном -и лю-
ди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся
крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и
поникий на сторону, показался на краю

неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же - снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

1894

УЧИТЕЛЬ

И Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что.

Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.

-Пусть будет так! -сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под про-

стыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир...» — напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! -черт его побери, не ехать, так не ехать... эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стыннут ноги и кончик носа...

II

Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовить то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на

сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было как на старинных иконах у схимников, -темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один -такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там ... все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции из-за одного содержания у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но

нужно было справиться к зиме тулуп. Осенью он надеялся на святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой ... долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до

поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару», думал Турбин.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда зарабатывать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статьи под заглавием: «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок - о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

III

Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа - косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под

горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабак Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения -очистные, подвальные -и домики на манер железнодорожных -для служащих.

С завода приходили к Грибакину гости -старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ, лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стукалкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрывать. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не

подал виду, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделяться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него -«это еще что за новости?» — а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:

Вот скоро, скоро я уеду, Забудь мой рост, мои черты!

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. «Пойдут сплетни, -думал он, -различные неприятности... немисливо!»И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.

«Ага, -думал Грибакин, -перековала язычок!»

В гостях на заводской стороне учитель бывал у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был человек очень радужный, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения тоже как-то не завязывались. Учитель дичился,

а заводские все были друг с другом запанибрата, -все жили дружно, одними интересами, часто бывали друг у друга, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть». Старшие рабочие на заводе из очистной, здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью и собственным достоинством. Учитель некоторых из них побаивался даже, -например, посыльного на почту: говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим презрительным спокойствием.

IV

Осень началась солнечными днями.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле, туда, где видны были на горизонте станция и один за другим уходящие вдаль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на родину.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блесело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирю-

зовое небо. В барском парке, прохваченном
ночной сыростью, на низах стояли холодные
синие тени и пахло прелым листом и яблока-
ми; на полянах, в солнечном блеске, сверкали
паутины и неподвижно рдели светлзолотые
клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал
тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо
колеблясь, падали на темные, сырые дорож-
ки. Сад пустел и дичал, далеко виден был в
нем полураскрытый, покинутый шалаш са-
довника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село
лежало в широкой котловине. Ровно тянулся
ввысь дым завода; в ясном небе кружили и
сверкали белые голуби. На деревне всюду рез-
ко желтела новая солома, слышался говор, с
громом неслись через мост порожние телеги
... А в открытом поле -под солнцем, к югу -все
блестело; к северу горизонт был темей и тя-
жел и резко отделялся грифельным цветом от
желтой скатерти жнивья. Издалека можно
было различить фигуры женщин, работаю-
щих на картофельных полосах, медленно еду-
щего по полю мужика. Золотистыми костра-
ми пылали в лощинах лесочки. Кирпично

краснели крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладело беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была вокруг.

На месте срубленного леса белела щепка, среди обрубленных сучьев и поблекших листьев возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их очертания так хорошо гармонировали с открытыми полями. А Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С Линтваревыми он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним просто и даже ласково. Про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушило Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним жена Линтварева так ласково улыбнулась ему и по-

казалась так изящна и аристократична, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго глядел вслед ее английскому шарабану. Он не видел, куда идет, мечтая о том, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай и курить дорогую сигару...

V

В конце сентября, в октябре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше. Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислой печной сыростью, стало холодно, темно и неудобно. Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, после мрачной дождливой ночи, над грязными полями, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. Будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в переднюю грязи, возились, топали и кричали. В двери несло ледяной сыростью. С дрожью

подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятнее и сдержаннее, потом только смотрел, как сечет в окна косою дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, и заливается-сгонет ветер, гнет в поле одинокую голую березку...

Оживлялся он при говоре и толкотне уходящих учеников.

-Здорово льет? спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые большие калоши.

-Кажись, перестает, -каждый день отвечал на это Павел.

-По морю, яко по суху, каждый день гово-

рил лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебиравшийся на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукой и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочница, он, с кривой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

-Писем, Иван Филимонович, нету? -кричал он издалека лавочнику. -Вы, говорят, на станции были?

-Пишут-с!

-То-то несуразный-то !-говорила лавочница, как бы с сожалением, качая головою и откусывая нитку.

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Унылый, поблекший нос, жидкая коса, слезящиеся глаза, -все в нем напоминало старуху. Тяжело было смотреть, как он весной, в полую воду, или осенью, под дождем, брел к выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была солома. На кли-

росе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был выпивши или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толклось семь человек детей. Никто не обращал на них внимания. И сам Скрябин, и жена его только и думали с утра до ночи, что об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепки, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было приветливое, открытое и покорное лицо. Когда в октябре она умерла перед концом беременности, Турбин долго не мог без содрогания видеть ее хибарки.

Чаще всего после обеда он бывал в гостях у священника о. Федора Рокотова. Священник выходил заспанный, с светлыми слезящимися глазами и красными полосами на виске от рубцов подушки. Он улыбался и говорил с благодушным снисхождением к своей слабости:

-А я прилег на минутку, да и задремал, как

сурок ...

Вечером затевалась игра в преферанс на орехи. Иногда Турбин играл с поповной на двух гитарах «В глубокой теснине Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или на мотив малороссийского казачка «Прибежали в избу дети» ... Томной меланхолией звучали струны гитар. Священник острил насчет худобы и роста Турбина. И Турбин всегда при этом смеялся, прикрывая, по своей манере, рот рукою.

VI

Деревня тонула в сырых сумерках, зажигались на заводе огни и тянуло дымом самоваров, а он скользил по липкой грязи, мучился медленным восхождением на гору. Темь, холод, запах угарной печки и одиночество встречали его в безмолвном училище. Но первое время это не смущало его. Первый год в школе прошел как-то удивительно быстро. Турбин мечтал. Молодым скрытным семинаром он мечтал о многом -думал стать миссионером, городским священником. Представлял он себя в губернском городе, о. Николаем

в шелковой лиловой рясе, на которую падают выхоленные кудри, даже почему-то в зо-

лотых очках, как протоиерей в Вознесенском соборе. Мечтал о жизни с достатком, думал вести хорошее знакомство, быть человеком просвещенным, следящим за наукой, за политикой. Эти мечты погибли. Едучи в школу, он весь был переполнен рвением поскорее начать работать, сразу сделать свою школу образцовой, пописывать статейки по народному образованию, приняться за составление учебников. День за днем тускнели эти мечты. В Можаровке близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да так, чтобы годиков через пять получать тысячи три, а то и четыре, -бывали примеры.

Но прежде всего необходимо заняться самообразованием, решал он, -это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человеком. Вот только дай пройдет эта осень! Съезжу домой, а вернусь -буду ходить к Линтвареву, буду, бог даст, с живыми, настоящими людьми общаться...

И, волнуясь, он расхаживал по своей комнате. Потом брал выпрошенную еще в семинарии у товарища книжку журнала и принимался за статью: «Взгляд на русское судо-

устройство и судопроизводство». Но статья была невеселая. Осилив несколько страниц, Турбин опускал книгу, закрывал глаза и опять отдавался думам ... Иногда, поздней ночью, растроганный нежностью к отцу, Турбин писал к нему длинные письма; но наутро они казались ему витиеватыми и невыразительными, и он не посыпал их...

Когда обнаружилось, что ехать не на что, вечера изменились. Он стал проводить их в беспокойной тоске и бесплодных придумываниях, как устроить эту поездку. Иногда он решался даже на последнее средство -занять денег. Но тотчас же отказывался от него. «Немыслимо! Долги -погибель!»Проклиная в душе и себя, и темноту, и училище, он шагал к дьячку ужинать. Возвратясь, тотчас же заворачивался в тулуп и ложился в постель. Вся тоска осенних дней охватывала его тогда. Черная ночь глядела в окна. На деревне во мраке зиял огнями завод; огненными искрами роились его высокие трубы; когда тяжелым взмахом налетал ветер, чаще и гуще стрекал косой дождь в стекла окон и еще жалобнее завывало в печке... А на рассвете отда-

ленными-отдаленными, протяжными стонами доносилась переключка петухов; медленно-медленно пробуждалась после долгой ночи жизнь. Дождь стихал; холоднело; ветер гнал в холодном небе белесые космы туч. Над деревней, над голыми полями занимался новый скучный день...

А потом пошли метели, засыпая снегом избы, слепя окна. Побелевшая деревня еще более опустела и затихла -даже собаки забивались в сенцы.

С утра до ночи неслась над ней вьюга и стояли мутные сумерки. В белой пыли тонули и завод и церковь. Ветер по ночам жалобно перезванивал на колокольне...

VII

Часов около шести Павел с громом уронил на пол вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, он закричал и чмокнул губами:

-Ну и студено же на дворе! Вызвездило страсть!

-А ты плешивых посчитай! -раздался из темноты спокойный голос учителя.

-Ай проснулись!

-Подремал, -отвечал учитель, зевая.

На душе у него было пусто. Он спустил длинные ноги с кровати и соображал, идти или нет к дьячку. Есть хотелось, надо было идти.

На селе было темно и тихо. Морозило; на черном небе сверкали крупные звезды. Лай собачонки с того боку деревни звонко отдавался в чистом воздухе... Свежесть зимней ночи ободрила Турбина.

-Отцу Алексею -почтение! -сказал он шутливо-громко и с ударением на «О», нагибаясь и входя в избушку дьячка. -С преддверием!

Дьячок чинил хомут, сидя на лавке около коптившей лампочки. Он медленно поднял голову и, приложив большой палец к ноздре, сильно дунул носом в сторону. И опять посмотрел на Турбина сквозь висевшие на кончике носа очки.

-Не на званом ли обеде были? -спросил он, слабо улыбаясь и утирая нос полою.

-На званом, отец Алексей, на званом.

Старшая дочка дьячка, косенькая, миловидная и тихая девочка лет шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на стол. Турбин молча принялся хлебать щи.

-Попробую и я с вами... сказал дьячок, откладывая хомут в сторону, подошел к лейке над лоханью, плеснул водой на руки и взялся за ложку.

Косенькая девочка молча стояла у печки. Дьячок посмотрел на нее, опустил голову и сказал:

Еже во плоти рождество господа нашего Иисуса Христа ... Да... воспоминание избавления церкви и державы ... А там и отдание праздника, и Новый год... Что-то я забыл, когда восход солнца? Заход знаю, а вот восход? Вы не помните?

Турбин захохотал, откинувшись к стене и закрыв рот рукою.

-А на что он вам, отец Алексей?

Девочка подошла к столу и серьезно стала убирать ложки. Турбин смолк и поскорее выбрался на улицу.

-Эхе-хе-хе-хе! -говорил он, шагая в гору и качая головой.

На полугоре он остановился и глубоко вдохнул свежим воздухом.

«Какой же, собственно, смысл в тоске? -подумал он. -Живут и хуже моего!»

К удивлению его, в училище светился огонь. Не отец ли приехал? Или кто-нибудь из забытых товарищей? Но тогда у крыльца были бы лошади ... «Наверно, Слепушкин или Кондрат Семеныч».

VIII

Кондрат Семеныч был сын обедневшего помещика, учился в гимназии, но дотянул только до пятого класса. Этому, впрочем, помогло и то, что на охоте с борзыми он сломал себе ногу. От отца Кондрату Семенычу осталось только тридцать десятин земли, небольшой флигелек на выезде Можаровки, шитье с дворянского мундира, портрет Николая 1, два бронзовые шандала и дорожный ларчик красного дерева, из затейливых ящичков которого пахло старинными кислыми духами. Кондрат Семеныч сдал исполу мужикам землю, нанял кучера, записного охотника и пьяницу Ваську, и уже не разлучался с ним.

Кондрат Семеныч был широкоплеч, небольшого роста, особенно тогда, когда оседал на левый бок, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а загорелое, кирпичного цвета лицо оживлялось маленькими весе-

лыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выражение; концы черных усиков на короткой верхней губе лихо завивались кверху.

Душа у Кондрата Семеныча была добрая, открытая. Пил он и в кабаках, и в гостях, и на охоте, лгал, хвастался отчаянно и не скрывал этого: «А я тебе, брат, чертовски брехал вчера», - сплетничал без всякой предвзятой цели - просто под влиянием расположения к другу, а друзьями у него на селе были почти все. Колтыхая по деревенской улице, он так же дружески встречался и с помещиком, как и ставил ногу на втулку колеса к мужику, насыпая из его кисета сигарку махоркой. Носил, как все мелкопоместные, длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку, которая издавала какой-то особенный запах - запах пороха и лошади; как и они, любил хвастнуть своей рыженькой троечкой.

Турбин был у него раза два. Он надеялся через Кондрата Семеныча познакомиться со многими помещиками. Но тот только силился напоить его. К тому же и обстановка у него

была не такая, какую думал встретить Турбин: крыльцо перед домом было разрушено; в прихожей пол был как в свиной закутке -так он был унавожен жившими здесь и зиму и лето турманами, которые при входе людей поднимались тучей, с шумом и свистом крыльев, и совсем затемняли свет, проникавший сквозь радужные от времени стекла. В углу залы был насыпан ворох овса; тут же на соломе повизгивали, ползали и тыкались слепыми мордами гончие щенята; большая красивая сука, спавшая возле них, подняла голову с лап и наполнила всю залу музыкальным лаем. Голые стены кабинета были темны от табаку и мух; над турецким диваном висели нагайки, кинжалы и жёлтые шкурки лисиц. Под окном, на письменном столе, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шляя; из-под стола зеленела четверть водки. Турбин чувствовал себя неприятно. Не нравилось ему и то, что Кондрат Семеныч говорил ему «ты» и называл его циркулем.

Слепушкин служил на заводе подкурщиком; лицо у него было толстое, обрюзглое и

темное, как у заправского алкоголика, голос тяжелый, фигура медведя. Пил Слепушкин водку, смешанную с пивом: такой состав назывался «ершом», по трудности проглотить его сразу. В гостях у Турбина он засиживался до трех часов ночи и часто просил писать клавочнику записки, чтобы тот прислал «дюжину».

-Не понимаю, -говорил он сонно, облокотясь на стол и глядя на учителя свинцовыми глазами, -не понимаю этих нежностей: ведь мне он не поверит ... а я, надеюсь, в состоянии заплатить вам этот несчастный целковый.

Само собой, говорил Турбин, расхаживая по комнате, я не сомневаюсь, но право же...

Само собой, само собой! дразнил Слепушкин.

-Пусть будет так ... -начинал Турбин, -но главная вещь... Тогда

Слепушкин подымался.

-А уж этого «пусть будет так»я совсем не выношу! -говорил он с искренним презрением. -Вероятно, мы теперь не скоро увидимся.

С неудовольствием вспоминая все это, Турбин подошел к училищу и заглянул в окно.

Кондрат Семеныч лежал на кровати. Таубкин, выгнув сутулую спину и запустив руки в карманы модных узких брюк, сверкал очками. Слепушкин сосредоточенно играл на гитаре, опустив голову и покачиваясь. Ему вторил на гармонике один из подвальных, Митька Лызлов, белобрысый и безусый. Он играл и с блаженной усмешкой тянул фальцетом:

А всем барышням-модисткам

По поклоннику по низком!

Но кто-то был еще, какой-то благообразный господин с лысиной во всю голову, с длинными черными баками. Осторожно Турбин пробрался к противоположному окну, и даже руки у него похолодели: это был Прохор Матвеич, линтваревский лакей.

«Значит, Линтварев приехал, -думал Турбин. Но какова это будет штука, если я пойду к нему, буду сидеть в зале -и вдруг входит Прохор Матвеевич?»

Стук двери и голоса слышались на крыльце. Турбин прижался за угол. По снегу заскрипели шаги, Лызлов звонко заиграл на гармонике. Турбин осторожно пробрался в школу. Дверь на крыльцо осталась открытой;

в комнате пахло табаком и свежестью морозного воздуха. Турбин поморщился. Но вдруг взгляд его упал на стол: конверт из плотной бумаги! Турбин смешался, покраснел, неловко рванул его...

«Многоуважаемый Николай Нилыч, -стояло в письме, -простите за поздний ответ. В тот приезд, как получил ваше письмо, я не успел ответить, а теперь хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы, почему надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером. Преданный вам Линтварев».

Это был ответ на просьбу Турбина помочь школе учебниками. Но теперь Турбину было не до учебников; он ходил по комнате и бормотал с сияющим лицом:

-Преданный! Гм... Вот, ей-богу, чудак!..

И внутри у него все дрожало от радости.

Х

К утру сочельника комната его сильно настыдилась. Вода в умывальнике замерзла. Стекла окон были сверху донизу запушены инеем и зарисованы серебряными пальмовы-

ми листьями, узорчатыми папоротниками. Турбин спал крепко, а проснулся с ощущением какой-то хорошей цели. Он вскочил и отдернул примерзшую форточку. Резкий скрип саней стоял над всем выгоном: из-под горы тянулся длинный обоз, весь завейанный ночной поземкой; морды лошадей были в кудрявом инее. Все тонуло в ярких, но удивительно нежных и чистых красках северного утра. Выгоны, лозины, избы все казалось снеговыми изваяниями. И на всем уже сиял огнистый блеск восходящего солнца. Турбин заглянул из форточки влево и увидел его за церковью во всем ослепительном великолепии, в морозном кольце с двумя другими, отраженными солнцами.

Поразительно! воскликнул он и, торопливо захлопнув форточку, юркнул под одеяло.

-Уши! -сказал он громко и засмеялся, вспомнив, что мужики называют эти отражения солнца «ушами».

Передняя, куда он вышел умываться, вся была озарена солнцем. Он долго и особенно тщательно мылся, потом заглянул в классную: и там было теперь весело от солнца и

тишины предпраздничного утра. «Не шуми ты, рожь ...»затянул он во все горло... Голос гулко отдался в пустой комнате, и это напомнило ему его одиночество. Он замолк и пошел в переднюю пить чай на окне, при солнце. Сообразивши, что идти к обедне уже поздно, он даже обрадовался. Его тянуло обдумать, по-лучше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, он убрал чашки и самовар, надел новое пальто и медленно вышел.

Щурясь от ослепительного сверканья на парче снега, от блестящих, отшлифованных, как слонобая кость, ухабов дороги, глубоко дыша холодным воздухом, он шел и все любовался деревней, синими резкими тенями около строений и горизонтом зеленоватого неба над далеким лесочком в снежном поле: туда, к горизонту, небо было особенно нежно и ясно. Иней приятно садился на веки, пар шел от дыханья, солнце пригревало щеку ... Хорошо бы теперь откинуться в задок барских саней, полузакрыть глаза и только покачиваться, слушая, как заливаеся колокольчик над тройкой, запряженной впротяжку!

«Ну, так как же? Иду, значит? Или нет -не

стоит?» думал Турбин, шагая.

В душе он еще вчера решил, что пойдет. «Да, так лучше, - говорил он себе, - пойду на третий день, утром, по делу, ненадолго. Немыслимо сразу в гости прийти ... это он для приличия ... Поговорю и уйду. А там, на Новый год, примерно, уж и вечерком можно».

Незаметно он уходил все дальше и, говоря одно, повторял в то же время другое: «Ну, так как же?..» Представив себе все неприятности этого посещения, он тотчас же начинал убеждать себя в этом, говорил, что «глупо рисовать все в дурном смысле», что он не хуже других... В конце концов, эта путаница мысли испортила ему настроение, утомила, стала мучить. Он поспешно пошел обедать.

Вернувшись и увидя свою бедную комнатку вымытой и прибранной к празднику, он почувствовал себя совсем одиноким и стал думать спокойнее и серьезнее.

XI

Наступил праздник.

Турбин чувствовал себя как-то особенно, как привык чувствовать себя с детства в большие праздники, чинно стоял в церкви, чинно

разговлялся у батюшки. Дома, не зная, за что приняться, он бесцельно походил по классу, заглянул в окно ... В безлюдье села чувствовалось: все дождалось чего-то, оделись получше и не знают, что делать. С утра было серо и ветрено. После полудня воздух прояснился, облачное небо посинело, бледно-желтым пятном обозначилось солнце, снег стал ярче и желтее, поземка струйками закурилась на гребнях сугробов, подхватываясь и развеиваясь белой пылью, криво понесли по ветру галки. Проезжий мужик повязал уши платком, стал на колени и погнал лошадь. Розвальни бежали, разрывая переносы сухого снега на обмерзлой дороге, постукивая и раскатываясь...

Скука с новой силой охватила Турбина.

Но вечером, когда он пошел на заводскую сторону, он неожиданно столкнулся с Линтваревым и совершенно потерялся от смущения.

С праздником! сказал он не то галантно, не то в шутку, неестественно изгибаясь.

Линтварев был среднего роста, с простым приятным лицом, с русою бородкой и ласковыми глазами. На нем был полушубок и ва-

ленки, на голове -барашковая шапка.

Ах, Николай Нилыч! -сказал он, встрепенувшись, как будто даже заискивающе. Здравствуйте, здравствуйте! , Благодарю вас... Ну, что, как вы, -не соскучились?

Пока еще нет, -ответил Турбин, краснея и сисясь вложить в каждое слово не то что-то особенное, не то ироническое.

-Да, да... Постояли, помялись.

-Ну, так увидимся? До завтра?

Турбин опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой он шел очень быстро. Как быть, где взять крахмальную рубашку? В вышитой по-настоящему невозможно!

XII

Вечером он долго, с великим: трудом зашивал задник сапога нитками и замазывал их чернилами.

Все утро он ходил по комнатам в одном белье, умывался, несколько раз принимался чистить сапоги, пачкал и опять мыл руки и все думал о рубашке.

-Ничего не придумаешь! -говорил он, оставиваясь ереди комнаты. Послать к Сле-

пушкину? Немыслимо! Начнут судить, рядить ... дойдет до Линтварева... Гадость!

Но нечто подобное случилось.

Около полудня к крыльцу школы подлетела тройка Кондрата Семеныча. С мороза его лицо было особенно свежо и темно-красно. Подбородок был выбрит, усы чернели ярко и лихо. На нем была сюртучная пара; в передней он сбросил енотовую пшубу. Коренастый, приземистый, -об дорогу не расшибешь, что называется, -бойко прихрамывая, он быстро вошел к Турбину, крепко поцеловался с ним, причем на Турбина пахнуло морозной свежестью и запахом закуски, и тотчас принял живейшее участие в заботах о его наряде.

-Валяй, брат, валяй смелей!

Турбин, хотя и относился к Кондрату Семенычу, как к человеку пустому, однако знал, что Кондрат Семеныч «бывал в обществе» и может подать совет.

-Как валять-то? -говорил он, сдерживая улыбку. -Тут такая неприятная история! Рубашки крахмальной нет!

Кондрат Семеныч качнул головой.

-Это, брат, скверно. В вышитой явиться в

первый раз в дом -нахальство!

-Ну, так как же? -говорил Турбин растерянно.

-Ни черта, -сказал Кондрат Семеныч. -Не робей!

И, отворив форточку, он своим хриплым охотничьим голосом гаркнул:

-Васька! Домой валяй! Духом доставь рубашку крахмальную ... в сундуке, под летней поддевкой ...

Пока Василий ездил за рубашкой, Кондрат Семеныч рассказал, где он успел уже побывать, и с улыбкой сатира, от которой заблестели его маленькие карие глаза, вытащил из рукава шубы бутылку водки.

-Хвати для храбрости! Хочешь? -говорил он, обивая сургуч с горлышка.

-Ну уж нет!

-Что, думаешь, пахнуть будет? Ни капельки. Только чаем зажуй. А впрочем, черт с тобой. Нет ли чашечки?

Выпив и закусив кренделем, Кондрат Семеныч заговорил серьезно:

-Ты, брат, себя поразвязней держи, посвободнее. А то ведь будешь сидеть, как кнут

проглотил.

-А как брюки -ничего? -спрашивал Турбин.

Кондрат Семеныч оглядел их с полной добросовестностью и подумал.

-Сойдет! -сказал он решительно, -за милую душу сойдет.

Только вот смяты немного. Снимай, давай разгладим.

-Нет, нет, пустяки, -пробормотал Турбин, густо краснея.

-Ну, как знаешь.

Кондрат Семеныч лег на постель и вполголоса зашел:

Вода -для рыбы, раков, А мы, герои, водку пьем!

В это время Васька внес рубашку. Но едва Турбин надел ее, Кондрат Семеныч так и покатился со смеху.

-Нет... Не срамись! -хрипел он, задирая ее на голову Турбина, - не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была отвратительно -вся была грязно-синяя, ворот ее был непомерно широк.

-Декольте! -повторил Кондрат Семеныч сквозь смех. Турбин

снова покраснел и даже запотел от злобы.

-**Я** вам не шут гороховый! -крикнул он бешено.

-Да за что ж серчаешь-то? -заговорил Кондрат Семеныч растерянно. Сам тонок, как шест, хоть грачей доставать, а на меня серчает... Ну, хочешь, достану?

Не понимаю -где? -глядя в сторону, пробормотал Турбин.

-Да уж это мое дело. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью, накинул на себя шубу и выскочил на крыльцо. Рыженькая троечка подхватила под гору. Турбин бросился к дверям:

-Кондрат Семеныч! Кондрат Семеныч!

Но Кондрат Семеныч только рукой махнул.

-Это бог знает что такое! -сказал Турбин, чуть не плача. Это значит, всему заводу будет известно!"

Однако, когда Кондрат Семеныч через десять минут явился обратно и привез с собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкин самым задушевым тоном стал просить «не беспокоиться» и когда рубашка оказалась как раз впору, Турбин, весь красный от

волнения, начал улыбаться.

-Что вы беспокоитесь? говорил Таубкин фальцетом. -Что такое? Разве я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбин отказывался. Кондрат Семеныч преувеличенно расхваливал его костюм.

Наконец Турбин был готов. Он повеселел, хотя и чувствовал себя наряженным и точно связанным. Он садился то на один, то на другой стул.

-Вы к нему по делу? вдруг спросил Таубкин, как будто вскользь.

-Да, то есть так ... по делу отчасти.

-Так вам, пожалуй, пора.

Турбин уже давно думал про это. «Пожалуй, что и правда пора, -соображал он, -что же, к шапочному разбору-то прийти? Только хозяев в неловкое положение поставишь".»

-А который час?

-Четверть восьмого.

-Вали, брат, вали, -сказал Кондрат Семеныч.

-Пожалуй, -согласился Турбин, медленно подымаясь.

Напевая, Кондрат Семеныч накинул на себя шубу, осмотрел пальто Турбина.

-Молодец! -сказал он, смеясь глазами. -Хочешь, подвезу? Турбин

заторопился отказаться.

-Ну, черт с тобой! Едем.

Он сунулся лицом к лицу Турбина для поцелуя, ввалился в сани рядом с Таубкиным и крикнул:

Обрати посерьезнее внимание на Линтвариху. Хороша, анафема!

XIII

Уже подходя к аллее перед линтваревским домом, Турбин вдруг оробел, оглянулся и поспешно зашагал опять под гору. «Рано, рано, немыслимо так рано! ..»

Волнуясь, он дошел до моста и опять оглянулся. Вот будет скверно, если видели, что он приходил! Но никого не было кругом. Только на деревне горланили на «улице» девки. Из дома через аллею загадочно светились окна. Что там, в доме? Начался вечер или нет? И кто там, и что делают? А обстановка? «Небось люстры, паркет, бархат, фамильные портреты ... Вот отсчитаю сто... нет, двести, и тогда пой-

ду».

Вдруг на мосту послышался скрип шагов. Турбин быстро повернулся и, не оглядываясь, пойти побежал по аллее. Не думая, он быстро растворил дверь, шагнул через три ступеньки в сенях и стал шарить по притолке звонка. В дверях щелкнул замок, и нарядная горничная появилась на пороге.

Павел Андреевич дома?

Пожалуйста-с.

Горничная помогла ему снять пальто. Как в тумане, увидел он большую светлую залу, открытый блестящий рояль, тонкие стулья, тропические растения ... Поразили его только ширмочки около них из матового стекла; все остальное показалось ему чересчур просто. Цапаясь когтями по паркету, из столовой выбежала щеголеватотонкая черная собачка, а за нею быстро вышел Линтварев.

-Имею честь поздравить! -сказал Турбин и в смущении вынул носовой платок.

Предупредительно-ласково Линтварев пожал ему руку.

-Милости просим, милости просим!

И, пропуская Турбина вперед, повел его в

столовую.

-А, Николай Ничьи! -сказала Надежда Константиновна так, словно давно ждала его.

Турбин расшаркался, оглянулся. -Николай Ничьи Турбин... Господин Турбин ... -поспешно говорил хозяин.

Молодой, свежий, красивый флотский офицер встал быстро и поклонился с преувеличенной вежливостью. Невысокий, худощаво-широкоплечий, с обветренным, инородческого типа лицом доктор пожал ему руку просто и без улыбки. Пожилой, солидный господин, не вставая, сдержанно-вежливо наклонил голову.

-Присаживайтесь-ка! -сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать: «Ну, наконец-то, вот теперь все пойдет прекрасно».

Турбин сел, вытер платком лоб, все еще глядя словно через воду. То, что один из гостей не подал ему руки, заставило его ощутить пойти физическую боль в сердце.

-Николай Нилыч, вам сколько кусков сахара? — обратилась к нему хозяйка с улыбкой.

Турбин встрепенулся.

— Я бы попросил без сахара, -сказал он.

И он взял стакан, замирая от страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками к рукам Надежды Константиновны. Так как общий разговор на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну что, как ваша школа?

— Ничего, прекрасно, -ответил Турбин, и его голос ему показался чужим и слишком громким.

— А в Можаровке вы на все святки остались? -заботливо прибавил хозяин.

— Да, уж нынешний год, думаю ... решил так, что не ездить лучше.

— Да?

Линтварев наклонил голову, словно приятно изумился. Затем торопливо, с виноватой улыбкой -по необходимости, мол -обернулся к соседу:

Стараясь держаться свободнее, Турбин стал осматриваться.

XIV

Тот, что не подал руки Турбину, Беклемишев, был богатый помещик и видный человек в земстве. Он был плотен, родовит, с матовым цветом моложавого лица, сед. Держался

с удивительным хладнокровием. И Турбин старался не глядеть на него.

Земский доктор держался строго, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не пугали. Родственницы хозяйки, княжны Трипольские, часто вставляли свои замечания в рассказ Беклемишева о его поездке к министру Ермолову ленивым тоном, гримасничая, когда улыбались. Их Турбин уже видел несколько раз осенью, когда они амазонками проезжали по селу кататься. И у священника и у лавочника велись тогда бесконечные разговоры о них. От старого повара все знали, что княжны очень богаты, живут то в Петербурге, то в своем имении, то гостят у Линтварева, а больше всего - за границей.

-Что ж им? Катайся в свое удовольствие, да и только! — говорил лавочник с умилением.

Когда о Турбине забыли, он успокоился и только чувствовал себя как-то странно-хорошо в этой новой обстановке, среди легко развивающегося разговора, сидя около хозяйки, похожей на английскую леди: таких изящных черт лица, такой чистоты и нежности ко-

жи он еще никогда не видывал. А когда он вставал, так было легко и приятно отодвигать тонкий красивый стул, ходить по паркету в этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой над столом, видеть блеск серебряного самовара и посуды из тончайшего стекла. Было, правда, одно очень неприятное обстоятельство: во время рассказа Беклемишева Турбин, не зная, что делать, наклонился и поймал собачку; но та, как стальная, выско-чила из рук и при этом так пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за висок и все встрепенулись, обратили на него глаза, и Турбин готов был провалиться сквозь землю от смущения. Но сама же хозяйка и сумела замять эту историю: так непринужденно, словно ничего и не было, обратилась к нему: «Николай Нилыч, вы позволите еще чаю?» что он ободрился и смог очень ловко ответить:

«Нет, шегсі... достаточно уже».

Он выпил два стакана, наслаждаясь ароматом рома, который с тихой лаской подливал ему в чай хозяин, и от рома оживился, почувствовал смелость и верную упругость в ногах.

Он даже не смутился, когда приехало еще несколько человек гостей: красивая, полная вдова-помещица, завитая, с горящими от мороза ушками, старик-помещик, который немножко рисовался простотой, но которого все любили за эту простоту и тотчас окружили с веселыми улыбками, еврей-инженер, сухой, черненький, подвижной, вроде той собачки, которую поймал Турбин, и наконец член суда, такой чистый, как все судейские, свободный и веселый остряк, делавший умные, насмешливые глаза.

Говорили о театре. Трипольские с восторгом рассказывали об игре Заньковецкой в Петербурге, бранили Мазини, хвалили Фигнера ... рассказывали про своих знакомых, про поэта Надсона. Как будто желая описать, какой он милый и больной человек, княжны рассказывали, что он у них был в гостях, а потом они его навестили в Ницце. Член суда декламировал пародии Буренина на надсоновские стихи. Потом разговор разбился - в одном месте слышались имена земцев, в другом все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходил то к одной, то к дру-

гой группе и все время был в напряженном состоянии от желания хоть что-нибудь сказать. Но весь разговор шел

о неизвестном, и он молчал или смеялся сдержанно и неискренно, когда смеялись другие.

-А вы все о своем профессиональном образовании? -сказал он наконец, подходя к Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишев тихо поднял на него глаза.

-Нет, почему же", -сказал Линтварев, улыбаясь. Турбин,

тоже улыбаясь, продолжал:

-Вы хотите, как я слышал, так серьезно им заняться?

От неловкости Турбин подчеркивал слова, и их можно было принять за насмешку. Особенно нехорошо ему было от пристального и спокойного взгляда Беклемишева. Но все-таки он присел к столу, предварительно посмотрев на стул и раздвинув полы сюртука, расставил острыми углами свои тонкие ноги и, поставив локоть на колено, стал пощипывать кончики своих жидких белесых усов.

-Меня, по правде сказать, очень тпересует

этот вопрос, -сказал он, помолчав, как-то внешне-запно. -Я, конечно, говорю искренне".

-С какой же именно стороны вас интересует? -спросил Беклемишев.

-То есть как с какой стороны? Вообще ... в применении его в жизни.

Беклемишев, поставив руки на стол и соединяя ладони, смотрел, ровно ли приходятся пальцы один к другому. Линтварев старательно набивал машинкой папиросы.

-Я читал, -продолжал Турбин уже с усилием, -недавно в одной газетке про книжицу какого-то Бесселя о профессиональном образовании". Меня, собственно, удивило, что к его мыслям, очевидно, многие относятся враждебно: например, директор ремесленного училища цесаревича Николая". Мне кажется, что тут есть несправедливость". Он говорит, например, что школа, собственно, несовместима с мастерской...

То есть это, мягко перебил Линтварев, Песталоцци мнение, а Бессель, хотя и".

-Ну да, и Песталоцци, -перебил в свою очередь Турбин, и в нем уже загорелось желание спора. -Только, по моему мнению, это и по-

нятно". Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальчика мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать".

-Зачем же непременно безделушки? Турбин

развел руками.

-Мне, собственно, это все представляется как бы игрушками ... Мне трудно это объяснить, но все эти затеи". Говорят, подспорье хозяйству", но ведь смешно подпирать то, что разваливается окончательно". да и не соответствует все это духу нашего народа, истого земледельца ... А учить его, например, делать плетушки ...

-Ну да, ученого учить -только портить, -насмешливо сказал Беклемишев.

Турбин хотел продолжать, сказать, что он думает, более ясно и связно. Но Беклемишев, как бы забыв о его присутствии, тихо и спокойно промолвил Линтвареву:

-Да, так я думаю, что это еще гадательно: князь слишком глуп для этого, а Гарницкий - юн.

Линтварев виновато посмотрел на Турби-

на. Турбин смолк. Теперь ему хотелось одного -поскорее уйти из столовой. Но встать сразу было неловко.

-А я все хотел попросить у вас какой-либо книжицы из вашей библиотеки, -сказал он наконец, подымаясь.

-С величайшим удовольствием, -поспешил ответить Линтварев.

Турбин встал и медленно прошелся по столовой. Он долго стоял перед камином, рассматривал большой портрет Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу как-то болезненно. И, под предлогом, что он идет слушать, он вышел в залу.

XV

Играл член суда.

-Что это? -спросил сидевший около него старик-помещик, обращаясь к хозяйке.

-Соната Грига. Вы не знаете?

-Десять лет не играл, сказал помещик со вздохом, а хорошо!

-Чудо! -подтвердила хозяйка.

Музыка Грига решительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не

трогали его сердца. Он чувствовал, что она так же чужда ему, как все общество, окружавшее его. В начале вечера он все ждал, что будет что-то хорошее. Теперь это чувство ослабло. Он думал, что надо идти домой, что никому он не нужен. Никто даже не поинтересовался им, не поговорил, чтобы узнать,

что он за человек. Даже хозяин только предупредительно, беспокойно вежлив с ним ...

Музыка смолкла. «Посижу еще, послушаю немного и уйду», - решил Турбин. Но поднялся разговор о Григе. Старик-помещик добродушно-насмешливо покачивал головой. «Хорошо, а не забирючивает», говорил он. Член суда горячился, доказывая, что «Григ великолепен».

И, покачивая головою, тихо начал «Белые ночи» Чайковского:

Какая ночь! На всем какая нега!

Турбин не знал ни этих слов, ни Чайковского; но при первых же чистых звуках мелодии у него дрогнуло сердце: что-то нежно-призывающее было в них; а когда эти зовущие звуки определились в томительно-грустные, Турбину захотелось плакать.

Но рояль стих. Турбин встал: ему хотелось

еще музыки, но он не знал, что назвать. Он подумал о «Молитве девы»... но это было как-то неловко сказать.

-Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь, - обратился он к члену суда.

-Что же? -спросил тот, перебирая ноты.

-Что-нибудь Бетховена.

Член суда посмотрел на него внимательно.

-Сонату? -спросил он.

Турбин в смущении качнул станом.

-Да, сонату...

-Какую же?

-Все равно ... -пробормотал Турбин, чувствуя, что над ним смеются.

Но тут позвали к столу. Турбин настроил себя чинно и шел медленнее всех.

Хозяин особенно хвалил и предлагал се-ледку. Член суда, с видом знатока, попробовал ее и нашел «гениальной».

-Николай Нилыч! Водки? -сказал хозяин.

-Можно! -ответил Турбин.

-Хинной или простой?

-Хинной так хинной.

-Так будьте добры -распоряжайтесь сами.

-Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожа-

луйста!

Около стола теснились, оживленно переговаривались. С тарелкою в руках Турбин долго стоял в конце всех. Он не обедал и с особенным удовольствием выпил рюмку водки, погонялся вилкой за ускользящим грибком и ограничился на первое время пирогом. После первой же рюмки он почувствовал легкий хмель, очень захотел есть и долго, поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ел одних омаров. Член суда уже дружески предлагал ему выпить с ним, и Турбин выпил еще рюмку простой водки. И водка и дружеский тон члена суда совсем размягчили его.

Первые минуты опьянения он чувствовал себя так же, как в самом начале вечера: как сквозь воду видел блеск огней и посуды, лица гостей, слышал говор и смех, чувствовал, что теряет способность управлять своими словами и движениями, хотя сознавал еще все ясно. Раскрасневшееся, потное лицо затягивало паутиной; в голове слегка шумело. Но все-таки он старался оглядываться смело и весело своими томными глазами. Ему было жарко. Когда же Линтварев (Турбину казалось, что и

Линтварев запьянел) взял его под руку и повел к столу ужинать, он почувствовал себя очень большим и неловким.

-Не выпьем ли еще по единой? -сказал член суда.

-Блаженный Теодорит велит повторить, - отвечал Турбин со смехом.

-Repetitio est mater studiorum* . Не так ли? - промолвил с другого конца флотский офицер, явно подделываясь под семинарскую речь.

Турбин понял это и вызывающе поглядел на офицера. -«Ну, и черт с тобой!»подумал он и, усмехаясь, крикнул:

-Optime!**

Член суда поспешил налить. Хозяйка как будто вскользь, но значительно поглядела на него. И это Турбин заметил, но никак не мог обидеться: так просто и тепло стало у него на душе.

-Да и последняя! -сказал он, выпивая и махая рукой. -**Я** и так мокрый, как мышь.

Удерживаясь от смеха, младшая княжна зажала рот платком.

Ужин, как показалось, прошел чрезвычай-но быстро. Турбин запомнил только, что ел

горячий ростбиф, что сои огнем охватили ему рот, что он пил мадеру, лафит и плохо сообразил, о чем идет говор.

*** Повторение -мать учения (лат.)**

****Превосходно! (лат.)**

Когда подали шампанское (был день рождения хозяйки), Турбин быстро встал и оглушительно крикнул «ура!». Но за оживлением на это не обратили особенного внимания. Все столпились в кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтварев, с бокалом в одной руке, прижимал другую к сердцу и старался казаться и тронутым и шутливым.

-Ура! -крикнул еще раз Турбин, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

-Не стуйт! -шепнул доктор, сжимая ему локоть.

-Ну, не надо ...

И, улыбаясь, Турбин медленно пошел в залу. Теперь он уже освоился с тем, что не может управлять собою.

XVI

В зале Прохор Матвеич разносил чай, снова предложенный хозяином. «Люблю, грешный человек! -говорил он. -Господа, кто желает»

ет китайского зелья?» Все приняли это предложение с шумными одобрениями, как на земских собраниях: «Просим, просим! ..»

-Сергей Львович, сыграть просим! -крикнул хозяин.

-Благодарю, господа, я чувствую себя слишком утомленным, -отнекивался Сергей Львович, продолжая пародировать гласных. Но тут поднялся такой шум и крик, что отказываться стало невозможно.

-Просим! -крикнул Турбин уже после всех.

-Давненько я не брал в руки шашек, -говорил Сергей Львович, кряхтя и усаживаясь за рояль.

-Сергей Львович! Вебера! -крикнул член суда. Сергей

Львович поднял брови и подумал.

-Нет, -сказал он с улыбкой, -попробуем блеснуть техникой. Ну-ка ...

-Тарантелла ... -шепнул флотский офицер. -Николая Рубинштейна.

Член суда утвердительно кивнул головой.

Из медленных, в которых сказывалась хитрая, сдержанная удаль, звуки быстро превратились в шумные, быстрые и затрепетали в

каком-то диком восторге. Возгласы одобрения поминутно заглушали их. Казалось, что, если бы танец не кончился, можно было бы задохнуться от напряжения ... Турбин хохотал нервным смехом.

-Вот это так так, -бормотал он в восторге.

-А теперь, -крикнул Линтварев, -гроссфатер!

Под церемонные звуки старинной музыки дамы во главе с хозяином и членом суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемешались и со смехом остановились.

-Ну, лянсье! -взывал хозяин.

-Не выйдет!

-Выйдет!

Турбин тоже порывался танцевать и быстро оглядывался кругом.

-Сергей Львович! -вдруг завопил он. Пожалуйста! .. ту, веселую

-Тарантеллу?

-Да, да!

Сергей Львович мельком взглянул на него и ударил по клавишам. И не успели опомниться гости и хозяйева, как произошло нечто

дикое: не слушая музыки, без всякого такта Турбин вдруг зашаркал ногами, потом все быстрее, быстрее пошел мелкой дробью и вдруг стукнул в паркет, подпрыгнул и пустил руки между ногами, словно разрубил что-то со всего размаха.

-Браво! -крикнул кто-то насмешливо. -Бис!

И под разрастающиеся звуки Турбин охотно побежал назад, заплетая и размахивая ногами как веслами, хотел еще раз стукнуть в пол -и вдруг замер: в двух шагах от него стоял отец Линтварева! Шаркая и подаваясь вперед, он поторопился из маленькой гостиной, где играл в карты, на шум в зале. Увидев пляску, он с изумлением поднял свою седую большую голову и, приложив к переносице пенсне, глядел прямо в лицо Турбину остановившимися глазами.

Турбин качнулся в сторону и с жалкой улыбкой махнул рукой. Доктор быстро подошел к нему.

-Пойдемте, батенька, домой, -сказал он ему строго.

-Нет, чего же? -ответил Турбин. -Я еще не хочу.

Лицо его было бледно, холодный пот крупными каплями покрывал лоб.

-Нельзя, нельзя, -повторил доктор еще строже и, взяв его под руку, повел в переднюю.

Турбин, приплясывая, покорно пошел ...

XVII

Спал или не спал он, добравшись домой? До головокружения живы и беспокойны были сновидения. Казалось, что он все еще в гостях: люди двигались, перетасовывались, проходили перед ним как в пантомиме, и он сам во всем участвовал и чувствовал, что все выходит хорошо и ловко, хотя и беспокоит что-то, спутывает все. Турбин старался вспомнить, что же это мешает, и никак не мог, и мучился, осаждаемый сновидениями. Истомленный до последней степени, он наконец открыл глаза. Дневной свет сразу отрезвил его, -стыд, жгучий стыд до слез, до физической боли пронзил его душу. Он стиснул зубы, крепко прижал голову к подушке.

Вдруг он вскочил. Он решился переломить себя, задавить все эти воспоминания. Он поспешно одевался, убирал комнату. В ногах бы-

ла слабость, но голова не болела. Он старался делать все как можно правильнее и серьезнее. И в то же время беспокойно выискивал оправдание себе...

Отворилась дверь.

-Самовар-то ставить, что ль? -спросил Павел.

-А почему же не ставить? -хрипло крикнул Турбин.

-Да то-то, мол, надо ли?

Турбин отвернулся и еще крепче стиснул зубы. Павел помолчал, потом вдруг лукаво взглянул Турбину в глаза и, с просиявшим лицом, быстрым шепотом спросил:

-Ай слетать к Ивану Филимонычу?

-Это зачем?

-За похмелочкой? А?

-Убирайся ты от меня к шуту со своими бессмысленными глупостями! -закричал Турбин, багровея от злобы.

После чая он лежал на кровати и с глухой яростью придумывал самые оскорбительные фразы, которые, вероятно, посыпались по его адресу, как только он вышел, в доме Линтварева. А на селе! С какими глазами показаться

теперь на село?

Однако он заставил себя одеться и пошел к дьячку обедать. «Знают или нет?» думал он, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки он постарался идти как можно медленнее.

-С праздником, Иван Филимоныч! -сказал он, увидя лавочника, стоявшего около саней с ящиком водки.

Лавочник считал бутылки, передавая их в лавку мальчику, и ответил учтиво и поспешно:

-И вас также! Милости просим.

-Постараюсь.

Николай Нилыч теперь загордел, вдруг раздался голос лавочницы с крыльца.

Она смотрела на Турбина насмешливо-пристально. Лавочник вдруг обернулся к ней с строгим взглядом, и по одному этому взгляду Турбин понял, что все известно, все... и с замирающим сердцем поспешил скрыться в избе дьячка.

Обед прошел спокойно. Но, когда Турбин уже поднялся из-за стола, дьячок, глядя в сторону, сказал так, словно продолжал давно на-

чатый разговор:

-И совсем не стоило туда ходить. И батюшка то же говорит, и Иван Филимоныч.

Турбина словно ударили по голове.

-Куда это? -через силу спросил он.

-Если, гырт, -продолжал дьячок уныло-невозмутимым тоном, - если, гырт, съесть-спить, так и у меня был бы сыт, не попрекнул бы куском ... Да и правда: не нам с вами бывать у таких персон!

-Ну, да я... я, отец Алексей, кажется, сам не маленький ...

Дьячок только вздохнул. Дрожащими руками Турбин нашел скобку и хлопнул дверью.

-И прекрасно! И прекрасно! -с злобной радостью похохатывал он, почти бегом взбираясь на гору.

XVIII

-Дома? -раздался в передней голос Слепушкина, как только Турбин вошел к себе и, скинув пальто, упал на постель.

Павел отвечал что-то торопливым шепотом.

-Ну, ну, не надо; не буди... бог с ним.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбин лежал без движения ...

-Поздравляю! -раздался вдруг крик Кондрата Семеныча, со смехом ввалившегося в комнату. -Ты, говорят, черт знает каких штук там натворил? Какой это ты танец своего изобретения плясал?

-Оставьте, пожалуйста, меня в покое! -тихо ответил Турбин.

-Да нет, как же, брат, ты, говорят, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрат Семеныч присел на кровать и продолжал уже с искренним участием, обращаясь к Турбину, как к заведомому пьянице:

-Гм, пожалуй, правда, свинство! Ты бы хоть на первый-то раз поддержался немного ... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, с места попрут...

А через полчаса на столе стояла бутылка водки. Турбин, уже захмелевший, облокотившись на стол и положив голову на руки, сидел молча.

-Черт знает что!-заговорил Кондрат Семеныч, -говарят, тебя за крыльцо выкинули?

-Кто это?

-Что?

-Говорит-то?

-Слепушкин.

Турбин злорадно захохотал.

А Кондрат Семеныч с серьезным лицом грустно продолжал:

-Он, брат, Линтварев-то этот, глумился над тобой. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью ! Подло, брат! Мне тебя от души жаль.

Турбин вдруг сморщился, захлюпал, хотел что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнул.

-Ну, вот, опять готов!-сказал Кондрат Семеныч с сожалением. -Тебе, брат, стоит бросить пить.

-Да не пьян я! -закричал Турбин бешено, с красными, полными слез глазами, и треснул кулаком по столу.

XIX

-Э-эй, держись! -крикнул Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась в темноте под гору и толпа ребят и девок, как стадо овец, шарахнулась в сторону.

Взрыв хохота и криков на время покрыл звон колокольчиков ... Мелькнули огни кабака ... Турбина охватило отчаянное чувство смелости и веселья.

-Делай!-крикнул он Ваське.

Сани налетели на водовозку, сбили ее в сторону. Около завода какая-то фигура выпрыгнула из темноты и упала на ноги Турбина.

-Митька? Ты? -крикнул Кондрат Семеныч.

-Ребята гнались, -молчи!

И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.

В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоники. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания ...

Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно ... Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от

черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаянные!» кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

-А это чей же будет?

-Свой, тетка! -ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился на сидящих и задрал ноги.

А через минуту он был опять в санях.

Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:

-К печнику!

-Попала шлея под хвост! -подхватил Турбин.

XX

От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете

любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаявали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, покрасневшая хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.

-Ешьте, что ль, ветчину-то !-кричала хозяйка.

Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.

На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с

Васькой лихо играли на двух гармониках «барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками.

Посылала меня мать

Караулить гусака, -
вычитывала хозяйка.

Уж я ее кнутом,

И кнутом, и прутом, -

бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бок.

-Делай! -повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?»спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «барыню» стучать сапогами в пол.

А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, «Бубен», огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отво-

рлял дверь.

-Не пускай, ну его к черту! -говорил Кондрат Семеныч.

-Ну, что ты? Кого тебе? -спрашивала хозяйка, загораживая порог.

Улыбаясь и качаясь, «Бубен» придерживался за притолку и говорил:

-Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

-Никого тут нетути. Иди.

-Буде, буде толковать-то!

-Тури его в шею! -кричал Кондрат Семеныч.

У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.

Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо

шептала:

-Что ты, что ты? Ай подеялось?.. Ай очумел?" Ох, батюшки, пусти, пусти-и... Тут погребница!"

И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шепот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу... потом потерял всякое представление о том, где он".

Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шепотом:

-Пить". Бога ради пить!"

Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями. Хо-

лод плыл по ногам. Еле-еле светало. В сум-
тном сумраке было видно несколько человек,
спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал
шарить по печуркам спичек; в печурках бы-
ли какие-то сырые теплые перья; на трубке
лежала деревянная

спичечница, но она была

пуста. Турбин задыхался от жажды.

-Бога ради, напиться! -сказал он громко.

-Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопли-
во и неловко стала завязывать юбку и завер-
тывать под платок сбитые волосы.

-Пить нет ли? Душа запеклась!

-Посмотри в угле, в щербатом чугуниче.

Турбин с жадностью припал к чугунику.
Но квас был так кисел и холоден, что Турбина
с первых глотков подхватила лихорадка, и, не
попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, че-
рез Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат
Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.

Какой-то тяжелый запах и тепло охватили
Турбина, и он заснул как убитый. Но и этот
сон продолжался как будто мгновение. Зато-
пили печку по-черному, и дым, пеленой потя-

нувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он

зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так проспал до самых завтраков.

В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя сигарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

-Вот-те и педагог! -оказал он с сожалением.
-Пропал малый!

-Сирота небось! -задумчиво произнес печник.

1894

В ПОЛЕ

И Темнеет, к ночи поднимается вьюга ...
Завтра рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; слабо брезжит синева то-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи.

Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек...

В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных

дорог, стоит хутор. Даже деревушка, которая когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь в верстах в пяти от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку - Лучезаровскими Двориками.

Лучезаровка! Шумит, как море, ветер во круг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится по-земка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками: господским домом, «каретным» сараем и «людской» избой. Все постройки на старинный лад - низкие и длинные. Дом обшит тесом; передний фасад его глядит во двор только тремя маленькими окнами; крыльца - с навесами на столбах; большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет этой крыши и узкая, кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея ...

И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи! Все за-

бито снегом, все спит безжизненным сном под напевы степного ветра, среди зимних полей. Волки бродят по ночам около дома, приходят из лугов по саду к самому балкону.

Когда-то ... Впрочем, кто не знает, что было «когда-то»! Теперь числится при Лучезаровке уже всего-навсего двадцать восемь десятин распашной и четыре десятины усадебной земли. В город переселилась семья Якова Петровича Баскакова: Глафира Яковлевна замужем за землемером, и почти круглый год живет у нее и Софья Павловна. Но Яков Петрович -старый степняк. Он на своем веку прогулял в городе несколько имений, но не пожелал кончать там «последнюю треть жизни», как выражался он о человеческой старости. При нем живет его бывшая крепостная, говорливая и крепкая старуха Дарья; она нянчила всех детей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковском доме. Кроме нее, Яков Петрович держит еще работника, заменяющего кухарку: кухарки не живут в Лучезаровке больше двух-трех недель.

-Тот-то у него будет жить! -говорят они. - Там от одной тоски сердце изноет!

Поэтому-то и заменяет их Судак, мужик из Двориков. Он человек ленивый и неуживчивый, но тут ужился. Возить воду с пруда, топить печи, варить «хлебово», месить резку белому мерину и курить по вечерам с барином махорку - невелик труд. Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на человеческое жилище. Но на что нужны амбары, рига и скотные дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и хоть некоторое время пожить на них веселее, чем обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его другой, более верный друг.

-Селям алекюм! -раздавался старческий голос в какой-нибудь хмурый день в «девичьей»лучезаровского дома.

Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович! У порога почтительно стоял и, улыбаясь, раскланивался маленький седой человек, уже разбитый, хилый, но всегда бодрящийся, как все бывшие дворовые люди. Это прежний денщик Якова Петровича, Ковалев. Сорок лет прошло со времени Крымской кампании, но каждый год он является перед Яковом Петровичем и приветствует его теми словами, которые напоминают им обоим Крым, охоты на фазанов, ночевки в татарских саклях...

-Алекюм селям! -весело восклицал и Яков Петрович. -Жив?

-Да ведь севавтопольский герой-то, -отвечал Ковалев. Яков

Петрович с улыбкой осматривал его тулуп, крытый солдатским сукном, старенькую поддевичку, в которой Ковалев казался седеньким мальчиком, поярковые валенки, которыми он так любил похвастать, потому что они

поярковые".

-Как вас бог милует? -спрашивал Ковалев.

Яков Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая, стриженная голова, седые усы, добродушное, беспечное лицо с маленькими глазами и «польским» бритым подбородком, эспаньолка...

-Байбак еще, -шутил в ответ Яков Петрович. -Ну, раздевайся, раздевайся! Где пропал? Удил, огородничал?

-Удил, Яков Петрович. Там посуды полой водой унесло нынешний год -и не приведи господи!

-Значит, опять в блиндажах сидел?

-В блиндажах, в блиндажах ...

-А табак есть?

-Есть маленько.

-Ну, садись, давай завертывать.

-Как Софья Павловна?

-В городе. Я был у ней недавно, да удрал скоро. Тут скука смертная, а там еще хуже. Да и зятек мой любезный ... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, интересан!

-Из хама не сделаешь пана!

-Не сделаешь, брат... Ну да черт с ним!

-Как ваша охота?

-Да все пороху, дроби нету. На днях раз-
жился, пошел, пришиб одного косолобого ...

-Их нынешний год страсть!

-Про то и толк-то. Завтра чем свет зальем-
ся.

-Обязательно.

-Я тебе, ей-богу, от души рад! Ковалев
усмехался.

-А шашки целы? -спрашивал он, свернув
цигарку и подавая Якову Петровичу.

-Целы, целы. Вот давай обедать и срежем-
ся!

11

Темнеет. Наступает предпраздничный ве-
чер.

Разыгрывается на дворе метель, все боль-
ше заносит снегом окошко, все холоднее и су-
мрачнее становится в «девичьей». Это ста-
ринная комнатка с низким потолком, с бре-
венчатыми, черными от времени стенами и
почти пустая: под окном длинная лавка, око-
ло лавки простой деревянный стол, у стены
комод, в верхнем ящике которого стоят тарел-
ки. Девичьей по справедливости она называ-

лась уже давным-давно, лет сорок - пятьдесят тому назад, когда тут сидели и плели кружева дворовые девки. Теперь девичья - одна из жилых комнат самого Якова Петровича. Одна половина дома, окнами на двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад, - из гостиной и залы. Но зимой лакейская, гостиная и зала не топятся, и там так холодно, что насквозь промерзает и ломберный стол, и портрет Николая 1.

В этот непогожий предпраздничный вечер в девичьей особенно неуютно. Яков Петрович сидит на лавке и курит. Ковалев стоит у печки, склонив голову. Оба в шапках, валенках и шубах; баранье пальто Якова Петровича надето прямо на белье и подпоясано полотенцем. Смутно виден в сумраке плавающий синеватый дым махорки. Слышно, как дребезжат от ветра разбитые стекла в окнах гостиной. Метель бушует кругом дома и часто прерывает разговор его обитателей: все кажется, что кто-то подъехал.

-Постой! -вдруг останавливает Ковалева Яков Петрович.

-Должно быть, это он.

Ковалев смолкает. И ему почудился скрип саней у крыльца, чей-то голос, невнятно донесшийся сквозь шум метели...

-Поди-ка посмотри, -должно быть, приехал.

Но Ковалеву вовсе не хочется выбежать на мороз, хотя и он с большим нетерпением ожидает возвращения Судака из села с покупками. Он прислушивается очень внимательно и решительно возражает:

-Нет, это ветер.

-Да что тебе, трудно посмотреть-то?

-Да что ж смотреть, когда никого нет?

Яков Петрович вздергивает плечами; он начтает раздражаться".

Так было все хорошо складывалось". Приезжал богатый мужик из Калиновки с просьбой написать прошение к земскому начальнику (Яков Петрович славится в околотке как сочинитель прошений) и привез за это курицу, бутылку водки и рубль денег. Правда, водка была выпита при самом сочинении и чтении прошения, курица в тот же день зарезана и съедена, но рубль остался цел, Яков Петрович приберег его к празднику... Потом вчера

утром внезапно явился Ковалев и принес с собой кренделей, полтора десятка яиц, да еще и шестьдесят копеек. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить. В конце концов, развели в чашке сажи из печки, заострили спичку и жирными, крупными буквами написали в село к лавочнику: «В харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. махорки полуотборной, 1,000 спичек, 5 сельдей маринованных,

2 ф. масла конопляного, 2 осьмушки фруктового чаю, 1 ф. сахару и 1 1 /2 ф. жамок мятных».

Но Судака нет с самого утра. А это влечет за собой то, что предпраздничный вечер пройдет вовсе не так, как думалось, и, главное, придется самим идти за соломой в омет; от вчерашнего дня соломы осталось в сенцах чуть. И Яков Петрович раздражается, и все начинает рисоваться ему в мрачных красках.

Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые... Вот уж около полугода он не видал ни жены, ни дочери". Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее".

-А, да черт его побери совсем! -говорит Яков Петрович свою любимую успокаивающую фразу.

Но сегодня она не успокаивает ...

-Ну, и холода же завернули! -говорит Ковалев.

-Ужаснейший холод! -подхватывает Яков Петрович. -Ведь тут хоть волков морозь! Смотри ... Хх! Пар от дыхания видно!

-Да, -продолжает Ковалев монотонно. -А ведь, помните, мы под Новый год когда-то цветочки рвали в одних мундирчиках! Под Балаклавой-то ...

И опускает голову.

-А он, видимое дело, не приедет, -говорит Яков Петрович, не слушая. -Мы в дурацкой ажитации, ни больше ни меньше!

-Не ночевать же он останется в харчевне!

-А ты что думаешь? Ему очень нужно!

-Положим, здорово метет...

-Ничего там не метет. Обыкновенно, не лето ...

-Да ведь трус государственный! Замерзнуть боится ...

-Да как же это замерзнуть? День, дорога та-

бельная ...

-Постойте! -перебивает Ковалев. -Кажется, подъехал ...

-Я говорю тебе, выйди, посмотри! Ты, ей-богу, совсем отетеревел нынче! Надо же самовар ставить и соломы надергать.

-Да ведь, конечно, надо. А то что ж там делаешь ночью? Ковалев

соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовлениями к топке: он подставляет к печке стул, взлезает на него, отворяет заслонку и вынимает вьюшки. В трубе начинает завывать на разные голоса ветер.

-Впусти хоть собаку-то! -говорит Яков Петрович.

-Какую собаку? -спрашивает Ковалев, кряхтя и слезая со стула.

-Да что ты дураком-то прикидываешься? Флембо, конечно, -слышишь, визжит.

Правда, Флембо, старая сука, жалобно повизгивает в сенцах.

-Надо бога иметь! -прибавляет Яков Петрович. -Ведь она замерзнет ... А еще охотник! Лодырь ты, брат, как я погляжу! Уж правда бай-

бак.

-Да оно и вы-то, должно быть, из той же породы, -улыбается Ковалев, отворяет дверь в сенцы и впускает в девичью Флембо.

-Затворяй, затворяй, пожалуйста! -кричит Яков Петрович.

-Так и понесло по ногам холодом ... Куштут! -грозно обращается он к Флембо, указывая пальцем под лавку.

Ковалев же, прихлопывая дверь, бормочет:
-Там несет -свету божьего не видно! .. А, должно быть, скоро нас потащут в Богословское! Вот-вот отец Василий припожалует за нами. Я уж вижу. Всё мы ссоримся. Это перед смертью.

-Ну, уж это обрекай себя одного, пожалуйста, -возражает Яков Петрович задумчиво.

И опять выражает свои мысли вслух:

Нет, я уж больше не буду сидеть в этом тырле сторожем!

Кажется, скоро-скоро затрещит эта проклятая Лучезаровка."

Он разворачивает кисет, насыпает сигарку махоркой и продолжает:

-Дошло до того, что завяжи глаза да беги со

двора долой! А все моя доверчивость дурацкая да друзья-приятели! Я всю жизнь был честен, как булат, я никому ни в чем не отказывал ... А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? Вон у племянничка, Арсентия Михалыча, тысяча десятин, да разве у них есть догадочка помочь старику? А уж сам я по чужим людям не пойду кланяться! Я самолюбив, как порох!

И, окончательно раздраженный, Яков Петрович совсем зло прибавляет:

-Однако телиться нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалев еще больше сторбливается и запускает руки в рукава тулупа. Ему так холодно, что у него стынет кончик носа, но он все еще надеется, что как-нибудь «обойдется» ... может быть, Судак подъедет ... Он отлично понимает, что Яков Петрович ему одному предлагает отправляться за соломой.

-Да ведь телиться! -говорит он. -Ветер-то с ног сшибает...

-Ну, барствовать теперь не приходится!

-Побарствуешь, когда поясницу не разо-

гнешь. Не молоденькие тоже! Слава богу, двум-то нам под сто сорок будет.

-Уж, пожалуйста, не прикидывайся мерзлым бараном!

Яков Петрович тоже отлично понимает, что один Ковалев ничего не поделает в занесенном снегом омете. Но и он надеется, что как-нибудь обойдется без него...

Между тем в девичьей становится уже совсем темно, и Ковалев наконец решается посмотреть, не едет ли Судак. Шаркая разбитыми ногами, идет он к двери ...

Яков Петрович пускает через усы дым, и так как ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимают несколько иное направление.

-Гм! -бормочет он. -Как вам это покажется? Хорош праздничек! Лопать, как собаке, хочется. Ведь недалото царства нету ... Прежде хоть венгерцы ездили!.. Ну, погоди же, Судак!

Двери в сенцах хлопают, вбегают Ковалев.

- Нету! -воскликает он. -Как провалился! Что ж теперь делать? В сенцах соломы чуть!

В снегу, в тяжелом тулупе, маленький и сторбленный, он так жалок и беспомощен.

Яков Петрович вдруг подымается.

-А вот я знаю, что делать! -говорит он, осененный какой-то хорошей, мыслью, -наклоняется и достает из-под лавки топор.

-Эта задача очень просто разрешается, -прибавляет он, опрокидывая стул, стоящий около стола, и взмахивает топором. -Таскай пока солому-то! Черт его побери совсем, мне свое здоровье дороже стула!

Ковалев, тоже сразу оживившийся, с любопытством смотрит, как летят щепки из-под топора.

-Ведь там небось еще на потолке много? -подхватывает он.

-Валяй на чердак да самовар вытрясай!

В растворенную дверь несет холодом, пахнет снегом... Ковалев, спотыкаясь, таскает в девичью солому, ручки старых кресел с чердака...

- За милую душу истопим, -твердит он. -Крендели еще есть... Яиц бы напечь!

-Тащи их на кон. А то сидим плакучими ивами!

III

Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая бушует метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются к ее шуму. Поставили в сенцах самовар, затопили в кабинете печку и оба сели около нее на корточки.

Славно охватывает тело теплом! Иногда, когда Ковалев запихивал в печку большую охапку холодной соломы, глаза Флембо, которая тоже пришла погреться к двери кабинета, как два изумрудные камня, сверкали в темноте. А в печке глухо гудело; просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок кабинета мутно-красные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью, прыскали, с треском лопаясь, хлебные зерна ... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсем овладевало соломой, и когда от нее оставалась только дрожащая груда «жара», словно раскаленных, золотистоогненных проволок, когда эта груда опадала, блекла, Яков Петрович скидывал с себя пальто, садился задом к печке и поднимал на спине рубаху.

-Аа-аа, -говорил он. Славно спину-то нажать!

И когда его толстая спина становилась баг-

ровой, отскакивал от печки и накидывал тулуп.

-Вот так пробрало! А то ведь беда без бани". Ну да уж нынешний год обязательно поставлю!

Это «обязательно» Ковалев слышит каждый год, но каждый год с восторгом принимает мысль о бане.

-Добро милое! Беда без бани, соглашается он, нагревая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорели, Ковалев поджаривал в печке крендели, отклоняя от жара пылающее лицо. В темноте, озаренный красноватым жерлом печки, он казался бронзовым. Яков Петрович хлопотал около самовара. Вот он налил себе в кружку чаю, поставил ее около себя на лежанке, закурил и, немного помолчав, вдруг спросил:

-А что-то теперь поделывает премилая сова?

Какая сова? Ковалев хорошо знает, какая сова! Лет двадцать пять тому назад он подстрелил сову и где-то на ночлеге сказал эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и,

как десятки других, повторяется Яковом Петровичем. Сама по себе она, конечно, не имеет смысла, но от долгого употребления стала смешной и, как другие, подобные ей, влечет за собой много воспоминаний.

Очевидно, Яков Петрович совсем повеселел и приступает к мирным разговорам о былом. И Ковалев слушает с задумчивой улыбкой.

-А помните, Яков Петрович? -начинает он".

Медленно протекает вечер, тепло и светло в маленьком кабинете. Все в нем так просто, незатейливо, по-старинному: желтенькие обои на стенах, украшенных выцветшими фотографиями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарский вид), низкий потолок оклеен «Сыном отечества»; перед окном дубовый письменный стол и старое, высокое и глубокое кресло; у стены большая кровать красного дерева с ящичками, над кроватью рог, ружье, пороховница; в углу образничка с темными иконами". И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрелись. Яков Петрович сидит в валенках и в одном белье, Ковалев - в

валенках и поддевочке. Долго играли в шашки, долго занимались своим любимым делом -осматривали

одежду -нельзя ли и как-нибудь вывернуть? -искроили и а шапку старую «тужурку»; долго стояли у стола, мерили, чертили мелом ... Настроение у Якова Петровича самое благодушное. Только в глубине души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздник, он один... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!

-Ну, -говорит Яков Петрович, -возьми эту шапку себе.

-А вы-то как же? -спрашивает Ковалев.

-У меня есть.

-Да ведь одна вязаная?

-Так что ж? Бесподобная шапка!

-Ну, покорнейше благодарим.

У Якова Петровича страсть делать подарки. Да и не хочется ему шить...

-Который-то теперь час? -размышляет он вслух.

-Теперь? -спрашивал Ковалев. -Теперь десять. Верно, как в аптеке. Я уж знаю. Бывало, в Петербурге, по двое серебряных часов нашивал ...

-Да и брешешь же ты, брат! —замечает Яков Петрович ласково.

-Да нет, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то! Яков

Петрович рассеянно улыбается.

-То-то, должно быть, в городе-то теперь! -говорит он, усаживаясь на лежанку с гитарой. -Оживление, блеск, суета! Везде собрания, маскарады!

И начинаются воспоминания о клубах, о том, сколько когда выиграл и проиграл Яков Петрович, как иногда Ковалев вовремя уговаривал его уехать из клуба. Идет оживленный разговор о прежнем благосостоянии Якова Петровича. Он говорит:

-Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне не на кого пенять. А судить меня будет уж, видно, Бог, а не Глафира Яковлевна и не зятек миленький. Что ж, я бы рубашку им отдал, да у меня и рубашек-то нету ... Вот я ни на кого никогда не имел злобы ... Ну да все прошло, пролетело ... Сколько было родных, знакомых, сколько друзей-приятелей -и все это в могиле!

Лицо Якова Петровича задумчиво. Он иг-

рает на гитаре и поет старинный печальный романс.

Что ты замолк и сидишь одиноко? поет он в раздумье:

Дума лежит на угрюмом челе... Иль ты не видишь бокал на столе?

И повторяет с особенной задушевностью:

Иль ты не видишь бокал на столе?

Медленно вступает Ковалев.

Долго на свете не знал я приюту. -

разбитым голосом затягивает он, сторбившись в старом кресле и глядя в одну точку перед собою.

Долго на свете не знал я приюту. вторит

Яков Петрович под гитару:

Долго носила земля сироту, Долго имел я в душе пустоту...

Ветер бушует и рвет крышу. Шум у крыльца ... Эх, если бы хоть кто-нибудь приехал! Даже старый друг, Софья Павловна, забыла ...

И, покачивая головой, Яков Петрович продолжает: Раз в незабвенную жизни минуту,

Раз я увидел созданье одно,

В коем все сердце мое вмещено ...

В коем все сердце мое вмещено ...

Все прошло, пролетело... Грустные думы клонят голову... Но печальной удалью звучит песня:

Что ж ты замолк и сидишь одиноко?

Стукнем бокал о бокал и запьем Грустную думу веселым вином!

-Не приехала бы барыня, -говорит Яков Петрович, дергая струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядеть на Ковалева.

-Кого! -отзывался Ковалев. -Очень просто.

-Избавь бог плутает ... В рог бы потрубить ... на всякий случай ... Может быть, Судак едет. Ведь замерзнуть-то недолго. По человечеству надо судить...

Через минуту старики стоят на крыльце. Ветер рвет с них одежду. Дико и гулко заливаются старый звонкий рог на разные голоса. Ветер подхватывает звуки и несет в непроглядную степь, в темноту бурной ночи.

-Гоп-гоп! -кричит Яков Петрович.

-Гоп-гоп! -вторит Ковалев.

И долго потом, настроенные на героический лад, не унимаются старики. Только и слышится:

-Понимаешь? Они тысячами с болота на

овсяное поле! Шапки сбивают!.. Да все матери, кряковые! Как ни дам -просто каши наварю!

Или:

Вот, понимаешь, я и стал за сосной. А ночь месячная хоть деньги считай! И вдруг прет... Лобище вот этакий... Как я его брызну!

Потом идут случаи замерзания, неожиданного спасения ... Потом восхваление Лучезаровки.

-До смерти не расстанусь! -говорит Яков Петрович. -Я все-таки тут сам себе голова. Имение, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мне перевернуться! Сейчас все двадцать восемь десятин -картофелем, банк -долгой, и опять я кум королю!

IV

Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга.

Старикам казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится им. Ковалев глухо кашляет, с головой закрытый тулупом; Яков Петрович ворочается и отдувается; ему жарко. Да и слишком уж грозно буря потрясает стены, слепит и засыпает снегом окна!

Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! Жутко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, -потолки в ней низки, амбразуры маленьких окон глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад... А дальше мрак и метель, метель ...

И старики сквозь сон чувствуют, как одинок и беспомощен их хуторок в этом бушующем море степных снегов.

-Ах ты, господи, господи! -слышится порою бормотанье Ковалева.

Но опять странной дремотой обвеваает его шум метели. Он кашляет все тише и реже, медленно задремывает, словно погружается в какое-то бесконечное пространство ... И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее... Он слышит ... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху где-то ... По потолку кто-то ходит ... Ковалев быстро приходит в сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь ... Скрипит матица...

-Яков Петрович! -говорит он. -Яков Петро-

вич!

-А? Что? -спрашивает Яков Петрович.

-А ведь по потолку-то кто-то ходит.

-Кто ходит?

-А вы послушайте-ка!

Яков Петрович слушает: ходит!

-Да нет, это всегда так, -ветер, -говорит он наконец, зевая. -Да и трус же ты, брат! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толков про эти шаги на потолке. Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалев, задремывая, шепчет с глубоким чувством:

—Живой в помощи вышняго, в крове Бога небеснаго ... Не убоишия от страха нощнаго, от стрелы, летящия во дни... На аспида и василиска наступиши и попрещи льва и змия ...

И Якова Петровича что-то беспокоит во сне. Под шум метели мерещится ему то гул векового бора, то звон отдаленного колокола; слышится невнятный лай собак где-то в степи, крик работника Судака ... Вот шуршат у крыльца сани, скрипят чьи-то лапти по мерзлomu снегу в сенцах... И сердце Якова Петро-

вича сжимается от боли и ожидания: это его сани, а в санях -Софья Павловна, Глаша... подъезжают они медленно, забитые снегом, еле видные в темноте бурной ночи...едут, едут, но почему-то мимо дома, все дальше, дальше ... Их увлекает метель, засыпает их снегом, и Яков Петрович торопливо ищет рог, хочет трубить, звать их...

—Черт знает ифготакое! -бормочет он, очнувшись и отдуваясь.

-Что это вы, Яков Петрович?

-Не спится, брат! А ночь давно, должно быть!

-Да, давненько!

-Зажигай-ка свечку-то да закуривай!

Кабинет озаряется. Щурясь от свечки, пламя которой колеблется перед заспанными глазами, как лучистая, мутно-красная звезда, старики сидят, курят, с наслаждением чешутся и отдыхают от сновидений ... Хорошо проснуться в долгую зимнюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!

-А я, -говорит Яков Петрович, сладко зевая, -а я сейчас вижу во сне, как ты думаешь, что?

.. Ведь приснится же!.. Будто я в гостях у турецкого султана!

Ковалев сидит на полу, сгорбившись (какой он старенький и маленький без поддевички и со сна!), в раздумье отвечает:

Нет, это что -у турецкого султана! Вот я сейчас видел ... Верите ли? Один за одним, один за одним... с рожками, в пиджачках ... мал мала меньше ... Да ведь какого трактата около меня разделявают!

Оба врут. Они видели эти сны, даже не раз видели, но совсем не в эту ночь, и слишком часто рассказывают их они друг другу, так что давно друг другу не верят. И все-таки рассказывают. И, наговорившись, в том же благодушном настроении, тушат свечу, укладываются, одеваются потеплей, надвигают на лоб шапки и засыпают сном праведника...

Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...

Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу ...

Это плохой знак: скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!

1895

СВЯТЫЕ ГОРЫ

I

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.

Ранним утром великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.

Преодо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу,

холодил лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.

За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплылся на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах - жалкие остатки ковыля. «Время его, - подумал я, - навсегда проходит; в вековом забвении он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без

слов о ничтожестве земного существования».

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полудня уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетнорадостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической быши. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», - это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, - может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустыли его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом,

медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах.

Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной.

Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую, свитку, не спеша шел за плу-

гом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

-Тату! -сказала она мужику, обращая его внимание на меня. Он остановился.

-Эта дорога на Святые Горы? -спросил я.

-А куды вам треба?

-В монастырь.

-Якій монастырь?

-Да вы разве никогда не были на Святых Горах?

-В якономіі?

-Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.

-У церкві? Та у нас своя церква на селі.

-А в монастыре?

-Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіє служили і в село привозили того інока. Ну, походив він по дворах, покропив водою, а про те нічого не помоглось.

-Так это дорога туда?

-Эге ж".

И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой, -Донец был в Разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно ... Потом я обгонял идущий на богомолье народ -женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому ...

Откуда она и что она значит?

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы - все скученное, картинно сокращенное отда-

лением, -и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним...

II

Донец под Святыми Горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белая в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая.

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью ют этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных по-

учений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников ... Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина - все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одиноко-

му человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже началась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя.

Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящичком с свечами. Два-три огонька чуть потрескивали ... Поставил и я свою свечу за того,

кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители ...

III

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. **Я** нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка - все было так прелестно в это милое утро ...

Я побывал в скиту - там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище, - и стал взбираться в гору.

Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскаль-

зывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какою горячею жизнью юга дышало все кругом! То-то, должно быть, дикорадостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля

1895

НА ДАЧЕ

I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, а спальни дышали сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче летом: он уже служил.

В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и

шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука. Гриша открыл глаза.

-Гарпина! -сказал он баритоном. Гарпина остановилась в дверях.

-Чого? -спросила она шепотом.

-Поди сюда.

Гарпина покачала головой и вышла.

-Гарпина! -повторил Гриша.

-Та чого вам?

-Поди сюда... на минутку.

-Не піду, хоч заріжте!

Гриша подумал и крепко потяну лея.

-Ну, пошла вон!

-Бариня загадали вчора спитать вас, чи поїдете у город?

-А дальше?

-Казали, щоб не їздили, бо барин сьогодні прїдуть.

Гриша, не отвечая, одевался.

-Повотенце? -спросил он громко.

-Та на столі -он! Не збудіть бариню ...

Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из

легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватив стоявший в углу крокетный молоток, и, пройдя переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.

Дачи в садах тянулись и направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блеснула река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось ...

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнувшей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом, слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, во-

шел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распутив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли к реке...

- Григорий Петрович! - крикнул чей-то голос с берега. Гриша

перевернулся и увидел на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз навывкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

- Вы придете сегодня? - крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашной рубахи.

- Здравствуйте! .. Приду, - отозвался Гриша. - А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

- Ведь вот люди! - оказал он важно и ласково. - Всё у них секреты!

Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь

по горло в воде, пробормотал:

- Ну, если хотите, не секрет... Я просто любопытствовал, почему вы меня спросили?

-А мне нужно побывать у знакомых.

-Да, так вы в город едете!

-Разве в город только ездят? - снова перебил Каменский. И разве знакомые бывают только в городе?

-Конечно, нет. Только я не понимаю ...

-Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе и у знакомых вот тут недалеко -на огородах.

-Так, значит, попоздней прийти?

-Да, попоздней.

-Тогда до свидания! -крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий -психопаты!»Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.

На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в

ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках ...

Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным, словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины". А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.

II

Ровно час после купанья Гриша посвятил гимнастике. Сперва он подтягивался по кана-

ту и висел на трапедии в саду, потом в своей комнате становился в львиные позы, играя двухпудовыми гирями.

Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. В доме еще стояла тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась со столовой аркой, а к столовой примыкала еще небольшая комната, вся наполненная пальмами и олеандрами в кадках и ярко озаренная янтарным солнечным светом. Канарейка возилась там в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна семени. В большом трюмо, перед которым Гриша ворочал тяжестими, вся эта комната отражалась в усиленно-золотистом освещении с неестественно прозрачной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

Гарпина!

«Какая скука! -подумал Гриша. -Каждый день начинается одним и тем же воззвани-

ем!»

Гарпина! -повторила Наталья Борисовна нетерпеливее. Гри-иша!

Гриша лениво поднялся с места.

-Ну, что тебе? -сказал он, входя в спальню.

Наталья Борисовна, полная женщина лет сорока, сидела на постели и, подняв руки, подкалывала темные густые волосы. Увидав сына, она недовольно повела плечом.

-Ах, какой ты, брат, невежа! -сказала она, смягчая слова улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял пахучий полусумрак. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала развернутая книжка «Вестника Европы».

Да как же, право! -добавила Наталья Борисовна еще ласковее. -Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деннып, посмотреть, где записка -что взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

Гарпина сейчас едет в город, -сказала она, -не нужно ли тебе чего?.. Нынче приедет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

Будь добра, поскорее! -перебил Гриша. -Ты

ведь знаешь, что сейчас я должен идти к Каменскому.

Ну, ты невозможен, наконец! -воскликнула Наталья Борисовна. -**Я** же тебе и хотела про это сказать ... Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем...

Ты сама его видела.

-Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкапе, мы двух слов не сказали.

Но ведь и я хожу к нему только третий день.

Но все-таки?

Обыкновенный толстовец.

Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь потоньше, а то ведь откажется!

Гриша кивнул головой и вышел.

III

«Опять день, опять долгий день!»шевелинулось в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чая и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка щурясь от яркого утреннего

света и придерживая левой рукой по дол широкого чесучового платья, медленно сошла с балкона и направилась в общий дачный парк по своему саду, где, в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах, гудели пчелы, а в чащах журчали горлинки.

«Как трогательно!» подумала она с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

Откуда Бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; в петличке у него краснел цветок, в руках была корзина. Профессорша, маленькая еврейка, похожая на гитару, преклоняла свою черную головку к его плечу.

Здрасьте! - сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша - марксистка, жила в Париже, была знакома с знамениты-

ми эмигрантами.

Что это вы так рано? -спросила Наталья Борисовна.

По грибы, -ответила профессорша, а профессор, сияясь

улыбнуться, прибавил:

Дачей нужно пользоваться.

«Какие скучные!»— подумала Наталья Борисовна, глядя им вслед.

Ах, какие скучные! -повторила она, выходя в парк.

На обширной поляне парка стояли одни темно-зеленые, широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесуче, в мягкой обуви, проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи, а воздух был еще легкий и чистый, напоенный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала

себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и сядя на скамейку под свой любимый дуб. Она откинулась на ее спинку, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, расположившимися под другими дубами, и опять не спеша опускала глаза на статью по переселенческому вопросу.

А поляна оживлялась. Подходили дамы и барышни с работой и книгами, няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках. Изредка, но все-таки без надобности щелкая, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки. Коренастые, у которых узкий костюм плотно обтягивал широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь. Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами. А дети взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

Жарко! -сказала Наталья Борисовна, при-

щуриваясь, опуская на колени книгу и обращаясь к молоденькой женщине, сидевшей невдалеке с вязаньем в руках.

Жарко! -согласилась та, сдувая со щеки длинный волос.

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. На местах солнечных золотисто-зеленые мухи словно прилипали к дорожкам и деревьям. Вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

IV

Гриша шел к Каменскому, сбивая молотком цветы по дороге.

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе

идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель для своей комнаты... простую, удобную и оригинальную. Занимало и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, известных докторов и адвокатов, профессоров и бывших радикалов.

И отец называл за глаза тузов мошенниками, евреев - «жидовскими мордами», остальных - болтунами, ничтожеством. Когда Гриша только что начал читать серьезные книги, знакомиться с студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся человеком необыкновенным - ни больше ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с

людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеич, которому было достаточно рассказать в шутливом тоне, что такая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и, как огня, боится жены, чтобы авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек крайне нервный, был еще более резок в мнениях.

Что ж, и терпентин на что-нибудь полезен, - сказал он однажды словами Пруткова, когда зашел разговор о толстовцах и о толстовском учении, - этой «доморощенной философии самоучки с недисциплинированной головой». И Гриша, робея Каменского, усвоил себе манеру насмешливо щуриться, думая о нем.

Жил Каменский на мельнице, в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин почему-то забросил ее: маленькое поместье с высоким тополем над соломенной крышей избышки, с бурьяном на огороде, медленно приходило в запустение. Внизу, в широкой

долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как объятая, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе и ближе подступали к ней; двор зарос высокой травой; старые серые жернова, как могильные камни, уходили в землю и скрывались в глухой крапиве; голуби покину ли крыши. Одни кузнечики таинственно шептались в знойные летние дни у порога избышки, мирно дремлющей на солнце.

Вот и келья под елью!-усмехнулся Гриша, взглянув на мельницу в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, спасти его душу, и заранее вооружился враждебной холодностью. Однако Каменский только показал ему, как надо Распиливать доски; и это даже обидело Гришу: «Не хочет снизойти

до меня», -думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Сегодня он подходил к этой келье в девят-

том часу. Обыкновенно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял верстак, никого не было.

Алексей Александрович! -окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стайей снялись с пола, да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

«Значит, у огородника загостился», -подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в сумраке стоял уксусный запах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в поле, где дрожало и убегало дрожащими волнами марево жаркого майского дня. Дачные сады казались в нем мутными, серыми набросками на стекле. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими томными голосами. А на дворе мельницы не было ни малейшего дуновения ветерка, на глазах сохла трава ... Разгоняя дремоту, Гриша под-

нялся с порога. Близ порога валялся топор. На верстаке, среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева, лежали две обгорелые печеные картошки и книга в покоробленном переплете. Гриша развернул ее: Евангелие.

На заглавном листе его было написано: «Боже мой! **Я** стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес...»

-Что это такое? -пробормотал Гриша, чувствуя, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

-Странный человек! -прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В середине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч ...»)-начиналось одно из них), бумажки с выписками ... На одной было начало стихотворения:

Долго я Бога искал в городах и селениях шумных,

Долго на небо глядел -не увижу ли Бога...

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности...»

Ласточка с щебетаньем влетела в сенцы и опять унеслась стрелою на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил за ней в небе. Вспомнилось нынешнее утро, купальня, балкон, теплица -и все это вдруг показалось чужим и далеким ... Он постоял перед дверью в избу, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был душный, обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Постель была сделана из обрубков полен и досок, прикрытых только попоной; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла -старое драповое пальто. На столе, среди истрепанных книг, валялись странные для этой обстановки предметы -бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости, головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с худощавым грустным лицом. Из деликатности Гриша отвел глаза от стола -и сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и

на этот портрет.

Зачем это самоистязание? Он смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие дни, был и он когда-то другим человеком ... Что же заставило его надеть мужицкие вериги?

-Странный человек! -повторил Гриша, хмурясь на темную фототипию, висевшую над кроватью, -снимок с картины знаменитого художника. Это было жестокое изображение крестной смерти, написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам и ногам к грубому тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданием медленной кончины. И тяжело было смотреть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испустившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью того, кто назвал себя сыном Бо-

жиим ... Морщась, Гриша отворил дверь в другую комнату.

Тут было очень светло от солнца, совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами великий, но не докончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного окна, на котором грудями лежали литографированные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Паскаля, стоял стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

Боже! Жизнь возьми она

Вся тебе посвящена!

Дни возьми - пусть каждый час

Слышишь ты хвалебный глас!

А ниже - из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!»

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго ходил из угла в угол ... Потом вернулся в полутемную комнату, вышел в сени, снова развернул Евангелие ...

«Дети! Недолго уже быть мне с вами...»— читал он отмеченные карандашом слова последней Вечери Христа с учениками. —«Да не смущается сердце ваше» ... «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел» ... «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»...

Отняв глаза от книги, Гриша долго и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь, «ибо беззакония наши стали выше головы!». Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната —

светлое одиночество в минуты отдыха и созерцательной, тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!»— вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятого восторга ... «После сих слов -читал он дальше, ощущая в волосах словно дунение морозного ветра, -после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче! Пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя ... Я открыл имя твое человекам ... Соблюди их во имя твое! ..»

V

А, вы уже пришли! -раздался голос Каменского. Гриша

смущенно захлопнул книгу.

Извините, -сказал он, подымаясь.

В чем вы извиняетесь? -спросил Каменский, стоя перед ним с мешком в руке и пристально глядя ему в лицо.

Да вот залез в ваши книги, -ответил Гриша небрежно.

Так что ж тут дурного?

Я говорю, взял вашу книгу ... ну, без спросу,

что ли...

Вашу? Что это значит?

Как что значит?

Да так. Зачем вы все такие слова употребляете?

Они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

Что это вы покупали? спросил он, чтобы переменить разговор.

А вот луку немного и хлеба.

И Каменский опустил мешок на землю.

Так, может быть, начнем? -добавил он. -**Я** вот покажу вам, разведу огонь и присоединюсь к вам.

Гриша встрепенулся.

Нет, нет, вы сначала разведите.

Успеется, -отозвался Каменский. -Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать фуганком, и помогать заправлять доску в верстак.

-Ну-ка попробуйте! -сказал Каменский.

Гриша взял фуганок и с такой силой за-

шаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

-Да вы потише! -ласково засмеялся Каменский.

Он ушел в избу, вынес оттуда чугуничек с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог и стал набивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

-Вы живете только с матерью? -спросил вдруг Каменский, опуская молоток.

Нет, и отец часто приезжает, -поспешно ответил Гриша, поднимая запотевшее и возбужденное лицо. А в городе всегда вместе.

Он что же -все города украшает?

Как города украшает?

Строит дома богатым людям? Созидает Вавилон?

Ах, вот что ... Если хотите, да.

Ну, этого-то я не хочу! -серьезно сказал Ка-

менский.

И, положив в воду картофелью и луку, поправив огонь, опять сел на порог за работу.

Да, -сказал он задумчиво. -А брат ваш что делает?

Он только что кончил курс... Теперь служит... то есть работает у патрона.

Так, -сказал Каменский. -У патрона ... А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

Не знаю, -сказал он тихо. Каменский тоже помолчал.

Это хорошо, что не знаете, -сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль. -Люди все еще идут в Египет за помощью. Но и египтяне -люди, а не бог, и кони их -плоть, а не дух.

И, подняв глаза на Гришу, прибавил:

И вы будете также... также несчастны и одиноки, если будете не жить, а служить. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения вместо людей, и вам будет очень тяжело...

Гриша вспомнил свою семью и опустил глаза.

Я испытал это на себе, -опять заговорил Каменский.

Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам; видел, как растет пропасть между мной и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать говор и весь этот смутный шум деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела хорошие и нужные дела, только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что, прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно ...

Гриша слушал, стараясь не проронить и одного слова. «Разве ты теперь-то не одинок?»— хотелось ему сказать. Но, боясь сказать это невпопад, неумело, боясь, что Каменский заговорит с ним как с мальчиком, мол-

чал.

А про Египет, -спросил он наконец, -это чьи слова?

Исаии. Вы не читали?

Никогда. Каменский подумал.

Завтра воскресенье, -сказал он, мы не будем работать.

Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

Во сколько?

Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

Неприменно приду! воскликнул Гриша. У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером? .. Мама будет очень рада вас видеть...

- С удовольствием, ответил Каменский. Я людей не избегаю.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу.

Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригла-

сит его... и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко ... да даже если бы и хотелось и он сел, вышло бы все-таки что-то фальшивое.

- Ну, -сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках, -мне необходимо домой

И, чувствуя, что краснеет, Гриша поспешно добавил:

Сегодня, знаете, брат и отец приедут ... Так мне необходимо... До вечера, значит?

До свиданья, до вечера! -ответил Каменский ласково.

За мельницей Гриша вздохнул свободнее. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то, но он ничего не думал и только шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и цветами, и ему было приятно, что они щелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвевает лицо солнечной теплотой, запахом зеленых хлебов.

Как хорошо! -воскликнул Гриша, останав-
ливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворон-
ков и тихо добавил:

Ты исполнишь меня радостью перед ли-
цом твоим!

Потом лег на межу навзничь и стал делать
то, что делал в детстве: медленно-медленно
закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи
ярко-золотистой паутиною протянулись к
ресницам, а потом задрожали и преврати-
лись в трепещущие кружки, радужные, как
хвост павлина...

«Как жить? -думал Гриша. -Как жить, чтоб
всегда было хорошо, легко, свободно, просто?
И чтоб и другим было так же? Как жить?»

Он постарался представить себе, что будет
в его жизни ... в тридцать, сорок, пятьдесят
лет ... Но все было смутно и непонятно. Пред-
ставилось только что-то похожее на туман-
ную синеву в долине под мельницей...

VI

Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и под-
нял голову. По дороге от станции шла в боль-

шой шляпке стройная и худощавая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? -спросил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку. Темно-каштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо прищуривала их; однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку.

Как жарко! -начала она скороговоркой, стараясь не глядеть на Гришу. -А в вагоне просто дышать нечем ... И работы сегодня была такая масса! Я уже заявила сегодня своему патрону, что, если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

А кто же вас заставляет являться? -спросил Гриша.

Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся.

Ведь вот, -сказал он тоном Каменского. - Они не могут без серых, все серые нужны!

А что же прикажете делать?

Пахать, -ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

Пахать! -воскликнула Марья Ивановна. - Это новость!

Вовсе не новость.

Сохой пахать?

Сохой.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула:

Это хорошо в теории, а не на практике.

А вы не отделяйте теории от практики! -добавил Гриша наставительно, поклонился и быстро пошел к своему саду.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

Игнатик приехал! -сказала она.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, глянцевито-зеленые огурцы. Среди

стаканов стоял серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно сПмала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

Что так поздно? спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

Где же Игнатий? -сказал Гриша вместо ответа.

Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо.

У Каменского, -пробормотал он.

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородку с шипящим в масле куском бифштекса.

Дайте вина! -коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку, залпом выпил стаканчик и принялся за еду очень поспешно.

Уже? -спросила Наталья Борисовна. А кофе? Гриша

бросил салфетку и встал.

Мегсі, не хочу.

Мало же!..

Гриша прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержать утреннее хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их на отвал кровати, прикрыл глаза ... и внезапно заснул крепким сном.

А Наталья Борисовна, балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала. Но, подымаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому лениво.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и свежего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы толь-

ко около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

«Подурнел! -подумала Наталья Борисовна. -Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки...»

На мгновение она вспомнила свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь ... Но, в сущности, он теперь был ей совсем чужой человек; а думать о прошлом -это и утомительно, и не приводит ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна принялась бесцельно смотреть в окно.

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась со ска1П.{ии линейка с дачниками и скрылась, громыхая развинченными гайками. «Са-ахар-но морожино ...»— меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комна-

там отдавалось ровное постукиванье часов в столовой.

VII

Вечером на поляне около сада Примо играли в крокет.

Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Около играющих стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись, и зрителями остались маленькие гимназисты. Их очень занимал непрекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

-А я тебе говорю, что ты ее убил! - азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей. - **Я** стоял вот здесь, - продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стучая молотком по тому месту, где стоял, - я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар Марьи Ивановны коснулся фока!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесучи было смешно смотреть. Он неуклюже бегал среди дужек и поминутно снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко стриженную го-

лову и красное лицо.

Шнурки-то подбери, -презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся завязки его мягких скороходов.

Игнатик! -пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом. -Keep your temper, Sir!*

Оставь, пожалуйста, мама! -огрызался Игнатий. -Это же глупо наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марию Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она помысленно вздергивала и взбивала на плечах.

Ты слеп, мой милый! -лениво возражал он брату.

Ты слеп!

Все равно, я не уступлю.

И я не уступлю!

Ты молоток сломаешь.

Ну и отлично!

Ничего тут нет отличного.

Я тебе уже давеча раз уступил, -опять сту-

кая молотком в землю, кричал Игнатий, -ты еще давеча нарушил правила.

Вечно с правилами!

Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь ...

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

Здрасьте, господа! -сказала Софья Марковна. -Продолжайте, продолжайте, пожалуйста.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила ручку молотка за голову на плечи, взялась за нее руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

Я не знаю.

* Сдерживайтесь сэр! (англ.)

И не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и поцеловать ее в губы. И он машинально ответил:

В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

Павел! -сказала профессорша. Будем иг-

рать?

Профессор покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

Итак, господа, -крикнул он тоном герольда, -мы играем в следующем порядке: одну партию составляет Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую -я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу.

Господа, начинаю!-крикнул он и ударил в шар.

Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

Вот это удар! -восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте.

А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

Если ты, мама, не умеешь играть -брось! Это глупо наконец! Не умеет даже крокиро-

вать!

Да ведь нога же соскользнула!

И, улыбаясь, Наталья Борисовна снова приподняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

Не могу сегодня ... -выговорила она, трясясь от смеха, и отошла в сторону.

Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать как помешанная.

Сначала, сначала!-кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны.

И шатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо.

Это черт знает что такое! воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый адвокат Викентьев. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчичьей пролетки (пешего его трудно было себе представить) он широко и приветливо размахи-

вал шляпой чуть не каждому встречному. всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удаль-

ством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

Стой, стой! -закричал он извозчику, соскакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и руками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстук, не стриг своих серых, мягких волос и часто развязно закидывал их назад. Матовое его лицо было моложаво и неприятно.

Наталья Борисовна! -крикнул он, махая на себя шляпой. -Благоверного вашего лицезрел!

Где? -спросила Наталья Борисовна, идя к нему навстречу.

В городе-с. -Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся. -Да-с, на стогнах града". Оказывается, он вернулся еще вчера, «выпимши малость» ... Здравствуйте, барышня!... Мое почтение, Софья Марковна".

Он пожал всем руки и опять оглянулся:

Коллеге почтение! Давно изволили пожаловать?

Только сегодня, -сказала Наталья Борисовна. -Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул.

— И в городе был и за городом был", у одного почтенного отца семейства". Ну что же? Я вам помешал? Примете меня в заморскую игру?" Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов ...

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды ... Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную мало-российскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

Та налетіли гуси з далекого краю...

— Отчего это, -сказал он, -когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко и совсем не знаешь, горя или радости хочется?... Пойдемте гулять, господа! В такую ночь надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского, -туда, где видны были огни города; полежали на скате,

непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго

слышен был его отдаленный шум ... Потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

-Славно! -сказал Викентьев. -Люблю я эту самую природу, люблю, грешным делом, полежать вот так на травке, но", «камергер редко наслаждается природой»!... Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем", вроде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретается?

Гриша насторожился.

Да, -ответила Наталья Борисовна. -Обещался сегодня быть у нас.

Вот как! -сказала Софья Марковна. Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

Нет, ты уж будь добра, иди одна; мне он не интересен, да и надо вовремя лечь в постель.

Да, он не интересен, -подтвердил Викентьев. -**Я** с ним встречался. Говорит как по-писаному, но все это не ново и хорошо только на словах. «Нельзя объять необъятного»... Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соску-

чился забавляться".

Заговорили о том, что влияние Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного". Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

«Болван! -думал он про Викентьева. -Но это-то, пожалуй, отчасти и правда". Не ново-то не ново...»

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откланялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

Здравствуйте! -сказал приятный важный голос.

Ах, это вы, Алексей Александрович! -воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку. -Очень, очень рада вас видеть". Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

Она у Петра Алексеича.

Разве он приехал?

Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет обливать голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, боже мой, как нарочно!» - подумала она, но тотчас же весело сказала:

Ну, господа, вы незнакомы? - Знакомьтесь, знакомьтесь, пожалуйста...

VIII

По всем комнатам пахло сигарами. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сиплые вскрикивания Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывавшего при Петре Алексеевиче и участвовавшего во всех его попойках. Петр Алексеевич редко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похожего на жирафа своей маленькой головой и большой, длинной фигурой в клетчатой паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский резко выделялся своей высокой

фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только агроном, человек в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Бобрицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы.

Вы позволите вам чаю? - с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: откажется или нет? И что возъ-

мет к чаю?

Пожалуйста, -очень вежливо ответил Каменский.

То, что он приветлив, тоже немного удивляло всех. Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его открытое лицо было красиво.

Подошел еще гость, статистик Бернгардт, бородатый, сумрачный человек. Он недавно вернулся из Сибири, и Грише казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол со стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о Сибирской железной дороге. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

Да, да, -поспешил ответить Бобрицкий, -я читал недавно сам.

-Нет, неправда, ответил Каменский. -Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

Но я же сам, своими глазами читал в «Новом времени»! сказал он.

-Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду, -возразил Каменский с снисходительной улыбкой.

Игнатий задвигался на стуле.

Ну, знаете, это слишком сильно сказано!-проговорил он с неприятной улыбкой.

А где он теперь? В Ясной Поляне? -перебила Марья Ивановна.

Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

Правда, что он только лето живет в деревне?

Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Камен-

ский налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях, как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

А правда, что он уже сменил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?

Вот это опять неправда, -уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

Я, собственно, не понимаю ... начал он, собирая хлебные крошки.

Но в это время раздался насмешливо-отчетливый голос Петра Алексеевича:

А правда, что мы с Илюшей еще пьяны?

Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился; слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И как всегда, он был очень представите-

лен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были тонки, но стройны.

Зато маленький, тщедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил странное впечатление; старческое лицо его, лицо скопца и алкоголика, было желто и испито; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; маленькие агатовые глаза неестественно блестели.

-Отставной профессор консерватории, потом монах, пьяница и мой друг, Илья Подгаевский, -отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь с гостями и усаживаясь к столу.

-Полно, Петр! -с пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо

повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

Так как вы нас находите? Пьяны мы или уже можем вести душеспасительные беседы?

Мы этого еще не знаем, ответил Каменский серьезно. Петр

Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

Мамаша, -сказал он, налейте и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

Вот как! -засмеялась Наталья Борисовна.

Я слышу разговор о Толстом, продолжал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова, -и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать.

Все засмеялись.

Очень, очень удачно скопирован Толстой! -подхватил Бобрицкий.

Какой догадливый! -пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри.

Нет, почему вы так против велосипеди-

стов? улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

Разве я это сказал? спросил Каменский и поднял брови.

То есть не сказали, но, в сущности, это понятно... И это странно". Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов ...

Все прислушались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и прибавил торопливо:

Я хочу оказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой...

Я вас не понимаю, спокойно возразил Каменский.

Не понимаете? переспросил Игнатий.

Извините, не понимаю. Игнатий вздернул плечами.

Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, поду-

мал он или нет, и наконец выговорил:

Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд...

Нужно всегда различать, -тихо, но властно перебил Каменский, кладя ладони на стол, - нужно всегда различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и продолжал:

Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла. Всякий труд! Да вот ведь и обезьяна трудилась и ей стало жарко и скучно наконец.

То есть я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

А вот про *ту*, что катала чурбан. Помните басню? О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, который не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни...

Игнатий заволновался еще больше.

Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

О чьем труде?

- Вообще о труде ... Я не меньше вашего работал и работаю ...

-Я о вас пока не говорил.

-Но ведь это понятно!

-Я о вас не говорил. О вас я еще буду говорить. Игнатий
вспыхнул.

-Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть, -резко возразил он. -Личности тут ни при чем.

-Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу.

-Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился.

-Я не поучаю, -сказал он серьезно, -я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насилую вас -

это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

-Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что такое труд, не хуже другого ...

-По вашим рукам этого не видно.

- Если вы, -перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее, -если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд, по меньшей мере, странно. Умственная жизнь человека нуждается в полном развитии и усовершенствовании.

- Илья? спросил Петр Алексеевич. -Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию, долил чай коньяком и выпил, как воду.

-Илюша! Что же ты? -добавил он, обращаясь к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

-Изволь! -сказал он, наливая и себе коньяку. -Но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи

Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»

-Будто бы мы с тобой еще не отжили? -спросил Петр Алексеевич.

-Мы тени, мой милый! Но сущность наша и красота вечны! -сило вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

-Вот и врешь! И мы с тобой, к сожалению, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая карга.

Поднялся общий смех и говор.

-Виноват! .. -говорил Каменский с блестящими глазами.

IX

- Виноват, я не договорил, -повторил он. - Я вас перебую на минуту, -продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго. - Я хотел ответить вам, Софья Марковна ... Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни ... И вот я думаю

так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию ...

-К раскрытию чего?

-К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю пославшего его...

-Пославшего его, -повторил Игнатий. -Кто же этот пославший?

-А это называйте, как хотите -Роману, Вишну, Фта... Дух Жизни, одним словом.

-Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

-А вам что -хочется решить его, как уравнение?

-Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных. Следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение ... Да это и не уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.

- Игнатий-то! -сказал он. -Как уравнению-то обрадовался!

- Дай мне, пожалуйста, говорить! -воскликнул Игнатий с злобой. - Так я говорю: это для

меня только звук, и я не знаю, что он значит...

- Дело не в звуке ...

- Так позвольте: что же такое Дух Жизни?

- Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы» - вот вам одно определение. Добро, любовь - вот вам другое.

- А почему я должен поклоняться добру? - вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.

- В самом деле, - подхватил Игнатий, - почему?

- Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь.

- А если у меня не заключено ничего подобного?

- Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка. Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи.

- Да что же это за доказательство! - воскликнул он насмешливо и басом. - Добро. Любовь ... А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги ...

Каменский нахмурился и повторил уже назло:

-Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «И рече безумец в сердце своем - несть бога!»

-Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, -перебила Софья Марковна.

-Господа, позвольте! -закричал Игнатий. -Мы уклонились, так нельзя...

-Вы же не дали мне договорить, -сказал Каменский. Лицо у

него покраснелось, руки нервно гладили скатерть.

-Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста! Каменский

подумал и опять заговорил размеренно:

- Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет...

-Виноват, -снова не выдержал Игнатий, -одно слово... Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил ...

-Да, вот именно так, -подтвердил Каменский, -именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть

жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная...

-Ну, это уже начинается метафизика какая-то! -воскликнула Софья Марковна.

-Позвольте, -начал Игнатий.

-Виноват, -заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

-Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью.

-Метафизика -родня поэзии! Я стою за метафизику! -почти закричал Подгаевский. -Вы говорите: труд; но прогресс движется не трудом, а творчеством!

- Это, положим, вздор! - добавила Софья Марковна. - Возьмите Липперта...

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

- Что же вы сотворили? -почти строго спрашивал Каменский. -Что? **Я** скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию

...

- А что вы так против проституции? - вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой. - Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

- При современных условиях это не-обходимо-е учреждение! - уже кричал Подгаевский.

- Позвольте ... Что же, современные условия хороши?

- Нет, вы позвольте!

Лицо Подгаевского исказилось, глаза бежали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

- Нет, дайте же мне договорить! - пробовал как можно спокойнее возражать Каменский. - Вы сказали именно то, что нужно: вы сказали как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, - сказали ему, - почини ее.

- Позвольте-с, - заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, - современные условия зависят не от одного челове-

ка. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли... Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешечком; только это и нечестно, и навряд хорошо для отправившегося пешечком ...

- Да, -горячо подхватил Каменский, -если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства» ... И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!

- А может быть, непотворением злу? -перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся.

- Мамаша! -воскликнул он. -Это наконец подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

- Господа, перейдемте в столовую, -обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша поднялся и скрылся в своей комнате.

Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский покачивал головою и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:

- Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил

опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

- Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона...

Х

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти.

Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.

- How did you get acquainted with him?¹ - вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

-Энгельса зашел попросить, - пробормотал Петр Алексеевич.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

- Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

-Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин -молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина". К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком слож-

на, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою душу, когда нужно отдаться Богу, служить только ему, остальное же все приложится. Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба - смерть, любовь - жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа - любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание ... Это повторяли людям все великие учителя человечества, начиная с Будды".

- Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! - перебил Иг-

натий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть», -напомнил он слова апостола Иакова.

-Это все очень не ново! -послышались голоса, -это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!

Гриша терялся -с обеих сторон говорили правду!

Размахивая лапами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

-Я скажу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности!»

-Лучше быть рабом праведности, чем похоти, -пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и «Вася», который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом.

Ах, что кому до нас,

Когда праздничек у нас! -

запел он вдруг фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

-Что же вы? -спросил Петр Алексеевич. - Уже уходите?

Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

-Какой вы веселый! -сказал он, нахмуриваясь.

-Веселый! -повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: -Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?

-В четверг принесу.

-После дождичка?

-А разве в четверг будет дождь?

-Да вот Брюс пишет -будет.

-**Я** в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

-Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется небось?

Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон.

Петр Алексеевич поднялся.

-Николка! -крикнул он на весь дом.

И когда вбежал лакей, прибавил:

- Лошадей нам! Вася, Илюша - в «Добро пожаловать!».

Едем!

-Петр Алексеевич, -сказала Наталья Борисовна, -я тебя прошу, не езд!

-Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях...

Ах, что кому до нас, -

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и пошел в кабинет. ..

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

- В наше время таких бы не слушали, -со

злостью говорил на балконе Бернгардт.

- Вы и теперь не слушаете, — отвечал злобно и Каменский.

- Мы жизнью жертвовали!

- Однако вы живы.

- Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.

- Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

- Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь! .. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы ... Вы, например, меня ненавидите сейчас.

- Поверьте мне, как брату, -горячо возразил Каменский, - у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля:

«Есть три рода людей: один те, которые, найдя бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его»...

- Опять тексты!

- Да, тексты! -повторил Каменский снова с сердцем ...

- Покойной ночи! -послышался немного

погода голос Игнатия.

- Прощайте! -ответил грустно и важно Каменский.

XI

На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза. День

был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он приближался

тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома ... И начал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже вставать, как в столовой послышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкаф.

- Гриша! -раздался вдруг его голос в гости-

ной. Гриша не

ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

-Ты спишь? -спросил он.

-Нет, -ответил Гриша и нахмурился. - А что?

-Да так ... Я, знаешь, хотел спросить кое-что

...

-Именно?

-Именно ... Гм! Ну, да все равно ... Я хотел тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья одно из самых иронических животных? .. Это, во-первых...

Язык Петра Алексеевича заплетался.

- Во-вторых, я зашел к тебе на минутку ... - продолжал он медленно. - Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского ... В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я -новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуа, то есть настоящей свиньи ... И что будто это порождение последних дней ... Это недурно! А

главное, изречение!

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

-«Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников! . »Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

-Молчишь? -опять заговорил Петр Алексеевич. -Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай... подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь ... Непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как иронизирующей свиньей!

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался ...

ВЕЛГА

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, -точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, -глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? -Эго к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и да-

леко разносит крик чайки.

-Кри-э! -жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя ... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море ... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще

и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

-Кри-э! .. -доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток -песчаный берег, близко за селением сходившийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой жи-

вой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

-Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? **Я** бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

-Смотри, смотри: гагара! -закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями

сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду -шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

-Милый Ирвальд, -говорила она ему, -мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

-Милый Ирвальд, -говорила она ему, -зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее стано-

вилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбачьего селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крик-

ливыми стаями и по воде взбегали, распутив крылышки, на самые высокие гребни взметающихся и рассыпающихся водных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальнойю и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальнойю и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по побережью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

- Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

-Не хочу, - отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

-Ирвальд, - сказала она, -я ждала тебя -и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

-Ты слышал мои слова, Ирвальд?

-Да, -сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

-Возьми меня в свой дом, Ирвальд! **Я буду** ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и

работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

- Мы никогда не будем жить с тобой, - твердо ответил ей Ирвальд. - Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

- А я? - медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. - Я останусь одна? - громко сказала Велга.

- Да, - ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке?

Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

- Море не хочет, чтобы я умерла, - сказала себе Велга. - Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

-Снеггар, - сказала она сестре, - уехал Ирвальд?

-Да, -отвечала Снеггар.

-Когда вернется он? -спросила Велга.

-Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море, -отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд, -думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце. -**Я** убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подни-

маться с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развеивал его длинные седые волосы.

-Велга, дитя мое, -сказал он ласково, -отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловеющая ночная буря, перед которой неутоненно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги и жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше

овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

-Велга! -сказала она. -Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

-Кто сказал тебе? -крикнула Велга.

-Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, -отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

-Снеггар... -нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.

Она быстро понята по побережью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

-Научи меня, о вещая! -воскликнула она перед Чарной. - Укажи путь к Ирвальду!

-Поспеши! -сказала Чарна. -Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не успеешь к рассвету третьего дня -он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

-Пожалей меня, Чарна, -отвечала она. - Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

-Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря, -сказала Чарна. -А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

-Я иду, Чарна!

-Поспеши, -сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку побережья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

V

На рассвете увидала она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные патушкюша высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и слива-

ются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обес-

силенная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег, побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

-Ирвальд! -крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крыла тою белою чай-

кой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, - голос друга коснулся его сердца, -но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой ...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доньше, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.

1895

БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНИ

I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. **Я** любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастья. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор -слабоосвещенный, насквозь видный ряд вагонов -уже бежит, дрожа

подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. **Я** едва успеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекаая меня за собою, -падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и

отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть -и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах -половина десятого ... Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах, да! Зина повенчалась вчера с Богаутом".

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого -и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером -темнота и тишина во всем доме; старик Саймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

-А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали. И,

попыхтев, продолжает иронически:

-Великое переселение народов, что называется ... К семейному торжеству готовимся ... Нынче, знаете, весьма скоропалительно вы-

ходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном - лучше попадать ему в тон, чтобы поскорее и попримечнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суeta около паперти". Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии ... И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила се-

мью и живет впроголодь ; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», - ушла ... Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною... Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате ... Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул со-

борного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.

Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать...

II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощенной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти - на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

- Вы ж, паньчу, справди уедете сегодня? - спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

- Что? - машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, - думал я, - Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

- Непременно уеду, -ответил я твердо. -
Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!

Я быстро схватил письмо -и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!»- подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.

День облачный, ветреный -стоит уже конец сентября, -и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров -старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону ... А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло

между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!

Пять месяцев ... И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас "музыкально-драматический кружок", и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летописи обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу -трепать, например, мочало ... Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало »и «передало в комис-

сию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений ...» С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте

Утомленный однообразной зимней жизнью - службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, - я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях ... Все

они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя". В клубе -светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую -бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, -исполнил все, что полагается, и был одобрен ... Вот тут- то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.

Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами.

-Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? -сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. -Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.

- Ну, садитесь и рассказывайте, - проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза

на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.

Я спросил:

-С чего начать прикажете?

-В качестве жениха -с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные?»

-Зовусь Магометом я, -сказал я с шутливой грустью.

-Полюбив, мы умираем? -добавила Зина. Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

-Вы не декадент? -спросила она.

-Почему? -ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

-Да так", про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец", потом у вас такое лицо...

-Какое? -спросил я живо.

-Больное, -ответила Зина, подумав. -Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услышал запах ее духов...

-Болен, -ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

-Чем?

-Жаждой того, чего у меня нет, -сказал я. -А хочу я многого... Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности ...

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

-Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом ...

Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

-Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим?- спросил я.

- Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, - сказала Зина. -Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

-Может быть... Кого любить? За что?

-Виновата, -вдруг сказала Зина. -Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой

белокурым и женственным молодым человеком, -старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как исгый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал при-творно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом...

-Посмотрите, -говорил я, -какой он маленький, плюгавый.

Лицо -конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна ...

-А это кто, не знаете? -продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. -Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда -точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он -умница, золотая голова, только спился, опустилсЯ и должен всем ...

-Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя,
-ответила Зина с неловкой улыбкой.

III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы -большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно -жажда жизни, -в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, -даже наедине, -не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь... Но она неизменно отвечала:

-Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанный жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему, ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса.

Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею -холодной и влажной... Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В середине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень, и самый воздух, казалось, модели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало

жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу ... Ах, какой это был славный день!

-Мне было грустно без вас, -говорила Зина, смущенно улыбаясь, -я сама, наконец, решила идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья ...

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. **Я** по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди, -думал я, -она даже малоинтеллигентна.

Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?» И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых ... Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

Укор ли нам неся, прощальный ли привет,
Как дальних волн прибой, осенний ветер
стонет...

-Не правда ли, хорошо? -спросил я, прочитав эти две строки.

-Да, красиво, -ответила Зина.

-А по-моему, -сказал Александр Данилыч, - все это собачья старость и больше ничего.

Зина звонко расхохоталась...

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. **Я** же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках ... О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженные волосы на косой ряд. Но я уже за-

мечал, что она мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на «ты»- начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, -например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, -или если бы я сам хоть немного был счастлив лично ... Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

-Ты не понимаешь самого себя...

IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями ... Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше

прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи ... Мне же все кажется, что в городе - праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты ... Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть... И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилося сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом ...

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям -и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случилось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня ...

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело ...

Но невеселые мысли и туг преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом ... Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, -думалось мне, -она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной ... Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку у вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами - и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан - мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени -от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому ... А потом -большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное ... Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой

связи с родиной -своего угла, своего пристанища ... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье ... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана ... И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, -дни, полные неопределенных, часто сладк их надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике ... Вот пись-

ма первой любви, первых товарищей ... И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:

-Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда -по двору к калитке ...

V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь -на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть -ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумер-

ки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травой; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра ...

«А где Елена?»- приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине...

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко ...

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подго-

няемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа ... Зачем я еду? Кто

гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?

В страхе я остановился.

-Елена! -хотелось крикнуть мне.

И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

-Можно к тебе? -спросила она деревянным голосом. Я

растерялся, смущенно пробормотал:

-Конечно". Конечно, можно ...

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

-Прошу!

-Я только на минутку, -ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

-Снимай, -сказал я ласково, указывая глазами на перчатку,

-посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

-Елена! -сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

-Елена! -снова начал я с раздражением. -Надо же взять себя в руки, -прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

-Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на ме-

ня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

-Ты не смеешь так говорить! .. Как ты ... смеешь ... когда я... так ... относилась к тебе? Ты обманывал меня ...

-Зачем ты врешь? -перебил я ее. -Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви ... Оставьте меня в покое!

-А я не хочу твоей декадентской дружбы! -крикнула Елена и отняла платок от глаз. -Зачем ты ломался? -заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. -Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

-Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге, -и, конечно, не наши, -и больше между нами ничего не было.

-А, ничего! -снова крикнула Елена злобно и радостно. - Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь

равнять меня с собою? **Я** одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех -неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

-Да! -сказал я со злобою, подымаясь. **-Я** люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

-И поэтому ты... -заговорила она гадливо. -И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами ...

Я с невероятной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

-Уйди! -крикнул я бешено.

И мгновенно похолодел от ужаса за сде-

ланное. Я увидел, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекопилось от детского страха.

-Уйди! -закричал я опять, но уже другим, жалким голосом. Она распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке ...

ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ

Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радост-

ной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. **Я** смотрел то на комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, -вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, ря-

дом с ней". Да, поздно -вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз, -узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, и за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой".

Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России.

Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-бле-

стящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот -хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот -редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них -старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете... Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи ...

-Отчего ты не спишь? -услыхал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо

ответил:

-Не знаю ... А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

-Прости! -сказал я, подходя к ней. Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

-Но разве ты виноват? -шептала она смущенно. -Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье ...

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето -осень ядреная» ... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и -запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, -непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и

слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение -никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

-Вали, ешь досыта, -делать нечего! На сливанье все мед пьют. И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голова да гулкий стук сыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут -особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке -посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В пол-день на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша - целая

ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однородворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», -косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка - плисовая, занавеска длинная, а понева -черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом» ...

-Хозяйственная бабочка! -говорит о ней мещанин, покачивая головою. -Переводятся теперь такие ...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яй-

цо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах - весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полудиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду - костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада - сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две

ноги - два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони - и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки ...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

-Это вы, барчук? -тихо окликает кто-то из темноты.

-Я. А вы не спите еще, Николай?

-Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу -первый признак богатой деревни, - и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, -вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» - или разговоры в таком роде:

-И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет? -Как изволите говорить, батюшка?

-Сколько тебе годов, спрашиваю!

-А не знаю-с, батюшка.

-Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

-Как же-с, батюшка, -явственно помню.

-Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, -виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку. Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на

крыльце, согнувшись, трясая головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, -все о чем-то думает. «О добре своем небось», -говорили бабы, потому что «добра»у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль изпод грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева - чуть не прошлого столетия, чуньки -покойницкие, шея -желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, -«совсем хоть в гроб клади». А около крыльца

большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, -отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков -у Савелия, у Игната, у Дрона -избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и

вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее ... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю ...

-А где у вас ружье, Николай?

-А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

-Ух, здорово! -скажет мещанин. -Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли ...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому ... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

«Ядреная антоновка -к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился ... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь - велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень -пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко

гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же Выселки спокон веку, еще со

вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, - так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, -очень недавно, -имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок вестах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, -так весело в открытом поле в солнечный и прохладный

день! Местность ровная, вид;но далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Возьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, - совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба - небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек - невысоких, но домовитых - множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дво-

рового сословия -какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил фореитором, а теперь возит ее к обедне, -зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблокаит, а дом - крышей. Стоял он во

главе двора, у самого сада, - ветви лип обнимали его, - был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, -так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, -окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, -два старых

больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу ... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах ... Во всех комнатах - в лакейской, в зале, в гостиной - прохладно и сумрачно; это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, - антоновские, «бель-барыня», боровинка,

«плодовитка», - а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, - крепкий и сладкий-пресладкий ... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой ...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков -охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни ... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого -помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круго менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими ту-

чами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живую сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял злоеущие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро - и скоро, точно дым, затуманивали сол ще. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь ... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но

зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями ... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семен-

ныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

-Жалко, что промахнулся! -говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом -красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! -
и громко говорит:

-Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на

злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья - и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел - и все «заварилось» и покати-лось куда-то вдаль.

-Береги-и! -завопил кто-то отчаянным голо-сом на весь лес.

«А, береги!»- мелькнет в голове опьяняю-щая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвав-шийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелька-ют перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, уви-дишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза»наперерез зверю, -по зеленям, взме-там и жнивьям, пока, наконец, не перева-

лишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадись вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя - мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнее... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак ... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому ... Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней за-

ре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, -и началась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза -вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими

образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме - тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди - целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, - дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьяновых корешках. Славно

пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами ... Хо-

роши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это - «Дворянин-фило-соф», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, - рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на странном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упи-ваешься милым и манерным слогом перевода: «Государь мой! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, - точка с занятою); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длин-

ным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска ...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них Мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго! ..»И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины ... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою". Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократиче-

ски-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч ... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам ... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма,

жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синяя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни ... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной ко-

соворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверь в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

- Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

-Отрыж! - медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахоленные галки на гребне риги ... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым

бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою ... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и одностонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

- Ну, ну, девки, девки! - строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

- С Богом! - говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжа-

ньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях.

А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные све-

чи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял, -
начинает кто-нибудь грудным тенором. И
прочие нескладно, прикидываясь, что они
шутят, подхватывают с грустной, безнадеж-
ной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

ЭПИТАФИЯ

За крайней избой нашей степной деревуш-
ки пропадала во ржи наша прежняя дорога
к городу. И у дороги, в хлебах, при начале ухо-
дившего к горизонту моря колосьев, стояла
белоствольная и развесистая плакучая бере-
за. Глубокие колеи дороги зарастали травой с
желтыми и белыми цветами, береза была ис-
кривлена степным ветром, а под ее легкой
сквозной сенью уже давным-давно возвы-
шался ветхий, серый голубец, -крест с тре-
угольной тесовой кровелькой, под которой
хранилась от непогод суздальская икона Бо-

жией матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров пресвятыя богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку, - одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

-Пресвятая богородица, защити нас покровом твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень уби-

рала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно - «пряжей богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым су-

гробам и со стоном проносится по равнине, замечая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама царица небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб ... Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледно-синевадой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины

и дергали клювом шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам, - скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал первый гром,

Господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зелеными, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали веселые сенокосы ... Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, ко-

гда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих, - в поле, под открытым небом ...

Жизнь не стоит на месте, - старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зелене-ла весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо, казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по

дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пустыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке - равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы, -она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скарб, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

- Ни души! -сказал ветер, облетев всю де-

ревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издалека принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без со-

жаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землю, потому что ищут они источников нового счастья, -ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего ...

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь - серый, упавший на землю крест будет забыт всеми ... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?

1900

НАД ГОРОДОМ

Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валилась на церковный двор - и крест был похож на человечка с распростертыми руками... Потом мы вперегонки кидались к узкой двери в колокольню.

Длинная, почти отвесная лестница тотчас же за дверью терялась в темноте. В темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться внезапно - и, правда, скоро впереди мелькал проблеск. Еще несколько шагов, поворот - и мы в низком помещении, бледно озаренном решетчатым окном. Над головой - тяжелый накат из бревен, перекрещивающиеся в пыли и паутине балки, на полу - целые вороха извест-

кового птичьего помета, изогнутая медная купель среди кирпичей и мусора, суздальские облупившиеся иконы, кадило с оборванными цепями". Черничка-галка, с пухом в клюве, сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Таинственно в этой старой кладовке! Но осматриваться некогда. Голоса и топот ног опередивших нас раздаются уже над нами, -звонко и весело, как всегда весной в колокольне. И, кинув несколько быстрых взглядов на мусор и балки, мы спешили по темным изломам лестниц дальше ...

Вот наконец и первый пролет: сразу стало светло, просторно, в арки широко видно небо. Внизу - церковный двор, мощный камнем, красная крыша сторожки в углу ограды и береза у железных ворот ... Хорошо глядеть на все это сверху -видеть у себя под ногами верхушку березы! С высоты все кажется красивее, меньше; двор после весенних дождей стал бел, опрятен, между его высохшими плитами пробивается первая травка, а верхушка березы закудрявилась легкими, прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной и свежей. И как тепло! Выйдет солнце из-за об-

лака -чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на березе задорно зачиликают в этом блеске, извозчик, проезжающий мимо, хлестнет лошадь, -и совсем по-летнему затрещат по мостовой колеса".

- Идите сюда! -раздается чей-то крик сверху. И, переглянувшись, мы устремляемся к гнилой и крутой лестнице во второй ярус, более узкий и как будто более зыбкий, чем первый, и снова попадаем в полутемные недра колокольни, разделенные бревенчатыми по толками. Опять грубый и беспорядочный вид балок и лестниц, мешающихся в сумраке; опять холодок и запах кирпичных стен... Всюду запустение старой башни, все велико, покрыто пылью и птичьим пометом". Лестницы, под которыми валялись кирпичи и бревна, были шатки, колени у нас дрожали, сердце учащенно билось;

но в узкие окошечки возле лестницы мы видели лазурь, высоту, к которой стремились. На подоконниках, на лестницах и балках сидели сытые голуби, сизые и «жаркие», и так как мы уже чувствовали себя в одном мире с ними, то нам было очень жаль, что они так

поспешно, пугая и себя и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо хлопая свистящими крыльями. Это, впрочем, не мешало им тотчас же опускаться на другие лестницы и снова начинать гулкое, сердито-ласковое воркованье, топчась на одном месте с раздувающимися зобами. А в одном углу сидела на яйцах белая голубка -и с каким любопытством мы смотрели на нее сверху! Тут было совсем почти темно, только в длинное и узкое окошечко голубой лентой сияло небо...

-Васька идет! -радостно говорил кто-нибудь из нас, заглянув в это окошечко и увидав под колокольной звонаря Ваську. И тогда мы еще более ускоряли шаги, чтобы поспеть к звону. Ощущение высоты было уже очень сильно, когда мы выскакивали во второй пролет. Но нужно было сделать еще шагов тридцать, к колоколам, в третий ярус. Мельком мы заглядывали вниз -и не узнавали березы у ограды: так мала и низка стала она! Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним -разноцветные крыши города, сбегаящего к реке, улицы и переулки меж

ними, грязные дворы, сады и пустоши ... Вон во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке; вон мещанин, в жилетке и ситцевой рубахе, выходит из тесового, похожего на собачий, домика возле сарая; рядом, на почтовом дворе, лениво бродят с хомутами в руках ямщики, запрягая двух одров в тележку; а вон скучные каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скате которой, над мелкой рекой, стоит старый, приземистый собор с синим куполом в белых звездах ... Улицы пусты, - все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей развертывается вокруг города; а мы вот знаем и побежим еще выше, где уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к самому шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом ...

Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где

гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту, -и мы стремились к ней. Матер и говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем, -и на колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья ... Когда мы, запыхавшись, одолевали наконец последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да волнистую степь. Город, как пестрый план, лежал далеко под нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать на полете ласточки. В ожидании Васьки затевали мы драки, бегали друг за другом, стуча сапогами под медными шлемами колоколов, и громко кричали в них, возбуждая в меди эхо. Пробираясь по лесенке среди веревок, привязанных за колокольные языки, к главному колоколу, украшенному барельефами херувимов и надписью, какой купец отливал его, мы по очереди ударяли в края колокола: ударишь и слушаешь -и кажется, что где-то далеко идет певучий благовест к ранней обедне! И однажды, поднявшись на верх-

нюю ступеньку, вдруг увидал я на колоколе барельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Совета и прочитал сильное и краткое веление: «Благовествуй земле радость велию...»

Как поразила меня даже в то время эта надпись! Благовествовать взбирался на колокольню дурачок Васька; но даже эта жалкая фигура не мешает мне вспоминать предвечернее время весеннего дня, ясное небо в арках колокольни и ту могучую дрожь, которой гудела вершина колокольни вместе со всеми нами, когда, после долгих раскачиваний бил, Васька оглушал нас первым ударом, спугивал голубей со всех карнизов и уже весь отдавался любимому делу, утопая в звонком и непрерывном гудении меди. От этого гудения у нас верезжало в ушах, во всем теле; казалось, что вся колокольня с вершины до основания полна голосов, гула и пения. Не спуская глаз с мотающихся рук Васьки, стояли мы, охваченные восторгом перед гигантской силой звуков, замирая от захватывающей дух гордости, точно сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благо-

вествовать радость. Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами и ждали только одного - чтобы поскорее ответил своим низким басом соборный колокол, и чтобы Васька, в волнении соревнования, поднялся с лестницы во весь рост и уже изо всех сил ударил звониллом. Боже, какой трезвон начинался тогда над нашим убогим местечком и как мечтал я хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки!

Странное желание это и теперь иногда посещает меня. Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость - нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города, перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов, и этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Товарищи моих детских дней, те, что беспечно играли когда-то в лодыжки под заборами, те, которым детство сулило так много, - где они? А матери и отцы их, уже сторбленные и пригнутые к земле страдания-

ми и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь Бога, который всегда казался им жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов... И мне вспоминается далекое время, когда Васька так звучно и тяжело ударял в большой колокол. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что «бог не есть Бог мертвых, но живых»!

1900

МЕЛИТОН

Были светлые майские сумерки, я ехал верхом по нашему Заказу. Лошадь шла узкой дорогой среди свежей поросли осин и орешника. Кругом все было молодо, зелено, соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, перекликались друг с другом. Уже давно село солнце, но лес не успел еще стихнуть: горлинки журчали где-то вблизи, кукушка куковала в отдаленье ... В майские ночи сон слаб и недолог, до рассвета брезжит, заря зарю встречает.

Я выехал к поляне, где стояла караулка. В ложине за поляной лежал большой, полноводный пруд. Над прудом, над столетними березами и дубами, окружавшими его, слабо означался бледный и прозрачный круг месяца. А возле пруда на пне сидел Мелитон и кидал сухие прутья в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печурке под котелком, висевшим в ней. Как всегда, очень чисты были его заплатанные портки и рубаха, ладно подвязаны онучи. Он сидел, по-

ставив на колени локти, положив лицо в ладони, смотрел на огонь, а сам напевал что-то тихим и тонким, совсем женским голосом.

-Ай карасиков наловил, Мелитон? - спросил я, соскакивая с лошади.

Он поднялся, вытянулся во весь рост, с той особой выправкой, что присуща была когда-то только николаевским служакам, и тотчас принял бесстрастное выражение, как бы стараясь скрыть постоянную печаль своих бледно-бирюзовых глаз. Росту он был высокого, телом худ и костляв. Серые густые брови и такие же усы, на щеках сходящиеся со щетинистыми баками, придавали ему вид суровый, но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская рубаша, свидетельствующая о готовности лечь «под святые» когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки в чугунике стали сипеть и бурлить, он потыкал в них щепочкой и снял чугуниек с огня. Огонь стал потухать, - только красная грудка жара светилась в землянке. Возле нее пахло сторевшей дубовой листвой, а когда старик стал чистить картош-

ки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного стемневшего пруда, в тишине и сумраке все еще не гаснувшей весенней зари. Закат за деревьями вправо алел нежно и тонко, и казалось, что там уже рассветает.

-Мелитон, -спросил я с юношеской простодушностью, - правда, тебя сквозь строй прогоняли?

-Правда-с, -ответил он просто и кратко.

-А за что?

-А, конечно, за глупость, за провинности ...

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя на тлеющие угли. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой еще один ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть крупной соли. Ласково и нервно виляя хвостом, прибежал за ним Крутик, маленький, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою веселость. Он тоже сел возле печки, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым движением Мелитона, круто солившего хлеб. Соловьи по-прежнему пели страстно и звонко, нежно и удаю.

-Ведь ты совсем одинокий? -спросил я.

-Совсем-с. Была жена, да уж так давно, что и не вспомнишь.

-А дети?

-Были и дети-с, да их тоже Бог прибрал в свое время ...

И он опять замолчал, со старческой неспешностью пережевывая хлеб. Я вглядывался в движения его морщинистых щек, в его опущенные веки, стараясь проникнуть в тайну его печальной молчаливости. Он кротко и беспомощно взглянул на меня, -я отвернулся. Было мне тогда двадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, караулка, пучки каких-то трав и венчиков в ее сенцах под крышей, между сухой листвой решетника... На ногах Мелтона лыковые лапти, думал я, на теле замашная рубаха ... Как это чудесно -жить такой чистой, простой, бедной жизнью! И эти венчики -для кого он собирает, вяжет их? Венчики еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

-Совсем у тебя скит, Мелитон! Он ласково и грустно улыбну лея.

-В скиту часовенки бывают-с, -сказал он,

бросая корку Крутику, и залил водой из чугуника угли.

Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу уже светлая, лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, что чащи леса почернели и отделились от нее. Крутик, как только поужинал коркой, тотчас же принялся за свое ночное дело. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, будто весь лес полон злыми и неугомонными собачонками. Мелитон зажег в избе лампу, настилая мне на конике сена, - окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза. Потом он вынес лампочку в сенцы. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

-А то вот-с на коечку ложитесь, -сказал он, кивая на свою кровать.

В углу возле входа было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из березовых поленьев. На ней было тоже настлано сено, прикрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

-Да какой теперь сон, -сказал я, -скоро уж и светать станет.

-Скоро-с, -согласился Мелитон бесстрастно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было тихо, приятно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать: достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его донимали блохи.

-Ну, уж погоди, погоди, отучу я тебя спать под койкой! - бормотал он изредка, разумея Крутика.

Потом он кашлял, вздыхал, шептал что-то... Наконец я услышал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони листовой табак и опять напевал грустным женским голосом.

-Ах, господи-батюшка! -прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И, закурив трубку, оперся на руку и запел внятней, задушевней.

Слышно было, что рассказывал он в песне

про какие-то зеленые сады, с добрым укором напоминал кому-то те места, где «скончалась-распросталась, ах, да прежняя любовь".». Ночь сияла. Месяц выбрался на самую середину неба, стал над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройнее, чем днем. Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами. А вдали, за лесом, небо уж стало стекляннозеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела... Я закрыл глаза. Когда же очнулся, был уже день. Пруд весь дымился, поляна поседела от крупной росы, лес похолодевший, свежий, как будто еще недвижимой стоял вокруг пруда. А потом в окна потянуло влажным ветром, в пруду заквакали лягушки, и петух, сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах хриплым басом. Мелитон, согнувшись, шел к избе от пруда с полным, тяжелым ведром, из которого плескалась вода,

и оставлял за собой длинный ярко-зеленый след по седой траве...

В последний раз навестил я Мелитона как-то прошлой зимой. Помню, день был хмурый, туманный, густой иней пара стоял на деревьях. Я ездил на станцию за почтой, потом, выехав со станции, уже в сумерки, перевалив с ее двора через сугроб на выезд в поле, решил свернуть к Заказу. Быстро темнело. Лошадь моя от инея вся посерела и закудрявилась, ресницы и усы у меня вскоре стали такими же. В поле сперва ничего нельзя было разглядеть даже в двух шагах - только серая, дикая мгла. Но вот в этой мгле стало светлеть и светлеть. Пробиваясь сквозь нее малиновым шаром, стал подниматься вдали большой месяц, пополам перерезанный длинной лиловой тучкой. Поднимаясь, он оставил эту тучку ниже себя, а сам становился все ярче, золотистей. Когда же я подъехал к Заказу, въехал в тень, далеко лежавшую от него по полю и испещренную узорами света, все уже блистало в полях и в Заказе как бы в некоем сказочном царстве. А потом дивной красной звездой засветился огонек в караулке и по всему

чуткому, морозному лесу пошел звонкий, разбегающийся по чащам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем посыпался иней. Я постоял и послушал глубокую тишину леса, потом осторожно подошел к завалинке караулки и заглянул в полузамерзшее окно. И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей святой суровостью. В глубине слабо освещенной, дочерна закопченной избы он стоял перед дощечкой иконы в углу и, закрыв глаза, кланялся ей то до земли, то в пояс. Видно было, что он только что выкупался, - редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто пробрит, длинная белая рубаха распоясана. Порой он закидывал голову назад и долго, долго стоял так с закатившимися под лоб глазами".

Говорил он в тот вечер опять мало, был особенно тих и ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул иубу и сидел на лавке. А он тянулся, стоял передо мною, отвечал не спеша и все опускал веки. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

-Мелитон, отчего ты всегда такой скучный? Он

удивился.

- Я-с? -спросил он растерянно. — Я ничего-с... Известно, старость ...

- Или горе у тебя какое? -сказал я, глядя ему в глаза.

- Избави Бог-с! -сказал он поспешно. — Я караюлю-с...

- Да нет, я не про то, -сказал я, смутившись. -Я так спросил... Он

понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

- А я думал, обида какая-с, -сказал он. -А что я не веселый, так какое же мне теперь веселье? Да и грехов много-с.

- Какие же у тебя грехи, Мелитон!

- Грехи-с у всякого есть, -сказал он серьезно. -На то и живем-с, чтобы за грехи каяться.

- Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век. Он

опять удивился и даже слегка нахмурился.

- Ем-с, как все, -сказал он скороговоркой. -Едят и хуже моего, да и то не гnevят Бога жалобой.

- Ну, коли так, будь здоров, до свиданья, - сказал я, надевая шубу, поднимаясь и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица бриллиантами висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

-Прощай, Мелитон, -сказал я, садясь в сани.
-Иди в избу, простудишься!

-Никак нет, -ответил он. -Счастливой дороги-с...

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозья пели и визжали, ветер обжигал лицо, сковывал усы, ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе еотовым воротником.

1900—1930

СОСНЫ

I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи ...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году ...

«Чем не сказочный бор?»- думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

-Есть ли жив-человек в этих хижинах? -говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в

такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью". И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка на топлене жарко, а к шуму и стуку я так при-

вык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, - не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

Ходит сон по сеням,

А дрема по дверям, -

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный,

как лапах разрезанного арбуза.

- Спите? -спрашивает Федосья осторожным шепотом.

- Нет... А что? Это ты, Федосья?

- Я-с, - отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. -Ай я вас разбудила?

- Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери, -хорошо ли притворила? -и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

-Там пыль! -говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. -Что, давно вечер-то по часам?

-Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

-Ах, господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то ! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут -замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

-Постойте, -в каком ухе звенит?

-В правом, -отвечаю я. -Нынче они не поедут ...

-Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:

-Так-то на суроки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось ...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. **Я** машинально ловлю ее слова, они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, -певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки,

-не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша...».

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу золотых арф, заглушенных стенами и вьюгой. «Ходит сон по сням, а дрема по дверям», и, намаившись за день, поевши «соснового» хлебужка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, Господи, веши!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

-Ох, Г осподи! -говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. - Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? - прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

-Рано еще...

-А мой сгад -нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зимой и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зимой и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

- Хорошо у нас! - говорил он мне часто. - Главное дело - лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес - в

лесу зарабатывать. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной -и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу -лес из лесу выходит, синее, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, заснешь -глядь, уж опять утро и опять пошел на работу ... была бы шея -хомут найдется! Говорят -живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его как надо жить -не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано -и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу -Митрофан шел беспрекословно ... И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, -перед смертью.

-За траву не удержишься! -говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал

ему съездить в больницу.

И кто знает, - не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал, - значит, так надо!» - думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, - совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю раз-

глядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная, куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озерка, теперя занесенного снегом, -изба Митрофана. И я иду, -долго, упорно и мучительно, -и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь, -собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает Псалтырь. В глубине избы, на нарах, видны в по-

лумраке фигуры спящих баб и детей..

II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запущенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, - синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеле-

ным бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукруглым прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою,

в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом.

-Градусов сорок будет! -с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое, -по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу, -усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки".

-Митрофанов брат пришел, -докладывает Федосья, просовывая голову в дверь, -тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?" Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому, и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

-Ну, и денек господь послал! -говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое

ясное небо над нею. -Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» - и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, принаравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не

потеряв равновесия, -и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла ... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб ... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадучке тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок ... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, ше-

потом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает Псалтырь Тимошка.

- Совсем талый! -с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор. О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, -видно, как тяжела эта ледяная рука, -подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшней день, -его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долог в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый

луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника

Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше". Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскочивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко ... В деревушке - ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана ... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у божьего трона, с высоты которого господь незримо присутствует над снежной лесной страной ...

III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались, -только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока, наконец, увидел среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь, -весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлтый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в венчике. Кадило в ру-

ках священника было почти пусто, дешевый ладан, орошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, напере-

бой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки, - печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, побряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки, где-то высоко над головой

тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным -думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, -тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косо-го-ру правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задевая за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над

ними. Минуты текли за минутами -я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

НОВАЯ ДОРОГА

И -Напрасно уезжаете ! -говорят мне знакомые, поздним вечером прощаясь со мной на вокзале. - Добрые люди только съезжаются в Петербург. Чего вы там не видали? Лесов, су-гробов? А потом еще эта новая дорога, на которой дня не проходит без крушений!

- Бог милостив! - отвечаю я.

Провожающие пожимают плечами. Наступают те неприятные минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки делаются фальшивыми, а время начинает идти страшно

медленно.

Наконец раздается второй звонок. Махая шляпами, провожающие уходят и, оборачиваясь, кланяются уже с искренней приветливостью.

-Готово! - кричит кто-то около паровоза, и паровоз тяжело стучается буферами в вагоны. Слышно, как он сдержанно сипит горячим паром, изредка кидая клубы дыма, и платформа пустеет. Остаются только высокий красивый офицер с продолговатым, нагло-серьезным лицом в полубачках, и дама в трауре. Дама кутается в ротонду и тоскливо смотрит на офицера заплаканными черными глазами. Потом с неловкой поспешностью очень сытого человека проходит большой рыжеусый помещик с ружьем в чехле и в оленьей дохе поверх серого охотничьего костюма, а за ним приземистый, но очень широкий в плечах генерал. Потом из конторы быстро выходит начальник станции. Он только что вел с кем-то неприязненный спор и поэтому, резко командовав: «Третий», так далеко швыряет папиросу, что она долго прыгает по платформе, рассыпая по ветру красные искры. И тотчас

же на всю платформу звонит гулкий вокзальный колокол, раздаются гремучие свистки оберкондуктора, мощные взреывания паровоза - и мы плавно трогаемся.

Офицер идет по платформе, раскланиваясь, ускоряя шаги и все более отставая от вагонов; паровоз отрывистее и резче кидает изпод цилиндров горячим паром ... Но вот мелькнул последний фонарь платформы, офицера точно сдернуло - и поезд очутился в темноте. Она сразу развернулась, усеянная тысячами золотых огней в предместьях, а поезд уверенно несется в нее мимо товарных складов и вагонов, грозно предупреждая кого-то дрожащим ревом. Светлые отражения окон все быстрее бегут по рельсам и шпалам, ускользящим в разные стороны, потом по снегу. Скоро в вагоне станет тепло и уютно, и, беспорядочно громоздя вещи по диванам, пассажиры начнут располагаться на ночь. Седой, строгий, но очень вежливый старичок-кондуктор в пенсне на кончике носа не спеша проходит среди этой тесноты и пунктуально переписывает билеты, наклоняясь к фонарику своего помощника.

Воздух в полях, после города, кажется необыкновенным, - и, как всегда, я до поздней ночи стою в сенях вагона, отворив боковую дверь, и напряженно гляжу против ветра в темные снежные поля. Вагон дрожит и дребезжит от быстрого бега, ветер сыплет в лицо снежной пылью, свет фонаря в сенях прыгает, мешаясь с тенями. И, качаясь, я хожу от двери к двери по холодным сеням, уже побелевшим от снега... Прежде в пути всегда хотелось петь, кричать под грохочущий марш поезда. Теперь не то. Плывут, бегут смутные силуэты холмов и кустарников, с мгновенным глухим ропотом проносятся под колесами чугунные мостики, в далеких, чуть белеющих полях мелькают огоньки глухих деревушек. И, щурясь от ветра, я с грустью гляжу в эту темную даль, где забытая жизнь родины мерцает такими бледными тихими огоньками ...

Возвратясь в вагон, вижу в полусумраке фигуры лежащих; тесно от шуб и поднятых спинок диванов, пахнет табаком и апельсинами ... Согреваясь после холодного ветра, долго смотрю полузакрытыми глазами, как покачивается меховое пальто, повешенное у

двери, и думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает. Славная вещь -этот сон в пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поезд затихает. Тогда слышатся громкие голоса под окнами, шарканье ног по каменной платформе, а в вагоне ровное дыхание и храп спящих. Что-то беспокоит глаза ... Это тусклый и лучистый, желтоватый блеск замерзшего окна, за которым вокзальный фонарь. Он мутно и неприятно озаряет сумрак вагона.

- Не знаете, какая станция? - спрашивает кто-то странным испуганным голосом...

Потом звонок бьет где-то далеко-далеко, усыпительно, хлопают двери вагонов, и доносится жалобный гул паровоза, напоминающий о бесконечной дали и ночи. Что-то начинает вздрагивать и поталкивать под бок; металлически-лучистый блеск фонарей проходит по стеклам и гаснет; пружины дивана покачиваются все ровнее и ровнее, и наконец непрерывно возрастающий бег поезда снова погружает в дремоту...

Внезапное прикосновение чьей-то руки извещает перед утром о пересадке. Испуганно

вскакиваю, торопливо забираю вещи и через большую, но сонную и тускло освещенную станцию иду на какую-то длинную платформу, занесенную свежим глубоким снегом, к маленькому поезду, составленному из самых разнокалиберных вагонов... Новая дорога! Тишина, маленькие вагоны, душистый дым березовых дров, запах хвои ... Славно!

В полудремоте попадаю в вагон-микст, тесный, с квадратными окнами, и тотчас же снова крепко засыпаю. И к утру оказываюсь уже далеко от Петербурга. И начинается настоящий русский зимний путь, один из тех, о которых совсем забыли в Петербурге ...

II

Будит меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза: вижу станового, старого служаку в рыжей енотовой шубе поверх серой полицейской шинели. От натуги глаза у него вытаращены и полны слез, обветренное лицо красно, седые усы взъерошены. Он необыкновенно жарко раскурил огромнейшую папиросу из дешевого крепкого табаку, а в старом вагончике и без того сумрачно, потому что окна полузанесены снегом. Поезд трясет и гремит,

как телега.

-Вот так кашель! -говорит становой, отдуваясь, так просто и добродушно, точно мы росли вместе. -Только и полегчает, когда немножко покуришь!

«Ну, значит, Петербург далеко!»- думаю я и заглядываю в окна. О, какой белый, чистый снег! Белое безжизненное небо и белое бесконечное поле с кустарниками и перелесками. Проволоки телеграфных столбов лениво плывут за окнами, точно им скучно подниматься, опускаться и вытягиваться вслед за поездом, а столбам надоело бежать за ними. Поезд на подъемах скрипит и качается, а под уклоны бежит как старик, пустившийся догонять кого-нибудь. Однообразно белеют поля, машет вдали крыльями птица, чернеют кустарники и деревушки -и все это кругами уходит назад. Ветер лениво развеивает дым паровоза, и кустарники, по которым расстилается этот дым, будто курятся и плавают по снежному полю...

Пассажиров, кроме меня и станового, который, впрочем, скоро слезет на разъезде, всего-навсего один: бородатый коренастый старик -железнодорожный артельщик с сумкой

через плечо, похожий на уездного лавочника. Он усердно занимается насыпкой папирос и чаепитием, все утро слышно, как он с наслаждением схлебывает с блюдечка горячую жидкость.

- Не угодно ли-с? - говорит он, указывая глазами на жестяной чайник. - А то что ж на вокзалах-то платить по гривеннику за стаканчик!

Около двери, где я помещаюсь, по ногам несет холодом; сижу, закутавши колени, и смотрю то на свежие выемки около линии, то на новенькие тесовые станции и разъезды, то на белое поле с перелесками, и кажется, что стволы деревьев трепещут и сливаются, а весь перелесок идет кругом: ближние деревья, трепеща, бегут назад, а дальние постепенно заходят вперед... Потом мы с артельщиком пьем чай, потом я отправляюсь бродить по вагонам и площадкам". Необыкновенно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей Русью пахнет!

Станции и разъезды часты, но они теряются среди окружающего их пустынного и огромного пейзажа зимних полей. Еще не за-

владела новая дорога краем и не вызвала к себе его обитателей. Постоит поезд на пустой станции и опять бежит среди перелесков ... Едем все же с опозданием: стояли в поле, и никто не знал почему, и все сидели в томительном ожидании, слушая, как уныло шумит ветер за стенами неподвижных вагонов и как жалобно кричит бочкообразный паровоз, имеющий манеру трогать с места так, что пассажиры падают с диванов. Качаясь на неровном бегу поезда, я хожу из вагона в вагон и везде вижу обычную жизнь русского захолустного поезда. В первом и втором классе пусто, а в третьем - мешки, полушубки, сундуки, на полу сор и подсолнухи, почти все спят, лежа в самых тяжелых и безобразных позах. Неспящие сидят и до одурения накуриваются; жаркий воздух синеет от едкого и сладковатого дыма махорки. Один лотерейщик, молодой вор с бегающими глазами, не дремлет. Он собирает в кучку мужиков и полупьяных рабочих, и они, пробуя свое счастье, изредка, точно на смех, выигрывают то карандаш в две копейки, то какой-нибудь бокал из дутого стекла. Слышится спор и говор, неистово кри-

чит ребенок, поезд стучит и гроыхает, а солдат, в новой ситцевой рубаше и в черном галстуке, сидит над спящими на своем сундучке и, поставив ногу на противоположную лавочку, с бессмысленными глазами и вытянутой верхней губой, рычит на тульской гармонике: «Чудный месяц плывет над рекою» ...

-Станция Белый Бор, остановки восемь минут... -кричит кондуктор, рослый мужик в тяжелой длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, с такой силой хлопает дверями, точно хочет заколотить их навек.

Это значит, что начинаются леса. После Белого Бора через две станции -уездный город, по имени которого и называются эти леса, смешанное чернолесье и красноелесье. Проходит еще час, полтора - и вдали, из-за леса, показываются главы и кресты монастыря, которым далеко известен этот город. Бор вокруг него вырубают нещадно, новая дорога идет как завоеватель, решивший во что бы то ни стало расчистить лесные чащи, скрывающие жизнь в своей вековой тишине. И долгий свисток, который дает поезд, проходя перед городом по мосту над лесной речкой, как бы изве-

щает обитателей этих мест об этом шествии.

На несколько минут вокруг нас закипает суматоха. За деревянным, кирпичного цвета вокзалом видны тройки, громыхают бубенчики, кричат наперебой извозчики; зимний день сер и тепел, и похоже на масленицу. По платформе гуляют барышни и молодые люди, среди которых дает тон высокий телеграфист, местный красавец, франт в дымчатом пенсне и кавказской папахе. Двери в вагоне поминутно растворяются, со двора несет холодом, пахнет снегом и хвойным лесом. Статный лакей в одном фраке и без шапки носит жареные пирожки, и странно видеть среди леса его крахмальную рубашку и белый галстук. В наш вагон набирается много барышень, которые кого-то провожают и шепчутся, играя глазами; купец с подушкой ломится к своему месту, давя на пути все встречное, а худой и очень высокий священник, запыхавшись и сдвинув с потного лба на затылок бобровую шапку, вбегает в вагон и убегает, униженно прося носильщика о помощи. Он укладывает бесчисленное количество узлов и кулечков на диваны и под диваны, извиняется перед

всеми за беспокойство и притворно-весело бормочет:

- Ну, теперь так! Вот это сюда... А вот это, я думаю, и под лавочку можно . . . Я не потревожу вас? Ну, и чудесно, покорнейше благодарю!

В толпе ковыляет хромой разносчик с корзиной лимонов, монашенки с убитыми лицами жалобно просят на обитель... Вагон везут назад и опять останавливают. Долго слышится, как кондуктора переругиваются и гремят по окнам сигнальной веревкой, протягивая ее от паровоза по поезду ... Наконец поезд трогается.

И опять перед окнами мелькают березы и сосны в снегу, поля и деревушки, а над ними - серое небо...

III

Эти березы и сосны становятся все неприветливей; они хмурятся, собираясь толпами все плотнее и плотнее. Идет молодой легкий снежок, но от сплошных чащей в вагонах темнеет, и кажется, что хмурится и погода. Омрачается и радость возвращения к тихому лесному дню... Новая дорога все дальше уво-

дит в новый, еще неизвестный мне край России, и от этого я еще живее чувствую то, что так полно чувствовалось в юности: всю красоту и всю глубокую печаль русского пейзажа, так нераздельно связанного с русской жизнью. Новую дорогу мрачно обступили леса и как бы говорят ей:

-Иди, иди, мы расступаемся перед тобою. Но неужели ты снова только и сделаешь, что к нищете людей прибавишь нищету природы?

Зимний день в лесах очень короток, и вот уже синеют за окнами сумерки, и мало-помалу заползает в сердце беспричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербург представляется далеким оазисом на окраине огромной снежной пустыни, которая обступила меня со всех сторон на тысячи верст. Вагон опять пустеет. Опять со мною только артельщик и двое спящих, -кавалерист и помощник начальника станции. Кавалерист, молодой человек в крепко натянутых рейтузах, спит как убитый, богатырски растянувшись на спине; помощник лежит вниз лицом, слабо покачиваясь, точно принаравливаясь к толчкам бе-

гущего поезда. И тяжело смотреть на его старое пальто и старые калоши, свесившиеся с дивана.

Все сгущается сумрак в холодном, дребезжащем, неуклюжем вагоне. Мелькают стволы высоких сосен в сугробах, толпами теснятся на пригорках монахини-елочки в своих черных бархатных одеждах ... Порою чаща расступается, и далеко развертывается унылая болотная низменность, угрюмо синее амфитеатр лесов за нею, и полосой дыма висит молочно-свинцовый туман над лесами. А потом снова около самых окон зачестят сосны и ели в снегу, глухими чащами надвинется чернолесье, потемнеет в вагоне... Стекла в окнах дребезжат и перезванивают, плавно ходит на петлях не притворенная в другое отделение дверь, а колеса, перебивая друг друга, словно под землей, ведут свой торопливый и невнятный разговор.

- Болтайте, болтайте!-важно и задумчиво говорят им угрюмые и высокие чащи сосен. - Мы расступаемся, но что-то несете вы в наш тихий край?

Огоньки робко, но весело светят в малень-

ких новых домиках лесных станций. Новая жизнь чувствуется в каждом из них. Но в двух шагах от этого казенного домика начинается совсем другой мир. Там чернеют затерянные среди лесов редкие поселки темного и унылого лесного народа. На платформах стоят люди из этих деревушек, - несколько нищих в рваных полушубках, лохматых, с простуженными горлами, но таких смиренных и с такими чистыми, почти детскими глазами. Опустив кнуты, они выглядывают пассажира почти безнадежно, потому что на несколько человек из них редко приходится даже один пассажир. И, тупо глядя на поезд, они тоже как бы говорят ему своими взглядами:

- Делайте, как знаете, - нам податься некуда. А что из этого выйдет, мы не знаем.

Гляжу и я на этот молодой, замученный народ... На великую пустыню России медленно сходит долгая и молчаливая ночь ...

Ночь эта будет теплая, с мягко падающим, ласковым снежком. На минуту поезд останавливается перед длинным и низким строением на разъезде. Освещенные окошечки его,

как живые глаза, выглядывают из векового соснового леса, занесенного снегами. Паровоз, лязгая колесами по рельсам, плавно прокатывает мимо поезда, приводит к нему десяток товарных вагонов и двумя жалобными криками объявляет, что он готов. Крики гремучими переливами далеко бегут по лесной округе, перекликаясь друг с другом ...

- Сейчас нехорошее место будет! - со вздохом говорит стоящий за мной на площадке вагона мещанин. - Тут сейчас подъем версты в три, а потом насыпь. Смотреть жутко! Тут дня не проходит без беды... Я смотрю, как уходят от нас и скрываются в лесу огоньки станции. «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? - думается мне. - Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им? Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величавые и мощные чащи стоят вокруг, тихо задремывая в эту теплую январскую ночь, полную нежного и чистого запаха молодого снега и зеленой хвои! И какая жуткая даль!»

Я гляжу вперед, на этот новый путь, кото-

рый с каждым часом все неприветливее встречают угрюмые леса. Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный туннель. Столетние сосны замыкают ее и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым дыханием, он, как гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его изрыгает вдали красное пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, злобно озаряет угрюмую аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над ним длинную белею грядую, полной огненных искр и окрашенной из-под низу кровавым отражением пламени.

1901

ТУМАН

Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал па-

роход, что мы казались друг другу призраками,двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлей, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, но так робко, что дрожь от работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками, - тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной дали, но туман окутывал, как сон, притуплял слух и зрение; пароход был похож на воздушный корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах - холодная паутина, и матрос, который курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел его во сне... В шесть часов мы снова

стали.

Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без смысла и однообразно звонил на носу, где-то мрачным и тоскливым голосом простонала «сирена»... может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана ... Туман темнел все угрюмее. Вверху он сливался с сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо плескалась в пароводные бока. Наступала долгая зимняя ночь.

Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в кают-компанию. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было светло, шумно илюдно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног,

раздававшийся над головой, кто-то заиграл манерно-печальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на люди. Я оделся и вышел.

Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере, казалось так, и было приятно, что вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими глазами. Потом устали и захотели спать... И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то там был уже полный мрак, как почти и всюду на пароходе. Сверху доносился иногда звон колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже... И все точно вымерло.

Я прошелся вниз, по коридорам, посидел в рубке, прислоняясь к холодной мраморной стене... Вдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп. Внутренне напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней палубе -и остановился, пора-

женный красотой и печалью лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Был уже очень поздний, - может быть, предрассветный час. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба,

тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь ... совершенно такая же, как пять, десять тысяч лет тому назад... Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлomu мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, - во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением.

Медленно поднялся я на последние сту-

пеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестя кое-где продольные полосы воды, - следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие дымчатые тени. В середине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, в мачтах - высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она угодила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати шагах от меня, - дальше он мерцал уже чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц - бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина - тайна, часть того, что за пределами познаваемого ...

Внезапно зазвонили на баке в колокол.

Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие опасности заставило меня впитаться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем пароходе с поспешностью очнувшегося

от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, а затем тяжело захрипела труба, и из нее с трудом пробился широкий и мрачный гул, потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувство-

валось что-то задорное и суетное, - верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок, -но что значила эта суетная смелость перед лицом такой ночи!

«Где мы?»— пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят непробудным сном, -туман сбил меня с толку ... Я не представляю себе, где мы, потому что в этих местах на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное -зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?

Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то прокричал петух... Я усмехнулся. «Этого не может быть», -подумал я с какой-то странной радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким!

Если бы в этот час выплыла на месяц наяда, - я не удивился бы... Не удивился бы, если бы утопленница вышла из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают... Теперь месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат, как мертвые... Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет, - зачем? Мне никто не нужен теперь, и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу ...

И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что всегда влекло меня к себе, - о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни, - слиться со всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во тьме времен и веков. Одно я знал без всяких

колебаний и сомнений, -это то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею земною древностью ... может быть, та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи... И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют *смертью*, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку...

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное, -ясное бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и

вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов.

1901

ТИШИНА

Мы приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рассвету от дождя осталась только свежесть в воздухе. Отворив дверь на балкон, мы почувствовали упоительную прохладу раннего осеннего утра. В улицах таял молочный туман с озера, солнце тускло, но уже бодро блистало в тумане, а влажный ветер тихо покачивал кроваво-красные листья дикого винограда на столбах балкона. Мы умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким сном, готовые на какие угодно скитания и с молодым предчувствием чего-то хорошего, что сулит нам день.

- Славное утро опять послал нам Бог! - сказал мне товарищ. - Ты заметил, что первый день после нашего приезда куда-нибудь - непременно погожий? Не курить, есть только молоко, зелень, жить на воздухе и просыпаться вместе с солнцем - как это облагораживает

дух! Скоро об этом будут говорить не доктора, а поэты ... Не кури, не кури - это дает ощущение, давно не испытанное, ощущение чистоты и юношеской свежести.

Но где озеро? И на минуту мы остановились в недоумении. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой.

Солнце на пустой набережной уже сильно пригревало сквозь туман, и все сияло перед глазами. Но долины, озеро и дальние Савойские горы еще дышали холодом. Выйдя на набережную, мы невольно остановились в том радостном изумлении, которое испытываешь всегда, внезапно увидав простор моря, озера или долин с высоты. Савойские горы таяли в светлом утреннем пару, и под солнцем едва можно было различить их: приглядишься - и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линию хребта, вырезающуюся в небе, а потом почувствуешь и самую массивность горных громад. Вблизи, в огромном пространстве долины, в прохладной и влажной свежести

сти тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города. Точно серые поднятые крылья возвышались они в воздухе, но были еще беспомощны в тишине утра. Две-три чайки низко и плавно скользнули над водою, и одна из них вдруг блеснула мимо нас и метнулась в улицу. Мы разом обернулись за ней и видели, как она, испуганная непривычным зрелищем, сделала резкий и быстрый поворот назад ... Счастливы люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро!

И нас потянуло в горы, на озеро, куда-то вдаль... Пока испарялся туман, мы сходили в город, купили в кабачке вина и сыру, полюбовались чистотой и приветливостью улиц, живописными тополями и платанами в тихих золотых садах. Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто над ними.

- Знаешь, - говорил мне товарищ, - мне часто не верится, что я действительно в тех местах, о которых, бывало, только мечтал, глядя на карту, и все хочется напомнить себе об этом. Чувствуешь ты, что вот за этими гора-

ми, так близко от нас -Италия? Чувствуешь ты юг в этой удивительной осени? А вон Савойя -родина тех самых мальчигов-савояров с обезьянками, о которых читал в детстве такие трогательные истории!

У мостков пристани дремали на солнце и лодки и лодочники. В голубой прозрачной воде видны были песчаное дно, сваи и кили лодок. Было совсем летнее утро, и только по тому спокойствию, которое царило в прозрачном воздухе, чувствовалось, что это спокойствие последних дней осени. От тумана не осталось и следа, озеро было необыкновенно далеко видно по долине. И, сняв пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла, стала отдаляться. Уходил и сиявший под солнцем город, набережная, парки ... Впереди вода блестела ослепительно, около лодки становилась все глубже, тяжелей и прозрачней. Весело было погружать в нее весла, чувствовать ее упругость и смотреть, как взлетают из-под весел брызги. А когда я оглядывался, я видел раскрасневшееся лицо моего спутника и голубую ширь, вольно и спокойно лежавшую среди покатых гор, покрытых жел-

теющими лесами, виноградниками и виллами в парках. На минуту мы опустили весла - и наступила глубокая тишина. Прикрыв глаза, мы долго слышали только однообразное журчание воды, бегущей вдоль бортов лодки. И даже по звуку можно было угадать, как чиста и прозрачна она.

- Едем? - спросил я.

- Погоди - слушай!

Я совсем поднял весла, и журчание стало медленно замедляться. С весел упала капля, другая? Солнце все жарче пригревало нам лица... И вот издали издали долетел до нас мерный и звонкий голос колокола, одиноко звонившего где-то в горах. Так далеко был он, что порою мы едва улавливали его.

- Помнишь колокол Кёльнского собора? - вполголоса спросил меня товарищ. - Я проснулся раньше тебя, еще утренняя заря чуть брезжила, - стал у раскрытого окна и долго слушал, как он одиноко и звонко кричал над своим старым городом. Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, старые города, старые картины, Париж... Но это не то, это лучше...

Звон колокола, чистый и нежный, доно-сился до нас, сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды. С отдаленным, глухим и сердитым ропотом ко-лес прошел верстах в двух от нас весь белый и сверкающий пароходик. Плавные, стекло-видные перекаты воды долго и широко бежа-ли к нам и, наконец, ласково заколыхали лод-ку.

- Вот мы и в горах, - сказал мне товарищ, когда пароход стал, сокращаясь, удаляться. - Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну той тишины, которой нет имени на нашем языке.

Медленно работая веслами, он говорил и слушал, а озеро все шире обнимало нас. Звон колокола казался то ближе, то дальше.

«Где-то в горах, -думал я, -приютилась ма-ленькая колокольня и одна славит своим звонким голосом мир и тишину воскресного утра, призывая идти к ней по горным тропин-кам, над голубым озером...»

Далеко по горам пестрели нежными осен-ними красками леса и рощи, одиноко прово-

дили ясный осенний день живописные виллы в садах... Чтобы вымыть стакан, я зачерпнул в него воды и бросил ее в воздух. Она взвилась и блеснула в воздухе.

-Помнишь ты «Манфреда»? -сказал товарищ. - Манфред в Бернских Альпах, у водопада. Полдень. Он произносит заклинания, берет в пригоршни воды и бросает ее в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор... Как это прекрасно! Вот сейчас я подумал, что влаги можно поклоняться, как поклонялись огню... До чего это понятно -обожествление природы! Какое это великое счастье - жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни? Вот на этом озере были когда-то Шелли, Байрон ... потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пройдем и мы с тобой ... Хочешь вина?

Я подставил стакан, он налил и прибавил с

грустной улыбкой:

-Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней. Помнишь Ибсена: «Ты слышишь, Майя, тишину?» Слышишь ли ты ее, эту *тишину гор*?

Мы долго глядели на горы и на чистое нежное небо над ними, в котором была безнадежная грусть осени. Мы представили самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывала еще нога человека ... Солнце стоит над глубокими и со всех сторон замкнутыми долинами, орел парит в огромном пространстве между ними и небом ... И только нас двое, и мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках эдельвейса...

Не спеша работая веслами и прислушиваясь к замирающему звону, мы говорили о путешествии в Савойю, о том, сколько времени мы можем пробыть там-то и там-то, но мысли наши снова невольно возвращались к мечтам о счастье. Красота новой для нас природы, красота искусства и религии всюду волновала нас юношеской жаждой возвысить до нее нашу жизнь, наполнить ее истинными

радостями и разделить эти радости с людьми. Женщины, за которыми мы всюду следили в пути, дразнили нас жаждой любви, возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тот идеально-женственный образ, который мелькал перед нами". Но не сказочное ли это счастье, которое уходит за темные леса и горы все дальше по мере того, как идешь за ним?

Товарищу, с которым я пережил так много в пути, одному из немногих, которых я люблю, посвящаю эти немногие строки. Посылаю мой привет всем друзьям нашим по скитаниям, мечтам и чувствам.

1901

КОСТЕР

У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко, и, чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака. А вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный из-под низу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они сидят в каком-то хмуром подземелье и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени.

Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огне и залаяла. Потом поднялся с земли один из сидевших. В низком пространстве, озаренном костром, он был огромен.

- Гирла-а! - гортанно и глухо крикнул он на

собаку. Остановив лошадей, я попросил спичек:

- Добрый вечер! Нельзя ли закурить у вас?

За лаем собаки, человек, который выжидал, встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке и накинутом на плечи кожухе, не расслышал, злобно топнул ногой.

- Ат, каторжна! -крикнул он на овчарку и, не спуская с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным цыганским говором: -Добрый вечер, пану! А що милости его завгодно будэ?

Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой, кудрявой бороде -во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека.

- Да вот, закурить нечем, -повторил я. -Дайте, пожалуйста, пару спичек.

- А хйба ж есть спички у цыган? -спросил старик. -Може, пан от костра запалит?

Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь.

Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул два-три быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, видно, бродяга-рабочий с низов, другой - молодой цыган. Он сидел, горделиво откинув голову назад, и, охватив руками поднятые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было тонко и очень красиво. Белки глаз выделялись на этом лице -и глаза казались изумленными. Одет он был щеголем: тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха.

- Може, пан блукае? -спросил старик, кидая уголь.

- Нет, -сказал я и еще раз глянул за костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них -самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью полуголового ребенка. Надо всем же этим стояла девочка лет пятнадцати и задумчиво смотрела на меня печально-призывны-

ми глазами необыкновенной красоты.

- Може, проводить пана? - повторил старик живо.

- Нет, спасибо, - поспешил я ответить и откинулся в задок тарантаса.

- Пошел!

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки.

Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло свежестью ночи, и опять, темнея в сумраке, бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезывалась в небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза, старое серебряное монисто на шее... И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство -томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознагради-мой потере...

1902-1932

В АВГУСТЕ

Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья, - в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.

На пыльной площади, у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой

белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, - стройная, несмотря на тяжесть плескавшей воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару ... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...

Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я

встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, - все опять заставило

мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычи» этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно «гуколи» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепи. Но в затишь долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь. Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала

глубокая пыль: казалось, то идешь в бархатных башмаках. И все вокруг -и жнивья, и дорога, и воздух -сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета, ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крышья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, словно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...

В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора, -поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко -там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате

был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом ...

- Вы куда? -внезапно окликнул меня женский голос.

Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.

- Скучно? -спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо. Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубахе и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому

жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.

- Муж ушел на леваду молотить, -сказала

она, -а Виктор Николаич уехал ... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?

- Помню, -сказал я машинально.

И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.

- Отчего вы не откровенны со мной? -начал я. -Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:

- Дайте мне папироску.

Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

- Я с самого утра так сижу, -сказала она. - Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы... И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень...

Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу ... Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко

мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах ...

1901

ОСЕНЬЮ

I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

-Ну, мне пора, - сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, - то, что она знала, что я выйду с нею.

- Вы тоже? - полуутвердительно спросила она. - Значит, вы проводите меня, - прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах - во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко хлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

- Вы хорошо видите? - спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость. Я, наступая на лужи и

листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и уксусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею".

II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, - не холодно ли ей, -

она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она от-

ветила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сторбленная фигура выростала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами - и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились ли-

цом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, - легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, - и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам ...

III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, - наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землей, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, - они были рассыпаны точно где-то в темном море, - а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

- Куда мы едем? -спросила она, сдерживая дрожь в голосе. Но глаза ее блестели, -наклонившись к ней, я различал их в темноте, - и в них было странное и вместе с тем счастливое

выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас. Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, - и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

- Море? -спросила она.

- Море, -сказал я. - Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Про-

мелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми ... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью, -тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом побережье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и

старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей

силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледне-

ла, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

И мы одни! - сказала она, закрывая глаза.

V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

- А завтра? - говорила она над моей головой.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи".

- Что завтра? - повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. -Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

- Да! - сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое

лицо. - Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя, -говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

1901

НОВЫЙ ГОД

- Послушай, - сказала жена, - мне жутко.

Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидел легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.

- Ты спишь, - сказала жена недовольно, - а я задремала давеча в возке и теперь не могу ...

Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом:

- Слушай, ты не сердись, что я разбудила тебя? Мне, правда, стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня

напал чисто детский страх...

Она подняла голову и прислушалась.

- Слышишь, как тихо? - спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас, -всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год... Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.

- Как хорошо! -проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: -Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я пожал ее руку.

-Как это случилось? -спросила она, открывая глаза. -Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование ... И

однако все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! - сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.

Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый - и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копать с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу ... Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью забо-

тилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке...

- Ну, полно, Оля! - сказал я.

- Дай мне платок, - тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула. - Я уже не плачу больше.

Лунный свет воздушно-серебристой полою падал на лежанку и озарял ее странную, яркую бледность. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки -ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома ...

- Ты рада, что мы заехали сюда? - спросил я.

- Ужасно, Костя, рада, ужасно! - ответила жена с порывистой искренностью. -Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, -

сказала она уже с улыбкой, - венчаться надо бы два раза. Seriously, какое это счастье -

стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех ... «Родиться, жить и умереть в родном доме» -как говорит Мопассан!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

- Это сказал Сент-Бёв, -поправил я.

- Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя ... Хочешь, пойдем гулять?

- Гулять? Куда?

- По двору. Я надену валенки, твой полушубочек ... Разве ты уснешь сейчас?

Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.

- Ты не сердисься? -спросила она, взяв мою руку.

Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.

Из детской мы вышли в коридор, где было

темно и холодно, как в погребке, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную ... Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромные глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

- Ау! - крикнула жена на пороге.

- Не надо, - сказал я, - лучше посмотри, как там хорошо.

Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг прыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня:

- Ты боялся бы здесь один?

Прижимаясь друг к другу, мы прошли по

зале в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда

мы всей семьей обедали на балконе ... Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен... Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, - каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны.

- Там утонешь без лыж, - сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно. - А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах ... Теперь зайцы, небось, приходят к самому балкону.

Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая па-

пиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.

- Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! - заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.

Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:

Татьяна на широкий двор
В открытом платье выходит,
На месяц зеркало наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна ...

- Никогда я уж не буду гадать о суженом! - сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня. - Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла

к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор, и думал, подбадривая себя:

«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»

- А что теперь в Петербурге? - сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. - О чем ты думаешь, Костя? — спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо. - Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят...

Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле,

казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное, - может быть, лисица, - и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.

Прислушиваясь, жена спросила:

- А если бы мы остались здесь? Я подумал и ответил:

- А ты бы не соскучилась?

И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством ... Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы, - на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях - голод...

Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около само-

го окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату

...

«Вот и Новый год! - думал я, поглядывая из скрипучей, опущенной инеем кибитки в серое поле. - Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»

Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндеветших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминание о хуторе, и наше временное при-

мирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно-весело покрикивал:

-Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!

А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бесвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

1901

Александр

Твардовский

О БУНИНЕ

О БУНИНЕ

1

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знаменем литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской Академии наук, в глазах передовых читателей, само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем Вторым решения академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году, - акция, носившая, конечно, недвусмысленно тенденциозный, политический характер, - ху-

дожественная ценность творений Бунина была там лишь поводом, -естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы внутрилитературных толков,- при появлении в 1910 году его повести «Деревню». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в бунинской биографии случая. Отсюда еще далеко было до того, что называется славой писателя, подразумевая не

- Статья написана А.Т. Твардовским к Собранию сочинений И.А. Бунина в 9-ти томах (М, Художественная литература, 1965— 1967) и опубликована в первом томе этого издания).

полулегендарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина -Л.

Андреева или А. Куприна.

Бунин только теперь обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее у нас несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И.А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров - цифра космическая в сравнении с заграничными тиражами бунинских изданий - давно разошлось. Кроме того, выходили однотомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе - их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслившимся ему попранием ею святынь культуры

и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключаящей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авторам, некогда отвернувшимся от нее и даже ронявшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел значительного крута своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он начисто отвергал. Обожаемый Буниным Чехов, со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунин пользовался со стороны М. Горького. М. Горь-

кому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, настоятельно советовал молодым писателям учиться у него. Он по-человечески очень любил Бунина, хотя и знал за ним «барскую неврастению» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда нужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, полное бережливой нежности и восхищения - вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза - для «Летописи» и для меня - праздник,- писал ему Горький в 1916 году.- Это не пустое слово. Я Вас люблю - не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы, может быть, и даже наверное -самое лучшее, самое значительное ... Вы для ме-

ня -великий поэт, первый поэт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет, так сказать, широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным.

Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности.

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты -то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко -поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет после того, как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, делает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не

всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, - в силу разных обстоятельств (один из многих примеров - письма к Горькому ...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художественному опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных - каждый по-своему - верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом по-

колении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И.А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина,- которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы -реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

2

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы опре-

делило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно отдельно, вне ряда классических мастеров русской литературы конца XIX -первой половины XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все, помнившие его в 20-х, в 30-х годах по книжкам собрания сочинений в приложении к до-революционной «Ниве», даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был при-вязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только довременная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подернулось ряской

забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины, еще издавелека, то более, то менее внятно, подсказывается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции, -здесь могли быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность -пути и этапы его развития более значительны, его трагедия составляет собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения» «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», конечно, поверхностны и неполны, но не были неверными по существу. Эти мотивы его поэзии очень органичны и никак не являлись данью литературной моде.

Многими литературными современниками молодого Бунина они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Эта внезапно ожившая элегичность,- писал Короленко в 1904 году,- нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего - мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен ... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями,

нас вдруг опять приглашают вздохнуть о тенях прошлого, когда-то наполнявших это

нынешнее запустение».

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особливая, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорова живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический по существу период прожигания и проматывания помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хоромов, период афер, прожектов и малоуспешных попыток переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где

ты закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает в сыне осуждения или упрёка, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания: «Не судья тебе я за грехи былого ...» О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода,- пишет Бунин в своих автобиографических заметках,- давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает,- это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, на старомодный

лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и -захолустный степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложённые ризы с икон, нависающие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети ещё при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дождике крышей, но какая их ждёт судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народнического толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Поэт с юности живет в мире сладчайших воспоминаний- и своих воспоминаний детства, ещё осененного «старыми липами», ещё лелеемого остатками бывшего помещичьего довольства, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом бывшем довольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух

этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах ...»

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворья этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князя во князьях» - Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остатний лесок, землицу, а то и саму усадьбу. Феноменальная памятьливость писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представились молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом от-

ношении, сколько в смысле избежания духовного убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не «под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в мещанских, поповских и мелкочиновничьих домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на гонор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого гонора. Смолоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзывается о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворения И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый,

«дворницкий» реализм декадентствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда, до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до явных крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов или увлечений молодости: «Прошел я не очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготею больше всего к социал-демократам, хотя сторонюсь всякой партийности»².

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы с М. Горьким. Самое верное здесь - слова об отстранении от «всякой партийности».

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «"Я просто не мог слушать.., когда мне проповедывали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужи-

ка или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному ... в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуриныхских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику ...» Несомненно, что «своего батуринского Клима» Бунин любит, готов всячески помочь ему и даже защитить его - все это не расходится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе».

Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуринский Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «собирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды

жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен исказить реальную действительность в соответствии со своими более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим художеством, забываем, что это литературные персонажи плод фантазии автора. Это живые «батуринские» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты. Но они же - во всем своем единичном «батуринском» обличье - теперь уже не только «батуринские» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего

«Батурина», и не только одного Подстепья, но всей русской деревни начала века.

Когда Анисья Минаева («Веселый двор»), покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся, наконец, на «ме-

сто» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («Горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта -и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей нищей, «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание»

таких страниц: в них все так плот-

но, так слитно и незаменимо, что нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в до-революционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадежной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде - о краюхе хлеба, луковице, картошках с солью), унижениями от власть или капитал имущих. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в Бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнавшим соблазн отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недовольным, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить, девкам жамки носить...» - Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» -

один из таких ненавистных Бунину людей. Примечательно, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы, где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия -«проталерията», а также называть все это вместе «кляповинкой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждишкой», забитых, замордованных, но сохраняющих свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, непритязательность. Он не унижает их снисходительным -сверху вниз -взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски незамысловатостью их понятий- он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзанских» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми» и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть пока-

мест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или людьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хорошей стороны, забывая обо всем дурном и жестоком,- близ-

ких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости стовосьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или сменить ему рубаху. Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За пять-то годов вошь съест. А то пожил

бы»), опять же независимо от воли художника, предъявляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, он взывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне, в пору разорения и утраты благообразия деревенской жизни, равно - и мужику и помещику - дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» - мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги - я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди людей деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и пере-

мен -в канун и в первые годы коллективизации, разъезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благостных Аверкиев в должностях конюхов, скотников, ночных сторожей; безответных колхозных Одноворок, наделенных непостижимой «двужилностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников Серых и Егоров Минаевых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходок, собраний, толчеи и горлодерства на людях; видел «древних деньми» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; видел, конечно, и тех людей новой деревни -энтузиастов, агитаторов и вожаков из самой крестьянекой массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые интонации в крестьянских голосах, которые уже не только не оставляли сомнений относительно противопомещичьих настроений, но были явными признаками предгрозового вре-

мени. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знание» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым на похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные петухи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знаменем.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» - повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909-1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означила наивысшую степень сближения бунинской музыки с современной действительностью в ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине. «Кто бы мог подумать, - писал В. Боровский, - что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере не от болящего мира наших дней, - за что, вероятно, и удостоился академических лавров, - и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправления в самой Дурновке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленно-

го борзыми помещика Дурново; и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казачьи сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаль неимущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, которого он, при всем очевидном своеобразии его письма, держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог, - на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разноголосицы, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет

спустя.

В «Деревне» немного героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней, -гораздо больше безымянного сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, ночных сторожей, -и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в натуре не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и кретинизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сживания со свету стариков в семьях как раз не бедных; и «уступка» жен мужьями по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «снюхавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю поленику ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что

только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов, в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни», стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспоощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слащавое освещение этого материала в поздненароднической литературе. Но своеобразное полемическое «антибунинское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление бунинской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспоощадности»,

следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободранный мужиками бык бежит у Бунина «за сценой», в изустной молве, -это слух, полулегенда той поры «деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора («Ночной разговор»),

У Вольнова же все мужицкие «художества» -дикое пьянство, избивание жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п. подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И странная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картина погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхолаживает какой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычайностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить

его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости своеобразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказалась, позднее например, в «Брусках» Ф. Панферова с их натуралистическими излишествами описаний, воспроизведения местных речений и т. п.

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы Красова, уездным чудаком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие судьбы дикой и нищей деревни - это судьбы России. «Повесть моя, - говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году, - представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадост-

ные ее картины и подразумеваемые выводы сейчас представляются в значительной степени тогда уже подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и неприемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы, - говорит он в 1914 году, - будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дожил до 3-й, до 4-й Думы, до толков... о Саниных ... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изоглавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахины, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до дней славы Пуришкевича, Распутина, Макса Линдера, слона

Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать проводником исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь день уходит на газеты». И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси».

3

При всем том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них ограниченности взглядов автора, они на поверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам - любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть тому, от чего Бунин в своих высказываниях отрекался до конца дней и чему противостоит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной

творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности, которая невольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий, неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности.

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же - снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радо-

сти видели эти курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!» Этой красивой концовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы, безмолвно взирающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей бунинской поэзии. Они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неурейства и бедствия рода человеческого, и в том числе за судьбу не только «собирающего», но и «своего батуринаского Климана». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти,- говорит Бунин в «Жизни Арсеньева». - Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было, как известно, отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности - пусть своеобразно понимаемой - за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции в годы реакции после революции 1905 года. У Бунина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Бунина - элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя», - он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необрати-

мо убегающей стружкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,

Как меня когда-то ты любила...

Все как было. Только жизнь прошла ...

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире «сочетанье прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящность, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...

В напряженном самовнушении этого чувства слиянности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохра-

нившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь – почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь – причем любовь земная, телесная, человеческая – может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью.

Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» героиня со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей – тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкочиновничьей карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершение любви предпочти-

тельнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» нежданной встречи или законного брака после первоначальной запретной близости. Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости способной на верность и нежность, Бунин замечает только у простых людей, -например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с заурядного курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть ничем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод, вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме -в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость -этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Бунину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена, в конце концов, либо на пош-

лость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей - перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безымянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо победать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот наиболее известный из бунинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девушка Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром

Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасти гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Бунина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удивительной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматики любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме своеобразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Бунин в «Митиной любви», «Деле корнета Елагина», в книге «Темные аллеи» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Бунина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает

в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обостривший и без того «обостренное чувство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец, одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением концов с концами, не всегда могут себе позволить роскошь отвлеченных размышлений о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадежности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философические

углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных - больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно - вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности

перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете, - позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупотопущенного на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждено народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю -большую или меньшую -этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «далекие», для которых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними. Наедине с самим собой -понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества - с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостки, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом - далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и необязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти, подобно дорогим и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для

живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь:

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле -ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» -и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца - образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, проща-

ния.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных в целом произведений или страниц, ради которых можно принять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то при всем их мастерстве, отделанности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особая острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал и усердно перечитывал в молодости по его «нивскому» собранию сочинений, но все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются некоторой «обезжиренностью» или дистиллированно-стью, -это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит. И, в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни останови-

лись» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан с некоторыми изменениями и в «Арсеньеве», и ему же посвящено стихотворение «Ландыш» ...

Но это еще не предмет для упрека художнику -могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправляя их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами.

«Поправок» и купюр в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в 30-х годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы только стилистические, исправления подсказаны очевидным стремлением вытравить

в прошлом Бунине элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи, настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в такие сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книге «Темные аллеи» и других рассказах последних лет. И надо всем этим как застоявшийся дым -тоска безнадежная, болезненное

переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной части эмиграции, литератор, пишущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встречах с Буниным. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть ...» Со снисходительной иронией сноба и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению, - пишет Набоков, я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыкалки -и задушевных бесед... К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая, как и положено эпигону, незаурядные способности к имитации: «...в общем до искусства мы с ним никогда и не договори-

лись, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность натолкнулся старый писатель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисующемуся тем, что, мол, занятия энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют больший предмет его честолюбия, чем литература, – этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи в ее живом народном звучании.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоправимым – писатель сам углубил разрыв с отчизной. В своих «Вос-

поминаниях», где, в частности, представлена целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами, и не нас критикует, нас просто нет, – и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопыхательское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолоду и до конца дней жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликавшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всенародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может да-

вать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него, - нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который остается для нас выдающимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобщившим к достоинствам нашей национальной культуры сбою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возражение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно, что вычеркивать, например, в «Воскресении»

Толстого цитаты из Евангелия, приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917-1919 годов «Окаянные дни», где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, — эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбирать: либо, отвергая Бунина-реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достояние нашей националь-

ной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгоистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

4

Бунин родился, вырос и определился как художественная натура «в том плодородном Подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым» («Автобиографические заметки»),

У него не было возможности явиться в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исто-

рических особенностей, как, например, у Мамина-Сибиряка с его горнорудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее неприязнительной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в природе и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной. Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполнял его дорогими и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему - он уже был ши-

роко открыт и утвержден в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанными этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утончиться до эпигонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о времени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести, той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконченности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником

жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова, одного из трех «Богов» Бунина в литературе (первые два - Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключитель-

ность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта насколько не унижает нас, как на экзамене, она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда - наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и

это нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «стариной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, непропорциональной исторически, но она для него - реальность, на которую закрыть глаза он не может. Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений,

на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсюда - особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как

бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (раки-тами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рожицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками, - все это

приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осенью; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холоде; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений - значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни

и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин - не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям ...

По части красок, звуков и запахов, «всего того, выражаясь словами Бунина, чувственно-го, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...зрение у меня было такое, что я видел

все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...» Поистине «внешние чувства» как средства проникновенного постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художественных целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек, - какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд помещи-на-арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то», - именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил, — шум, поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» - это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различии, тотчас со-

гласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно -они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно наваян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других, - талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов

и тому подобного, - Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекасти-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, границы и далекие экзотические моря и земли - еще множество других разительных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность - во всех планах, от тонко-лирического до едко-саркастического, — прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе - у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бу-

нин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п.

Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёлль с утонченной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого,

знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдивший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом, — он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета слышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые, он большой, между прочим, знаток лошадей и их статей, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам, особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неуязвимой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными кар-

тинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве - никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре, - лес - терем вдовы Осени перед зимой, - с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то, как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту не берет за живое...

Непреходящая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще всего только по возвращении

с охоты -на ночлеге -или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоялый двор - словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спо-

рит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубоко, пристальном, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частных народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеющего, набирающего силу сельского торгаша, и попа с причтом, и мещанина, скупщика или арендатора, шныря по деревням в чаянии «оборота.», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще более оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и

одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру - у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы - это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малоискушенных - реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников - в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи, или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой - «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в

ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.

Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с

речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутость, развертывание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе и т. д., - где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, амзыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера - на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается

видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию - будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы - в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже

с определенностью звучит музыка бунинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека на индивидуальные судьбы, -это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра, -главное в нем -эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот скорбный и торжественнострогий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта - «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедлений и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, -краткой мужицкой родословной, взят строгий и жесткий ритм: «Пра-

деда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново...» И вся повесть идет в энергическом, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую «свою особую у того и другого» -музыку их прозаической речи?

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал Эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенно-

стей и взаимном обогащении: «...поэтический язык (в смысле стихотворный, А. Т.) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нивском» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традицион-

ной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немислимые по канонам «высокой поэзии», прозаические подробности, как тазы, подставляемые под капелю с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий») или «кочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зимней степи («Сапсан»),

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества -из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладе-

ния грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкуче и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и

Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:

Как все спокойно и как все открыто...

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».

Или белые стихи, ритмическим строем

своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегают впотьмах

И узорною пеною светится,

И лазурным сиянием реет у скал на песке

...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,

Сонных зарубил своих малюток,

И пошел в туретчину, и был

В Цареграде через сорок суток...

Можно было бы еще указать на такие неожиданные у Бунина ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» или «Мужичок» («Ельничком, березнячком...»), «Аленушка в лесу жила». и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив ве-

ликое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего достоинства музы сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадьбы жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замеча-

тельный, но я-то тут причем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России, — говорил он в 1911 году, — я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он сравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «Богов» Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе це-

лым созвездием писателей -уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания -даже иные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и предложениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе, мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким

уменьем и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» -всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишенного теплой крови живого народного языка.

«Обломный ливень» -непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.

«Листва муругая » для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски -какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же -редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «глудки» совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «смерзшиеся

грудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное -без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски — дубок, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок -это долбленая из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцалам и барам океанского парохода -по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... подводной утробе парохода. .. где глухо *гоготали* исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них

облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени...».

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевают адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топку углем... А слово то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плавания. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки ни одной полый или провисающей каждая, как струна, — за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не

только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен *пройти* Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, уменью отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело, - к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти - примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстенные романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся

огромные поэмы, и чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке...

Бунин - по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина - ближайший к нам по времени пример подвижнической взыскательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин иногда бывает чрезмерно густ, как «Неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах.

Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма - главная наша беда сегодня.

Нынешнее собрание сочинений И. А. Бунина, наиболее полное из всех выходявших в свет до сих пор, надо полагать, не залежится на складах подписных изданий и полках магазинов и библиотек. Конечно, и оно не может рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многослойна, пестра, неоднородна.

Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвлечения от каждодневных забот и обязанностей, ищущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтивом, - для таких

читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться, что Бунин, конечно, не всегда обладал той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени подготовленного читателя без привлечения примитивных средств занимательности.

Я не хотел бы здесь быть понятым так, будто я противник вообще занимательности в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страстных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпанова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это

свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

Бунин -художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобий жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малозначительных, будничных и заурядных, - такой художник вправе рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере поначалу, со стороны читателя,

Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имея в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ (1888-1911)

«В полночь выхожу один из дом а...» -Г аз.
«Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября, в подборке с другими стихотворениями: «Пустыня, грусть в степных просторах. », «Как все вокруг сурово, снежно...», «Под орган душа тоскует...», «На поднебесном утесе, где бури...», «Седое небо надо мной...», «В туче, солнце заступающей...», «Беру твою руку и долго смотрю на нее...», «При свете звезд померкших глаз сиянье...», «Я к ней вошел в полночный час...», «Что в том, что где-то, на далеком...», «Тут покоится хан, покоривший несметные страны ...» -с пометой: «Никогда не были в печати».

«Не видно птиц. Покорно чахнет...» —Журнал «Мир Божий». СПб., 1898, № 10, октябрь.

Известно, что Льву Толстому пришлось по душе строки из стихотворения:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

«Очень хорошо, очень в ер н о!»-говорил он с восторгом.

«Седое небо надо мной...» -Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Один встречаю я дни радостной недели...» — «Листопад», 1901.

«Как дымкой даль полей закрыв на полчас...» — Журнал «Наблюдатель», СПб., 1891, № 6, июнь, под названием

«В лесу».

В степ и. -Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 853,3 июля, с пометой «Из книги "Памяти Белинского...».

В костеле. -Журн. «Нива», СПб., 1896, .№ 8, 24 февраля. Написано под впечатлением поездки в Смоленск, Витебск и Полоцк. В Витебске Бунина поразил костел. О костеле в Витебске, где он слушал орган и пение хора, Бунин вспоминает и в романе «Жизнь Арсеньева».

ПодражаниеПушкину . -Полное собрание сочинений, т. 1.

«В туче, солнце заступающе й...» -Газ. «Последние новости», Париж, 1935, No 5334, 31 октября.

«Ту звезду, что качалась в темной во-

де...» — Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, подзаглавием «Былое».

«Бушует полая вод а...» — Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль.

Соловьи. - Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль, без заглавия.

«Гаснет вечер, даль синееет...» - В сборнике «Под открытым небом», 1898.

«Еще от дома на дворе ...» - Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль.

«В стороне далекой от родного края .. ,» - Журн. «Русское богатство», СПб., 1900, № 12, декабрь.

«За рекой луга зазеленели...» - Журн. «Север», СПб., 1898, № 19, 10 мая.

В поезде. - В сборнике «Под открытым небом», 1898. Горький с восторгом писал Бунину: «Получил вашу книжку. Сердечное спасибо!.. Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски-чистое и есть огромное чутье природы...» - и дальше, процитировав стихотворение «В поезде», замечал: «Миленький мой, это и есть самая чистая поэзия» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т.

28. М., 1954, с. 68).

«Ночь идет — и темнеет...»-Бунин Ив. Стихи и рассказы, М., 1900, под заглавием «Ночь».

«...И снилось мне, что осенней поро й...»-Журн. «Вестник Европы», СПб., 1894, No 6, июнь.

Мать. -Журн. «МирБожий», СПб., 1898, No 1, январь. Стихи о матери -Людмиле Александровне Буниной (1834-1910).

Ковыль. -Журн. «Труд», СПб., 1895, .No 3, май, под названием «В южных степях». Эпиграф -из «Слова о полку Игореве». **Вежи** -палатки, кочевые шатры.

«М огилы, ветряки, дороги и курганы...» -«Журнал для всех», СПб., 1900, No 12, декабрь, под заглавием «Степная ночь».

«Неуловимый свет разлился над землею...» — Жури. «Вестник Европы», СПб., 1894, No 6, июнь.

«Еслибтолькоможнобыл о...» -Журн. «Север», СПб., 1898, No 27, 5 июля.

«Нагая степь пустыней в е е т...»-«Листопад», 1901.

«Чтовтом, что где-то, надалеком...»-Газ. «Возрождение», Париж, 1926, No 355, 23 мая,

вместе со стихами: «Звезда, воспламеняющая твердь...», «Поздно, склонилась луна...» и «В окошко из темной каюты...» — под общим заглавием «Старая тетрадь».

Костер. -Журн. «Труд», СПб., 1895, № 11, ноябрь, под заглавием «В осеннем лесу».

«К огда натемный город сходи т. » -Журн. «Мир Божий», СПб., 1898, .№2, февраль, под заглавием «Ночная вьюга».

«Н очь наступила, день уга с...» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1897,№ 12,декабрь.

На проселке. -«Под открытым небом», 1898.

«До лог был во мраке ночи...» -Журн. «Нива», СПб., 1896,№ 19,11 мая, под названием «В море».

«Поздний час. Корабль и тих и темен...» —Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 972, 7 ноября.

М е т е л ь.-Бунин Ив. Стихи и рассказы. М., 1900.

«В окошко изтемной кают ы...» — Газ. «Возрождение», Париж, 1926,№ 355, 23 мая.

Родина.-Журн. «Русское богатство», СПб., 1898,№ 4, апрель, под названием «На севере».

«Ночь и д а л ь седая...» -«Под открытым

небом», 1898, под заглавием «Звезды».

«Христовое воскрес! Опять с зарею...»-«Подоткрытым небом», 1898.

На Днепре.-Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь. В журн. «Жизнь» вошло в цикл «Акварели», состоящий из стихотворений: «Все лес и лес. А день темнеет...», «На Днепре», «После половодья», «Не угас еще вдали закат...», «В отъезде по полю», «Закат», «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...».

Кипарисы, Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 707, 24 января.

«Вьется путь в снегах, в степи широкой...» — Журн. «Русское богатство», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «Зимний день».

«Отчего ты печально, вечернее небо?..»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, № 8, август, под заглавием «В море».

Северное море,-«Под открытым небом», 1898.

На хуторе.-«Журнал для всех», СПб., 1899, № 1, январь. Стихотворение об отце Бунина - Алексее Николаевиче.

«Мой отец пел под гитару старинную, ми-

люю в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал: "Что ты замолк и сидишь одиноко..."» («Жизнь Бунина», с. 33).

«Скачет пристяжная, снегом обдает...» — Газ. «Жизнь и искусство», Киев, 1898, № 329, 28 ноября.

«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«П оздно, склонилась луна...» — Газ. «Возрождение», Париж, 1926, №355, 23 мая.

«Я к ней вошел в полночный час...» — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«При свете звезд померкших глаз сиянье...» — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

На дальнем севере. — Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, №11, ноябрь, без заглавия.

Плеяды. — Журн. «Мир Божий», СПб., 1898, № 10, октябрь, без заглавия.

«И вот опять уж по з а р я м...» — Журн. «Мир

Божий», СПб., 1898, № 10, октябрь.

«Листья падают в саду...» - Полное собрание сочинений¹. 1., Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1915. Приложение к журн. «Нива».

«Таинственно шумит лесная тишина...» - Журн. «Книжки Недели», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

«В пустынной вышине...» - Газ. «Курьер», М., 1900, № 356, 24 декабря.

«Все лес и лес. А день тем неет...» - Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Из сказки».

«К ак светла, как нарядна весна!...» - «Журнал для всех», СПб., 1900, № 12, декабрь. На эти стихи С. В. Рахманинов написал романс.

«Н ынче ночью кто-то долго пел...» - «Журнал для всех», СПб., 1900, № 12, декабрь.

«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...» — «Журнал для всех», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под названием «Осенняя ночь».

1900-1902

«Враждебных пол он тайн на взгорье спящий лес...» - «Избранные стихи», 1929. *Антарес* - звезда из созвездия Скорпиона. *Валдайское серебро* - знаменитые ямские колоколь-

чики города Валдая Новгородской губернии.

«Затрепетали звезды в небе...» - «Журнал для всех», СПб., 1901, № 5, май, под названием «Весенний вечер».

«Нет солнца, но светлы пруды...» - «Полевые цветы», 1901, под названием «На Троицу». В сб. «Стихотворения» (1903) - под названием «Счастье» и с посвящением художнику П. Ни-лу су.

Листопад. - Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 10, октябрь, с подзаголовком «Осенняя поэма», с посвящением М. Горькому. Поэма написана летом 1900 г. в д. Огневка Тульской губ. По этой поэме назван и сборник, вышедший в 1901 г. А. Блок в статье «О лирике» писал: «Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения "Листопад" признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» (Блок А. Собр. соч., т. 5. М.-Л., 1962, с. 141).

Высокую оценку поэтической книге Бунина дали лучшие писатели и критики того времени А. И. Куприн, А. И. Эртель, М. Горький,

К. И. Чуковский и другие.

На распутье. -Журн. «Книжки Недели», СПб., 1900, № 10, октябрь. Стихотворение написано под впечатлением картины «Витязь на распутье» художника В. М. Васнецова, которому оно было посвящено в сб. «Листопад». Стихотворение положено на музыку А. Гречаниновым.

Вирь. -журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

В отъезде по л е.-Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь. В сб. «Листопад» печаталось с посвящением В. Я. Брюсову.

После половодья. -Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

«Все темней и кудрявей березовый лес зеленее т...» -Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «В мае».

«Не угас еще вдали закат...»-Журн «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Молодой месяц»

«Когда деревья в светлый майский день...»-Газ. «Курьер», М., 1901, № 18, 18 января.

«Лес шумит невнятным, ровным шумом...» — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 12, де-

кабрь, под заглавием «Глушь».

«Еще утро не скоро, не скоро.» - Журн «Жизнь», СПб., 1900, № 12, декабрь, под названием «Перед зарею». Печатается по книге «Начальная любовь», 1921.

По вечерней заре.-Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, № 8, август.

«Н очь печальна, как мечты мои...» - «Журнал для всех», СПб., 1900, № 8, август. На стихи написаны романсы С. В. Рахманиновым и Р. М. Глиэром.

Рассвет. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, № 8, под заглавием «Утро».

Родни к, «Полевые цветы», 1901. Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

У чан-Су. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, № 8, август. **Учан-Су** -водопад в Крыму, близ Ялты.

Зной.-Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 11, ноябрь.

Закат. -Журн. «Жизнь», СПб., 1900, №9, сентябрь.

Сумерки. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 1, январь.

«На мертвый якорь кинули ба-

кан...»—Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «В бурю». Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921. *Бакан* -плавающий знак на якоре.

«К побережью моря длинная аллея...»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1900, № 11, ноябрь. Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

«Открыты жнивья золотые...» -«Журнал для всех», СПб., 1901, № 1, январь.

«Был поздний час — и вдруг над темной...» — Газ. «Курьер», М., 1901, № 207, 29 июля.

«Зеленый цвет морской воды...» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «На рассвете».

«Раскрылось небо голубое...» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 9, сентябрь.

«Зарницы лик, как сновиденье...» —Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Зарницы».

«На глазки синие, прелестные...»-Газ. «Народное слово», М., 1918, № 20, 4 мая, под заглавием «Колыбельная». Стихотворение посвящено сыну Бунина Коле (1900— 1905), родив-

шемуся от брака с А. Н. Цакни (1879-1963). В. Н. Муромцева-Бунина пишет, что летом 1901 г., «будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи, и среди них "На глазки синие, прелестные..." Это стихотворение, конечно, о сыне». По ее словам, у Бунина были еще стихи о сыне, «очень пронзительные, но нигде не напечатанные. Раз он прочитал их мне» («Жизнь Бунина», с. 131,159).

Ночь и день,-Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 12, декабрь.

«На высоте, на снеговой вершине...»-Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 2, февраль, под заглавием «В Альпах», с подзаголовком: «Сонет на льдине».

«Еще и холоден и с ы р...» -«Журнал для всех», СПб., 1902, № 1, январь, под заглавием «Оттепель».

«Высоко в просторе небеса...»-Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 6. июнь.

«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!..» — Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, №6,июнь.

«Ды мится поле, рассвет белеет...»-Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 8, август, под за-

главием «С кургана».

«Гроза прошла над лесом стороною...»-Журн. «Жизнь», СПб., 1901, № 1, январь.

В старом городе.-Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 7, июль.

«Отошли закаты на далекий север ...» -Г аз. «Курьер», М., 1901, № 179, 1 июля.

«Облака, как призраки развал и н...» -Газ. «Курьер», М., 1901, № 179, 1 июля.

«Спокойный взор, подобный взору лани...» — «Журнал для всех», СПб., 1901, № 6, июнь.

«За все тебя, Господь, благодарю!...».—Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 7, июль, под заглавием «На закате».

«Вы соко наш флаг трепещет...» -«Новые стихотворения», 1902, под заглавием «В море».

«Полями пахнет, — свежих трав...» -«Новые стихотворения», 1902, под заглавием «Под тучей».

Из Апокалипенса. -«Журнал для всех», СПб., 1902, № 3, март, под заглавием «Слава Господу», с подзаголовком: «Апокалипсис, гл.

IV».

«Не слышать еще тяжкого грома за лесом".» — «Журнал для всех», СПб., 1901, № 7, июль, под заглавием «В июле».

«Любил он ночи темные в шатре".» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Курган».

«Это было глухое, тяжелое в ремя".»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Сон-цветок».

«М оя печаль теперь спокойна".» -Газ. «Курьер», М., 1901, №270, 30 сентября. Сибилла - легендарная прорицательница, упоминаемая античными авторами.

«Звезды ночи осенней, холодные звезды!"» — Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, подзаглавием «Осень».

«Шумели листья, облетая...»-Газ. «Курьер», М, 1902, № 270, 30 сентября.

«Светло, как днем, и тень за нами бродит".» —

«Стихотворения», 1903.

«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья".»-«Журнал для всех», СПб., 1902, № 1, январь.

Отрывок. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, № 1, январь, под заглавием «Из дневника».

Эпиталама. -«Журнал для всех», СПб., 1901, № 9, сентябрь, с посвящением К. Д. Бальмонту. *Эпиталама* -в античной поэзии и музыке -свадебное стихотворение, свадебные песни, исполняемые на брачных торжествах.

«М орозное дыхание метел и".» -«Новые стихотворения», 1902.

На острове. -Литературно-художественный сборник «На трудовом пути». М., 1901.

«Не устану воспевать ва с, звезд ы!"»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Вечное».

«Перед закатом набежало".» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, № 8, август, под названием «Первая любовь».

«Багряная печальная лу на".»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, № 10, октябрь, под заглавием «На окраинах Сиваша». Печатается по «Избранным стихам», 1929, с поправками Бунина.

Смерть. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, № 8, август.

Лесная дорога. -Журн. «Русская мысль», М.,

1902, .№ 8, август.

«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена".» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, .№ 8, август, под заглавием «В море». **Селена** (д р . г р е ч.) -луна.

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирили с я".» -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, .№ 8, август. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Бунинной, это стихотворение обращено к первой жене Бунина -А. Н. Цакни («Жизнь Бунина», с. 137).

«Крест в долине при д о р оге".» -«Журнал для всех», СПб., 1902, .№ 9, сентябрь.

«Как все спокойно и как все открыто!"».-«Журнал для всех», СПб., 1902, .№ 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

Бродяги.-Журн. «Образование», СПб., 1902, .№ Ю, октябрь.

Эпитафия. -Газ. «Курьер», М., 1902, .№ 144, 26 мая, под заглавием «На кладбище».

Зимний день в Оберланде. -Журн. «Русская мысль», М., 1902, .№ 10, октябрь.

В ноябре 1900 г. Бунин вместе с художником В. П. Куровским совершил путешествие по Швейцарии, к Оберланду и Зильбергорну.

«Погода была солнечная, в долинах лето, на горах ясный, веселый зимний день январский, писал Бунин брату Юлию Алексеевичу. — ... Долго шли зимою по лесу, обливаясь потом. Шли без остановки более четырех часов и пришли в Мюрреи. Там мертвая зимняя горная тишина. Пустой отель опять". Куровский играл из Бетховена, и я почувствовал на мгновение все мертвое вечное величие снежных гор» (Новый мир, 1956, № 10, с. 208).

К онд ор. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1902, No 9, сентябрь. **Кондор** -хищная птица, гриф.

«Ш ироко меж вершин дубравы".» -Сб.«Итоги», М., 1903, под заглавием «Полдень».

1903-1906

Северная береза.-Альманах «Факелы», кн. 1, СПб., 1906. Это и последующие шесть стихотворений печатаются по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений с правкой Бунина (ИМЛИ).

Портрет. -Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 5, май.

Мороз. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.

«Норд-остом жгут пылающие зори...»—Журн. «Северные записки», СПб., 1914,

№ 2, февраль, под заглавием «Норд-ост».

После битвы.-Журн. «Правда», М., 1905, № 9-10, сентябрь-октябрь.

«На окне, серебряном от инея...» -«Знание», кн. 9, СПб., 1906, под заглавием «Хризантемы».

«В сумраке утра проносится призрак Одина...». — Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб., 1908, под заглавием «Один». *Один* - в скандинавской мифологии — старший, высший бог. *Лохлин* — Скандинавия в «Оссиановых поэмах» Дж. Макферсона.

Жена Азиса. -Газ. «Южное слово», Одесса, 1919-, № 51, 20 октября.

Ковсерь. -«ЗнаШе», кн. 7, СПб., 1905, под заглавием «Мираж». Эпиграф -из Корана, 108:1. **Ковсерь** -в преданиях мусульман священный источник. **Сакар** — «огонь адский» (Коран, 74:26, 27). **Джиюшт**, по Корану, -рай.

«Звезды горят над безлюдной землею...»-«Знание», кн. 7, СПб., 1905, под заглавием «Джинны». **Джинны** («гении»), по Корану, -фантастические существа, созданные из чистого (бездымного) огня, обладающие разумом. По своей природе джинны -существа между ангелами и людьми. Джинны связаны

с Иблисом (сатаной), но некоторые из них уверовали в Магомета. По преданию, ангелы отгоняют их падающими звездами.

Как уже отмечено в науке, в стихах на темы из Корана Бунин продолжил традицию Пушкина, его «Подражаний Корану». Пушкин писал: «...многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. 2. Л., Наука, 1977, с. 193).

Ночь Аль-Кафра. -Журн. «Пробуждение», СПб., 1906, № 7, 1 апреля, под заглавием «Млечная Река». Эпиграф -Коран 97: 4-5. Кадр - значит «неизменные постановления». В **ночь Аль-Кафра** -23 или 24 числа месяца Рамадана по лунному календарю -согласно мусульманским верованиям явился Магомету ангел Гавриил и передал слова Корана людям. В эту ночь утверждаются и разрешаются дела Вселенной на целый год.

«далеко на севере Капелл а...» -«Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «Дома».

«Проснулся я внезапно, без причины...»-Журн. «Мир Божий», СПб., 1905, № 10, октябрь.

«С тарик у хаты веял, подкидывал лопа-ту...» — Сб. «Зарницы», вып. 1, СІЖ, 1908.

«У жподсыхает хмель на тын е...» — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 10, октябрь, под заглавием «Сентябрь».

«Там, на припеке, спят рыбацкие ков-ши...» — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1903, № 11, ноябрь, под заглавием «В плавнях».

«Первый утренник, серебряный мо-роз!..» — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 9, сентябрь, под заглавием «Утрен-ник».

«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...» — Журн «Золотое руно», М., 1906, № 7-9, июль-сентябрь, под заглавием «С обрыва».

Канун Ку палы. — «Ежемесячный журнал для всех», СПб.,

1904, № 7, июль. *Деньъ Ивана Купалы* — 7-июля, народный праздник. Травы, собран-ные в ночь под Ивана Ку палу, считались це-лебными.

Мира.—«Стихотворения 1903-1906», 1906. Пе-чатается по экземпляру третьего тома Потюго собрания сочинеІПШ, исправлетю-му Буни-

ным (ИМЛИ). **Мира** - звезда в созвездии Кига, у которой переметюсь блескаколеблется от 2-й до 10-й звёздной величины. **Пирр** (319—273 гг. до н. э.) - царь Эпира (область на западе Греции).

Д и з а. - «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Надпись на чаше. — «Знание», кн. 6, СПб., 1905, без заглавия.

Могила поэта. - «Ежемесячный журнал для всех», СПб.,

1905, № 7, июль.

Кольцо. - «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Запустени е. - «Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «Над Окой».

Одиночество. - «Знание», кн. 9, СПб., 1906, с посвящением П. А. Нилусу. Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ). Стихотворение в чтении автора записано на пластинку в 1910 г.

Тень. - Журн. «Мир Божий», СПб., 1903, № 11, ноябрь, без заглавия.

Голуби. - «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1903, № 11, ноябрь.

Сумерки. - «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Перед бу р е й.-«Знание», кн. 1,СПб., 1904.

В крымских степях. -«Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «В евпаторийских степях». **Шатер-Гора** -гора в Крыму близ Алушты (Чатырдаг).

Ж а с м и н.-Журн. «Новое слово», М., 1907, № 1, под заглавием «Казбек».

Полярная Звезда. -Альманах «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, под заглавием «Полюс».

«Набегают в потьмах...» -«Знание», кн. 9, СПб., под заглавием «Жизнь».

Перекресток. -«Ежемесячный журнал для всех», СПб.,

1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Огни небес. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1904, № 8, август, под заглавием «Угасшие звезды».

Развалины. -Журн. «Правда», М., 1904, № 11, ноябрь.

Косогор. -Журн. «Русская мысль», М., 1904, №11, ноябрь, без заглавия.

Разлив. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1904, № 9, сентябрь.

Сказка. -Журн. «Правда», М., 1904, № 1, январь.

Розы. -Журн. «Правда», М., 1904,№ 6, июнь, без заглавия.

На маяке.-Журн.«МирБожий»,СПб., 1904,№ 11,ноябрь, без заглавия.

В гор ах. -Журн. «Правда», М., 1904, №2, февраль.

Штиль.-Журн. «Правда», М., 1904,Но 12,декабрь.

На белых песках. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1904, №11, ноябрь, без заглавия.

Самсон. - Журн. «Мир Божий», СПб., 1904, № 12,декабрь, под названием «Слепота». **Самсон** -библейский герой, боролся с филистимлянами. Филистимлянка Далила, возлюбленная Самсона, выведав тайну его сказочной силы, заключавшейся в прядях волос, остригла его сонного и выдала своим соотечественникам. Они ослепили Самсона и привели его на пиршество. К тому времени у него вновь отросли волосы, и он обрушил на своих врагов колонны и дом. **Ваш** -бог солнца. **Виссон** -тонкая драгоценная ткань в древних одеяниях царей, жрецов и т. п.

Склон гор. -«Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1904, Но 8, август, без заглавия.

Сапсан. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1905, №4, апрель, с подзаголовком: «Поэма». **Сапсан** -разновидность ястреба.

Русская весна. - «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 3, март, под заглавием «Весна».

«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» -«Знание», кн. 9, СПб., 1906, под заглавием «Глею».

«Старик сидел, покорно и уныл о...» -«Стихотворения 1903-1906», 1906, под заглавием «Старик».

«Осень. Чащи леса...»—«Стихотворения 1903-1906», 1906, под заглавием «Ольха».

«Бегут, бегут листы раскрытой книги...»-«Знание», кн. 21, СПб., 1908, под заглавием «Будни».

«Мы встретились случайно, и а у г л у...» -«Стихотворения 1903-1906», 1906, под заглавием «Новая весна».

Огонь на мачте.-«Стихотворения 1903—1906», 1906.

«Все море — как жемчужное зеркало...»-Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7-9, июль -сентябрь, под заглавием «После до-

ждя».

«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике т е м н о м...»-«Стихотворения 1903-1906», 1906, под заглавием «На ущербе».

«Гу стой зеленый ельник у дороги...» -«Стихотворения 1903-1906», 1906, под заглавием «Олень».

Стамбул.-Сб. «Новое слово», кн. 1.М., 1907. **Скитары** — предместье Стамбула. Сераль - султанский дворец и гарем.

«Т онет солнце, рдяным углемтонет...» - «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 5, май, под заглавием «Пастухи». **Баранта-здесь:** племя.

«Ра-Озирис, владыка дня и света. »-«Знание»,кн. 16, СПб., 1907, под заглавием «Египет». **Озирис** (Осирис)-вдрев-неегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы; сын земли и неба.

Потоп. -«Стихотворения 1903-1906», 1906. **Халдеи** -семитические племена, жившие в Южной Месопотамии (территория современного Ирака); в 622-538 гг. до н. э. халдейская династия правила Вавилоном и основала Новоавилонское царство. В основе стихотворе-

ния -халдейский, или древневавилонский, миф.

Эльбурс. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.
Эльбурс — горы на севере Ирана у южного побережья Каспийского моря. **Иазаты**, или Иязаты, у древних индийцев и иранцев -светлые духи, главный из них -**Митра**, божество света, чистоты и правды.

Послушник.-«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Хая-Баш. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Тэ м д ж и д.-«Знание», кн. 7, СПб., 1905.
«Тэмджид» пели на монастырской башне дerviши **ордена Джелеети**. **Скутари** -предместье Стамбула.

Тайна. -«Знание», кн. 7, СПб., 1905. Эпиграф «**Элиф. Лам Мим**» -название букв алфавита в арабском языке, которым придавалось мистическое значение. Возможно также, что они обозначают инициалы писцов, записывавших **суры Корана**. **Атмейдан** — площадь в Стамбуле -«славный когда-то по всему миру Ипподром Византии», —как писал Бунин, вспоминая свое путешествие в Турцию в 1903

Г.

С о с т р о г о й.-«Стихотворения 1903-1906»,
1906.

м и стику. -Журн. «Русская МЫСЛЬ», м.,
1906, .№ 7, июль.

Статуя р а б ы н и-х р и с т и а н к и .-«Ежеме-
сячный журнал для всех», СПб., 1905,Но 9, сен-
тябрь.

П р и з р а к и.-«Ежемесячный журнал для
всех», СПб., 1905, .№ 7, июль.

Неугасимая лампада. -«Ежемесячный жур-
нал для всех», 1905,. №7, июль.

Вершина. -«Знание», кн. 6, СПб., 1905, без
названия.

Тропами потаенными. -Журн. «Мир Бо-
жий», СПб., 1905, .№ 10 октябрь, без названия.

В открытом море. -«Знание», кн. 6, СПб.,
1905, без названия.

Под вечер. -«Ежемесячный журнал для
всех», СПб., 1905, .№ 8, август.

Сквозь ветви. -«Ежемесячный журнал для
всех», СПб., 1905, Но 10, октябрь.

Келья. -«Ежемесячный журнал для всех»,
СПб., 1905, .№ 9, сентябрь.

Судра. -«Ежемесячный журнал для всех»,

СПб., 1905, .№ 9, сентябрь. **Судра** (шудра) -нижнее из четырех древнеиндийских сословий -вари, состояло главным образом из неполноправных, зависимых земледельцев, ремесленников -каста «неприкасаемых»; в законе о них говорилось: «Одежда их -одеяния мертвых».

Огонь. -«Знание», кн. 6, СПб., 1905, без названия.

Небо. -«Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, .№ 4, апрель.

На винограднике.-Журн. «Правда», М., 1905, No 12, декабрь.

Океаниды. -Журн. «Правда», М., 1905, № 8, август. **Океаниды** -в древнегреческой мифологии нимфы, дочери бога Океана, жившие в водах океана.

Стон.-Журн.«Русская мысль»,М., 1905,Но9,сентябрь. **Озеро Мериди**-древнегреческое наименование озера в оазисе Файюм в Египте. **Ра**—вмифологии древнего Египта бог солнца. **Мемнон** — здесь статуя царя **Аменхтсан** 111(1455-1419гг. до н.э.); при восходе солнца издавала странный жалобный звук, -возможно, от прохождения сквозь

трещины потоков воздуха.

Ормузд. -Журн. «Жупел», СПб., 1905, № 1.
Ормузд -греческая форма имени Ахурамазды, высшего божества огнепоклонников в древности и в раннее средневековье в Иране и в Средней Азии, Афганистане и других странах Ближнего и Среднего Востока. Согласно их представлениям, **Ормуэд** -источник всего доброго, возникший из чистейшего света. Противоположность Ормузду -злой дух Ариман, с которым Ормузд ведет борьбу.

День гнева. -Журн. «Мир Божий», СПб., 1905, № 8, август, под заглавием «Dies irae».

Черный камень Каабы.-«Знание», кн. 7, СПб., 1905, под названием «Черный камень».
Кааба -святилище города Мекки в Саудовской Аравии, место паломничества арабов.

За и змену.-«Знание», кн. 7,СПб., 1905, без эпиграфа. Эпиграф -Коран 2:244.

Гробница Сафии. -«Знание», кн. 7, СПб., 1905. **Сафия** — еврейка-пленница, поразившая Магомета красотой и ставшая его женой.
Геллеспонт древнегреческое название Дарданелл. **Тюрбэ**-усыпальюца у мусульман Ближнего и Среднего Востока.

Чибисы. -Журн. «Путь», М., 1913, №2, февраль.

Купальщица. -Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль.

Новый год. -«Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 4, апрель.

Из о к н а.-«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Змея. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Невольник -Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 5, май. Печатается по исправленному автором экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений (ИМЛИ).

Печаль. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Песня. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906. Записано на пластинку в чтении автора в 1910г.

Детская. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Речка. -Журн. «Новое слово», М., 1906, № 34—35.

Пахарь. -Журн. «Новое слово», М., 1906, № 19, под заглавием «За сохой».

Две радуги. -«Наш журнал», М., 1911, №5, март, без заглавия.

Закат. -«Наш журнал», М., 1911, № 5, март, без заглавия.

Чужая. -«Ежемесячный журнал для всех»,

СПб., 1906, № 4, апрель.

А пр е л ь. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Д е т с т в о. -«Ежемесячный журнал для всех»,
СПб., 1900, № 7, июль.

П о м о р ь е. -«Ежемесячный журнал для
всех», СПб., 1906, № 7, июль. Шелюг -кустар-
ник, род ивы.

Д о н н и к. -«Стихотворения 1903-1906»,
1906.

У ш а л а ш а. -«Стихотворения 1903-1906»,
1906.

Т е р е м. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Г о р е. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Д ю н ы. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Каменная Баба. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Эсхил. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906. *Ἐσχvvi*
(ок. 525-456 гг. до н. э.) -древнегреческий по-
эт-драматург, «отец трагедии». **Адра-стея** -бо-
гиня возмездия, служительница вечной спра-
ведливости.

У берегов Малой Азии. -«Знание», кн. 9,
СПб., 1906, под заглавием «У северных берегов
Малой Азии».

Агни. -«Стихотворения 1903-1906», 1906. **Аг-
ни** (отсанскрит. -огонь) -бог огня в ведической

религии у древних индийцев.

Столп огненный.-Журн. «Мир Божий», СПб., 1906, № 7, июль. **Ягее** (Иегова) -одно из ветхозаветных имен Бога. Согласно Библии, при исходе евреев из Египта, где они были в рабстве, путь в пустыне указывали днем столп туманный, а ночью — огненный.

Сын чел о веч еский. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

С о ы,-«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Атлант. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Аттишт в древнегреческих мифах -титан, который должен был за участие в восстании против Зевса, поддерживать небесный свод на крайнем западе -на краю мира. **Океан**—в греческой мифологии титан, обладал властью над мировым потоком, омывавшим на крайнем западе границу между миром жизни и смерти.

Золотой невод.-«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Новоселье. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Д а г е с т а и. -«Стихотворения 1903-1906», 1906.

На обвале. -Жури. «Современный мир», СПб., 1906, № 1, октябрь.

Айя-София. -«Знание», кн. 9, СПб., 1906.
Айя-София — христианский храм в Константинополе, превращенный турками в мусульманскую мечеть.

К востоку.-«Стихотворения 1903-1906», 1906.

Путе водные знаки. -«Литературно-научный сборник», СПб., кн-во «Мир Божий», 1906.
Эпиграф-Коран 16:16. Всуре 16-й говорится: Господь «расположил знаки на дорогах. Люди руководствуются в пути также звездами». Комментатор этого текста отмечает, что арабы ориентируются в пустыне по каменным глыбам или грудам камней. **Могреб**(Магриб; араб.-запад) -регион в Африке. **Агарь** -как рассказывается в Библии и в арабских легендах, рабыня-египтянка, ставшая наложницей Авраама, затем изгнанная из его дома вместе с сыном Измаилом, блуждала в Аравийской пустыне и была спасена Богом.

Мудрым. -Журн. «Адская почта», СПб., 1906, № 1.

Зеленый стяг. —Альманах «Факелы», кн. 1.

СПб., 1906. **Зеки** -зеленое знамя Магомета, святыня мусульман. Гавриил, по преданиям мусульман, пришел на помощь Магомету в сражении. А. Блок писал: «Истинное проникновение в знойную тайну Востока -в стихотворении "Зеленый стяг"... Читая такие стихотворения, мы признаем, что у Лермонтова был свой Восток, у Полонского -свой и у Бунина -свой; настолько живо, индивидуально и пышно его восприятие» (Блок А Собр. соч.,т. 5. М.-Л, 1962, с. 142).

Священный пр ах.-Журн. «Новое слово», М., 1906, №24-25. Мусульмане полагали, что пыль, по которой ступал Гавриил (Джибрил), имеет волшебную силу.

Авраам. -«Стихотворения 1903-1906», 1906. Стихотворение передает одно из сказаний шестой суры Корана (М., 1963, с. 111-12). Авраама (араб. Ибрахим) Бог наставлял в вере.

Сатана Б огу.-«Стихотворения 1903-1906», 1906. Эпиграф -изКорана 18:48. **Эблис**, или Иблис, -сатана; отказался поклониться человеку.

Зейнаб. -«Стихотворения 1903-1906», 1906. **Зейнаб** -одна из жен Магомета. **Хамсин** -сухой и жаркий южный ветер на северо-восто-

ке Африки, который приносит пыль и песок.

Белые крылья. -«Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 6, июнь. **Медина** -город в Саудовской Аравии. В Медину переселился изгнанный из Мекки основатель ислама Магомет. Гробница Магомета -место паломничества мусульман.

Пт и ца. -«Стихотворения 1903-1906», 1906. Эпиграф -из Корана 14:17. **Знак Судьбы**, о котором говорится в стихотворении, — «вещая птица», по Корану,птица, которую сотворил Иса (Иисус) из глины, вдохнув в нее жизнь, совершив тем самым, по воле Аллаха, одно из чудес, чтобы «сыны Израиля» (Коран. М., 1963, с. 103) уверовал и в него.

1906--1911

За гробом. -Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 3, март, под заглавием «В день суда». **Книга Мертвых** -сборник магических текстов, которые клались у древних египтян с покойником в могилу. **Гор** -в древнеегипетской мифологии Бог -покровитель Египта. Символ Гора — ястреб. **Анубис**, по верованиям египтян, был проводником мертвых в подземный мир и вместе с Гором взвешивал дела

их пред Озирисом. Изображался с головой шакала.

Магомет в и з г н а н и и. -«Знание», кн. 16, СПб., 1907.

«Огромный, красный, старый пароход...» — Журн. «Современный мир», СПб., 1906, № 1, октябрь, под заглавием «В порту».

«Люблю цветные стекла око н...» -«Знание», кн. 15, СПб., 1907, под заглавием «Цветные стекла». *Сю Эжен* (1804-1857) -французский писатель, автор антиклерикальных памфлетов. *Патерик* -название сборников дидактических новелл об аскетических подвигах христианских монахов и их нравоучительных изречений: «Киево-Печерский патерик», «Соловецкий патерик» и др.

«Луна еще прозрачна и бледна...» -Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7-9, июль -сентябрь, под названием «На даче».

«Проснусь, проснусь —за окнами, в саду...» — «Знание», кн. 15, СПб., 1907.

«Ограда, крест, зеленая могила...»-Журн. «Перевал», М., 1906, № 2, под заглавием «Панихида».

Петров день. -Альманах «Шиповник», кн. 2,

СПб., 1907. **Петров день** — праздник св. Петра и Павла 29 июня ст. стиля. «Петров день -проводы весны», «с Петрова дни зарница хлеб зорит» (Даль).

«Растет, растет могильная трава...»-Сб. «Новое слово», кн. 2, М., 1907, под заглавием «Забвение».

Вальс. -Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «Сон».

«Мимо острова в полночь фрегат проходил...» — «Знание», кн. 29, СПб., 1910, под заглавием «Старинные стихи».

«Геймдаль искал родник божественный...» — Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907, под заглавием «Гейм-даль». **Геймдаль**, или Хеймдалль, -один из образов скандинавской мифологии, небесный страж богов, буквально -«сверкающий над миром». В древних сагах -в «Эдде» («Сказание о Риги») — рассказывается, как Геймдаль, под именем Риги, путешествовал по земле. Он мудр, наставник в рунах и чарах, видит днем и ночью, слышит, как растет трава. Звук его рога слышен по всему свету.

Пугач. -Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7-

9, июль — сентябрь. Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Дядька.-«Знание», кн. 15,СПб., 1907, без заглавия.

Стрижи. -Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.

На рейде. -Журн. «Перевал», М., 1906, №2.

Джордано Бруно.-«Знание», кн. 14,СПб., 1906.

Москва. -Журн. «Новое слово», М., 1906, № 3, под заглавием «В Москве».

«Леса в жемчужном инее. М о р о з н о...»-Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 1, январь, под заглавием «Иней».

Проводы. -Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907.

Дни. -Журн. «Перевал», М., 1907, №4, февраль.

Гер мон. -Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11,ноябрь. **Гермон** -одна из вершин Антиливана, горного массива в Сирии и Ливане, именуемая арабами Шейх-горою. **Друзы** -арабы, живущие главным образом в Ливане и Сирии. **Геннисарет, Луз, Тивериада, Назарет** -места, связанные с библейскими преда-

ниями, где путешествовали В. Н. и И. А. Бунинны в 1907 г.

«На пути под Хевроном...»-Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 9, сентябрь, под заглавием «Под Хевроном». **Хеврон** — древнейший город Палестины. **Сарра** -согласно Библии, жена Авраама, была необычайной красоты. **Рахиль-жена** библейского патриарха Иакова. См. также примеч. к стих. «Гробница Рахилю».

Г р о б н и ц а Р а х и л и,Сб. «Щит». М., 1915. **Рахиль**, по библейскому преданию, умерла по дороге в Вифлеем. На месте, почитавшемся как гробница Рахили, к югу от Иерусалима, была сложена из камней пирамида. В XIX веке здесь построена часовня с саркофагом. Бунин записал в дневнике 23 апреля 1907 г.: «На пути из **Хеврона**, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками... Большая гробница, беленная мелом...»

Иерусалим. -Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 9, сентябрь. **Моав**, или Моаб, -в древности небольшое государство на берегу Мертвого моря (озера). / **Талгал**, **Газа** - города в

Палестине. **Сион** -горная цитадель Иерусалима. Иерусалим, столица древней Иудеи, в VI в. до н. э. был завоеван вавилонским царем Навуходоносором и полностью разрушен. Пророк Иеремия, согласно Библии, оплакивал разрушение Иерусалима и предсказал, что Иудейское царство будет восстановлено.

Храм Солнца.-Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.Вовремя путешествия Бунина по Востоку - из Сирию, в город Баальбек, -у подошвы Ливана его поразили развалины Акрополя - Храма Солнца, в котором сочеталось «самое прекрасное на земле с самым величественным». Этот монументальный храм был посвящен Ваалу -богу Солнца. И название города -Баальбек -значит долина Ваала-Солнца. Талес-белое, в полосы, одеяние евреев во время молитвы. **Номады** -кочевники, кочующие народы. В Баальбеке Бунин был 5 и 6 мая 1907 года.

«Чалма на мудром — как луна...» —Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, №51,20 октября, под заглавием «Мудрость».

Воскресение.-Сб. «Зарницы», кн. I. СПб., 1908, под заглавием «Смерть».

«Шла сиротка пыльною дорогой...»-«Знание», кн. 21, СПб., 1908, под заглавием «Сиротка».

Слепой. -«Знание», кн. 15, СПб., 1907.

Новый храм. -Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907, под заглавием «Хрисгоо». Стихотворение за. писано на пластику в чтении автора в 1910 г. В Назарете, согласно Евангелию, прошло детство Христа.

Колибр и,-Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908.

«Кошка в крапиве за домом жил а...»-Журн. «Современный мир», СПб., 1907, No 9, сентябрь, под заглавием «Кошка», вместе со стихотворением «Обвал», под общим заглавием «Из цикла "Смерть"».

«Приседана могильнике Савуре...» — Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907, под заглавием «Лею».

«Свежа в апреле ранняя заря...» -Журн. «Северные записки», СПб., 1914, №2, февраль, под заглавием «Причастницы».

«Там иволга,как флейта, распевал а...» -«Знание», кн. 21, СПб., 1908,подзаглавием«Вроще».

«Щебечут пестрокрылые чекканки...» —

Полное собрание сочинений, т. 3, под заглавием «За Дамаском».

Н и щ и й.-«Ежемесячный журнал», СПб., 1914, .№ 1, январь.

«Тут покоится хан, покоривший несметные ст р а ны...» -Газ. «Последние новости», Париж, 1935, .№ 5334, 31 октября.

Тезей. -Сб. «Новое слово», кн. 1, М., 1907. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929. **Тезей**, илиТесей, -греческий герой и царь афинский, сын афинского царя **Эгея**.

Пустошь. -«Знание», кн. 21, СПб., 1908.

Каин. -Журн. «Русская мысль», М, 1907, .№ 10, октябрь.

Пугало. -«Знание», кн. 15, СПб., 1907, с эпиграфом: «Страхбатюшка. Пословица».

Н а с л едет во.-Сб. «Новое слово», кн. 1.М., 1907.

Няня. -Журн. «Новое слово», М., 1907, .№ 4, с посвящением: «Н А. Крашенинникову».

На П л ю щихе.-Журн. «Перевал», М., 1907, .№ 4, февраль.

Безнадежность. -Журн. «Перевал», М., 1907, .№ 10, август, вместе со стихами «Сатурн», «Трясина», «С корабля», под общим заглавием

«Из цикла "Смерть"».

Трясина. -Журн. «Перевал», М., 1907, .№ 10, август.

Од и н. -«Знание», кн. 16, СПб., 1907. **Один** -в скандинавской мифологии глава богов, бог войны, мудрости и поэзии, изобретатель и хранитель священных рун.

С ату р и.-Журн. «Перевал», М., 1907,Но 10,август. **Сатурн** считался в астрологии холодной, мрачной планетой.

С корабля.-Журн. «Перевал», М., 1907, .№ 10,август.

Обвал. -Журн. «Современный мир», СПб., 1907, .№ 9, сентябрь, без заглавия.

«Вдоль этих плоских знойных б е р е г о в...»-Сб. «Новое слово», кн. 1. М., 1907, под заглавием «Берег».

Бал агул а. -Журн. «Русская мысль», М., 1907, .№ 8, август, под заглавием «В балагуле». **Балагула** -крытая дорожная повозка на Украине и в Белоруссии. Так назывался также еврей-извозчик.

Из Анатолийских песней.-Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.

Закон. -Журн. «Современный мир», СПб.,

1907, № 11, ноябрь.

Мандрагора. -Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь. А/йгнЭрагора-родмно-голетних трав семейства пасленовых.

Розы Ширази. -«Знание», кн. 16, СПб., 1907. **Ирем** (Ирам Зат Аль-Имад) в мусульманской мифологии древнее сооружение, возведенное из драгоценных металлов и камней.

С обезьяной. -«Знание», кн. 20, СПб., 1908, вместе со стихотворением «Трон Соломона¹», под общим заглавием «Рассказы в стихах».

Мекам. -Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь.

Бессмертный. -«Знание», кн. 16, СПб., 1907.

Каир. -Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.

Али -мечеть в Каире.

Истар а. -«Знание», кн. 16, СПб., 1907. **Ис-тара**, или Иштар, — богиня древних вавилонян, богиня любви, покровительница материнства и плодородия, а также войны и охоты. **Туара** -головной убор древних персидских и ассирийских царей. **Син** -вавилонский бог луны; считался богом света, астрономии и мудрости.

Александр в Египте. -Альманах «Шипов-

ник», кн. 2, СПб., 1907. Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.) - великий полководец и государственный деятель древнего мира.

Бог.-Журн. «Современный мир», СПб., 1908, № 11, ноябрь.

Саваоф. - «Знание», кн. 29, СПб., 1910, под заглавием «В детстве».

Гальциона. - Газ. «Одесские новости», 1910, № 8071, 21 марта. *Гальциона*, или Алкиона, - дочь бога *Эола*, повелителя ветров, супруга трихидского царя Кепка.

В архипелаге. - «Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Бог полдня. - Журн. «Золотое руно», М., 1908, № 10, октябрь.

Горный лес. - «Знание», кн. 24, СПб., 1908. Храм *Волчьего Зевса* — в древности место жертвоприношений на полуострове Пелопоннес (Греция).

Иерихон. - «Знание», кн. 25, СПб., 1908.

Караван. - «Знание», кн. 25, СПб., 1908.

Долина Иосафата. - «Стихотворения и рассказы 1907-1909 гг.», 1910, *Долина Иосафата* - Кедронская долина, отделяющая Иерусалим от Масличной горы, место погребения иудей-

ского царя Иосафата. По поверию древних иудеев, место Страшного суда, который должен совершиться при конце мира.

Бедуин. -«Знание», кн. 25, СПб., 1908. **Бедуины** -кочевые арабы. **Абая** -«шерстяная пегая хламида» (Бунин). **Гиксы**, или Гиксосы, -кочевые азиатские племена.

Люцифер. -Литературно-художественный сборник издательства «Непогасшие огни», кн. 1. Екатеринослав, 1910. **Люцифер** — здесь: «светоносец», утренняя звезда Венера. **Эректеон** -храм Эрех-тея, прекрасное произведение древнегреческой архитектуры, развалины которого сохранились в Афинах.

Имру-уль-Кайс. -Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «След», с эпиграфом: «Его обдувает с юга и севера. Имру-уль-Кайс». **Имру-уль-Кайс** -арабский поэт.

«Открыты окна. В белой мастерской...» — Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «Дача».

Художник. -Журн. «Современник», СПб., 1913, № 5. Стихотворение о А. П. Чехове и его доме в Ялте, где Бунин часто бывал.

Отчаяние. -Журн. «Северные записки»,

СПб., 1914, № 2, февраль.

«В полях сухие стебли кукурузы.» -Сб. «Зарницы», вып. I.СПб., 1908, под заглавием «Летаргия».

Трон Соломона.-«Знание», кн. 20, СПб., 1908. Соломон-царь израильско-иудейского государства (ок. 965-928 гг.

ДО Н. Э.).

Рыбалка. -Журн. «Современный мир», СПб., 1908,№ 1, январь.

Баба-Яга.-«Стихотворения 1907г.», 1908.

Дикарь. -«Стихотворения 1907 г.», 1908.

Напутствие. -«Стихотворения 1907 г.», 1908.

Последние слезы.-«Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Рыбачка. -«Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Вино. -Сб. «Новое слово», кн. 3, М., 1908.

Вдовец.-Сб. «Зарницы», вып. 1,СПб., 1908.

Христя. -Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб., 1908.

Кружево. -«Знание», кн. 21, СПб., 1908. Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926,№ 499, 14октября.

Туман. -«Стихотворения и рассказы 1907-1909 гг.», 1910. В Сиракузах, в Сицилии,

где было написано стихотворение, Бунин был с 21 по 28 марта 1909 г.

После Мессинского землетрясения. -«Стихотворения и рассказы 1907-1909гг.», 1910, под заглавием «В Мессинском проливе».

«В мелколесье пело глухо, строг о...» -«Стихотворения и рассказы 1907-1909гг.», 1910, под заглавием «Колдун».

Сенокос. —«Знание», кн. 27, СПб., 1909.

Собака. -«Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Могилы в склянке. -«Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Полночь. -«Сборник первый». Книгоиздательство для детей «Утро», изд. 2-е, М., 1913, под заглавием «Остров».

Рассвет.-«Стихотворения и рассказы 1907-1909 гг», 1910, под заглавием «До солнца».

Полдень. -«Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Вечер. -«Рассказы и стихотворения 1907-1910 гг.», 1912.

Мертвая зыбь. -«Стихотворения и рассказы 1907-1909гг.», 1910.

Прометей в пещере. -«Рассказы и стихотворения 1907-1910гг.», 1912.

Морской ветер.-Сб. «Друкарь». М., 1910.

Сторож. -Сб. «Друкаръ». М., 1910.

Берег. —Сб. «Друкаръ». М., 1910.

Спор. -Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 12, декабрь, под заглавием «Вино».

Фессалия -область в северо-восточной Греции.

Звездопоклонники. -Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 2, февраль, без заглавия.

Прощание. —Газ. «Утро России», М., 1909, № 67-34, 25 декабря, без заглавия.

Песня. -Сб. «ВершиньВ», кн. 1, СПб., 1909, под заглавием «Лею».

Сполохи. -Газ. «Утро России», М., 1909, № 67-34, 25 декабря, без заглавия.

Ночные цикады. -«Знание», кн. 30, СПб., 1910, под заглавием «Цикады».

Пилигрим.-Сб. «Друкаръ». М., 1910, под заглавием «Хаджи».

О П ет р е-р аз бойнике.-Газ. «Русское слово», М., 1910, № 299, 28 декабря.

В первый раз. -Газ. «Одесские новости», 1910, № 8094, 18 апреля.

При дороге. -Журн. «Новая жизнь», СПб., 1911, № 13, декабрь.

«Океан под ясною лу ной...»-«Иоанн Рыда-

лец», 1913, под заглавием «Ночные облака».

«Мелькают дали, черные, слепые...» -
«Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Даль-
няя гроза».

Ночлег. -«Ежемесячный журнал», СПб.,
1914, № 4, апрель. Зов. -Газ. «Речь», СПб.,
1912, № 354, 25 декабря. Солнечные часы.
Альманах «Поток», М., 1911. Источник звезды.
-«Стихотворения и рассказы 1907-
1909 гг.», 1910.

Материал. -Полное собрание сочинений, т. 3.
Без имени.-«Стихотворения и рассказы
1907-1909 гг.», 1910. Лимонное зерно. —«Рас-
сказы и стихотворения 1907-
1910 гг.», 1912.

Музыка. -«Наш журнал», М., 1911, №8, 1
мая.

Дворцы. -«Рассказы и стихотворения
1907-1910 гг.», 1912. Криница. -«Рассказы и сти-
хотворения 1907-1910 гг.», 1912. Песня. -
Журн. «Новая жизнь», СПб., 1911, № 4, март.
Зимняя вишня. -Журн. «Современный мир»,
СПб., 1911, № 4, апрель.

Память. -«Рассказы и стихотворения 1907-
1909 гг.», 1912. Березка. —Журн. «Всеобщий

ежемесечник», СПб., 1911, № 11, ноябрь.

РАССКАЗЫ (1892-1901)

Перевал. -Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 8, август, вместе с рассказами «Костер» и «В августе» под общим заголовком «Три рассказа».

«Перевал» датирован 1892-1898 гг. Известно, что Бунин долго не публиковал этот рассказ. До него уже были изданы сборники «На край света», «Стихи и рассказы», «Полевые цветы», в периодике появилось немало очерков и рассказов писателя.

Бунин любил этот рассказ. «Перевал» -так назывался и сборник бунинской прозы, вышедшей в 1912 году.

Танька.-Журн. «Русское богатство». СПб, 1893, № 4, апрель, под заглавием «деревенский эскиз», страшно огорчившим автора. Писатель вспоминал, как Н. К. Михайловский (редактор «Русского богатства.»), прочитав рассказ, «написал, что из меня выйдет "большой писатель"» («Автобиографическая заметка»-см. т. I наст. год.).

К а с т р ю к. -Журн. «Русское богатство». СПб, 1895, № 4, апрель, с подзаголовком:

«Очерк». Печатается по тексту Полного собрания сочинений. В ЦГАЛИ хранится экземпляр второго тома этого издания, где рукой автора указано место написания рассказа: Полтава.

На хуторе. -Журн. «Русское богатство». СПб, 1895, май, с обозначением жанра: «Очерк».

Вести с родины.-Журн.«Русскоебогатство». СПб, 1895, .№ 6, июнь, под названием «Неожиданность».

На чужой стороне. -Журн. «Мир Божий». СПб, 1895, .№4, апрель, под заглавием «Святая ночь».

На край света. -Журн. «Новое слово», СПб, 1895, .№ 1, октябрь, с подзаголовком: «Из записной книжки» и посвящением Д. И. Звереву. Печатается по тексту книги «Начальная любовь».

В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала: «Статистик Зверев пригласил его поехать с ним на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село отправлялось в Уссурийский край. Он под свежим впечатлением, что с ним бывало редко, написал рассказ, озаглавил его "На край света". («Жизнь Бунина», с. 86).

«Рассказ этот критики так единодушно

расхвалили, -вспоминал Бунин, -что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское "Общество попечения о переселенцах" даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступит на литературном вечере... Я, конечно, читал "Накрай света"» (Бунин И. А. Собр. соч., т. 1. Берлин, изд-во «Петрополис», 1936, с. 41).

Учитель. -Журн. «Новое слово», СПб., 1896, No 7, апрель, под названием «Тарантелла», с подзаголовком: «Из жизни деревенской интеллигенции». Окончен был рассказ в середине 1894 г., о чем Бунин сообщает в письме к Пащенко 4 августа 1894 г. (ИМЛИ). Печатается по тексту книги «Начальная любовь».

В поле. -Журн. «Новое слово», СПб., 1896, No 3, декабрь, под заглавием «Байбаки», с подзаголовком: «Из быта мелкопоместных».

Святые Горы. -Первая публикация не установлена. Под названием «На Донце» вошел в сборник «На край света» и др. Публикуется по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1930, .№ 3279, 15 марта, где рассказ был напечатан с исправлениями и сокращениями под новым названием «Святые Горы».

На даче. -Сб. «На край света», 1897.

«Камергер редко наслаждается природой!» -афоризм Козьмы Пруткова из раздела «Плоды раздумья».

«Нельзя объять необъятного». -Неточно приведен афоризм Козьмы Пруткова из раздела «Плоды раздумья».

Липперт Юлиус (1839-1909) -австрийский историк и этнограф. Автор многих работ, посвященных истории семьи, культуры и, особенно, религии.

...пословам Лаодзи и Амиеля... -Лао-цзы (VIв. до н.э.)-древнекитайский философ. В его работах и исследованиях толстовцев привлекала проповедь воздержания и совершенствования в себе духовного начала. Амиель Генри(1821-1881) -швейцарский поэт и моралист.

В е л г а. -Газ. «Сын отечества», второе издание, СПб, 1899, Но 4 и 5,5 и б января, с подзаголовком: «Северная легенда» и посвящением Н. Д. Телешову.

Бунин писал из Одессы 3 октября 1898 г. С. Н. Кривенко, в то время редактору «Сына отечества»: «Посыпаю Вам рассказ-легенду под

заглавием «Велга». Это вполне самостоятельная работа, порожденная долгим чтением описаний севера, северных морей ит.д.» (ЦГА-ЛИ).

Без роду-племени. -Жури. «Мир Божий», СПб., 1899, № 4, апрель, с подзаголовком: «Из повести о современных людях» и эпитафой: «*Vae divitibus!*» (Горе богатым! -лат.).

Поздней ночью.-Альманах «Северные цветы», М., 1901.

Антоновские яблоки.-Жури. «Жизнь», СПб., 1900, № 10, октябрь, с подзаголовком: «Картины из книги "Эпитафии"». Печатается по тексту книги «Начальная любовь».

В письме к В. В. Пащенко от 14 августа 1891 г. Бунин рассказал о посещении имения своего брата Евгения Алексеевича: «Вышел на крыльцо и увидел, что начинается совсем осенний день. Заря — сероватая, холодная, с легким туманом над первыми зелеными... В саду пахнет "антоновскими" яблоками... Просто не надышишься! Ты ведь знаешь... Как я люблю осень! У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже начинаю невольно поэтизировать его.

Хорошо было осенью чувствовать себя именно в деревне, в дедовской усадьбе, со старым домом, старым гумном и большим садом с соломенными валами... Право, я желал бы пожить прежним помещиком! Вставать на заре, уезжать в "отъезжее поле", целый день не слезать с седла, а вечером со здоровым аппетитом, создоровым свежим настроением возвращаться по стемневшим полям домой» (ИМЛИ). Спустя девять лет эти впечатления станут главным мотивом «Антоновских яблок». По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, прототипом Арсения Семеныча послужил родственник Бунина помещик А. И. Пущешников.

Прочитав рассказ, Горький писал Бунину: «...большое спасибо за "Яблоки". -Эго хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, душевно» (Горьковские чтения, М., 1961, с. 16).

Писатель долго и тщательно работал над «Антоновскими яблоками», неизменно дорабатывая и сокращая рассказ. При подготовке его для сборника «Перевал» почти целиком сократил первую страницу:

«Антоновские яблоки... Где-то я читал, что Шиллер любил, чтоб в его комнате лежали яблоки: улежавшись, они своим запахом возбуждали в нем творческие настроения ... Не знаю, насколько справедлив этот рассказ, но вполне понимаю его: известно, как сильно действуют на нас запахи... Есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но больше всего потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. Красота природы, песня, музыка, колокола в солнечное утро, запахи... Запахи особенно сильно действуют на нас, и между ними есть особенно здоровые и яркие: запах моря, запах леса, чернозема весной, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок... чудный запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда холодных, пахнущих слегка медом, а больше всего -осенней свежестью!

Садовники так и говорят при них: "осеннее яблочко русское!" И я с удовольствием вспоминаю теперь эти слова. Много хороших деревенских впечатлений улетучилось за последнее время из моей души. Но порою достаточно какого-нибудь звука, лица, намека, чтобы прошлое сполна охватило меня. Иногда на

базаре услышишь запах сена и сразу вспомнишь сенокосы, Петровки, жаркие летние дни, вечерние зори... Иногда пахнёт в окно вагона весенним ветром, сыростью земли - и сразу точно помолодеешь на несколько лет...»

Эпитафия. -«Журнал для всех», СПб, 1901, № 8, август, под заглавием «Руда», с подзаголовком: «Из книги "Эпитафии"», с посвящением С. Я. Елпатьевскому. Печатается по тексту книги «Начальная любовь», где рассказу было дано новое название. *Эпитафия* -надгробная надпись, короткое стихотворение, посвященное умершему.

Над городом. -«Журнал для всех», СПб, 1902, №11, ноябрь. Печатается по книге «Начальная любовь».

Рассказ перепечатывался Бунинным почти без изменений.

Мелитон. -«Журнал для всех», СПб, 1901, № 7, июль, под заглавием «Скит». Название «Мелитон» дано в книге «Начальная любовь». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1930, № 3392, июля.

Сосны. -«Мир Божий», СПб, 1901, № 11, ноябрь. Печатается по книге «Начальная лю-

бовь».

Новая дорога. -Журн. «Жизнь», СПб, 1901, №4, апрель.

Туман. -Журн. «Жизнь», СПб, 1901, №4, апрель.

Тишина. -Журн. «Мир Божий», СПб, 1901, №7, июль, под заглавием «На Женевском озере».

«Манфред» -драматическая поэма Д. Байрона; переведена Буниным в 1903 г.

«Ты слышишь, Майя, тишину?» -неточные слова из реплики Рубека (действие 1) в драме Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».

Товарищу, с которым я пережил так много в пути". посвящаю эти немногие строки. -Имеется в виду Владимир Павлович Куровский (1869-1915), художник, хранитель Одесского художественного музея. За границу он был послан Одесской городской управой. «Куровский был редким спутником, с ним всегда было интересно: он, как никто, умел замечать и в людях и в природе то, что проходило мимо глаз и внимания большинства» («Жизнь Бунина», с . 117). Во время первой мировой войны Куровский покончил жизнь са-

моубийством. Бунин посвятил ему стихотворение «Памяти друга».

Костер. -Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 8, август, вместе с рассказами «Перевал» и «В августе», под общим названием «Три рассказа». Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1932, № 4036, 10 апреля.

В августе. -Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 8, август.

Осенью. -Журн. «Мир Божий», СПб, 1902, № 1, январь, с подзаголовком: «Эскиз». Печатается по тексту книги «Начальная любовь».

Новый год.-Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 1, январь.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Дом, где родился Бунин. Воронеж. И. А. Бунин. 1887 г. На первом форзаце.

А. Н. Бунин -отец писателя. Л. А. Бунина -мать писателя. На втором форзаце.

На обороте первого и второго форзацев рисунки М. В. Георгиева с фотографий И. А Бунина

Орел. Конец XIX века. Мужская гимназия. С. 23.

Герб рода Буниных. С. 24.

А.Н. Бунина (Цакни)-первая жена Бунина. 1898 г. С. 56—57. И. А. Бунин.

Фотография с дарственной надписью: «Милой, великолепной, прелестной Марье Павловне Чеховой от Ив. Буки-шона». С. 74-75

Сын Бунина Николай. 1902 г. С. 82-83.

Ф. И. Шаляпин. Фотография с дарственной надписью. С. 98-99. М. А. Бунина -сестра писателя. С. 108-109.

Орел. Конец XIX века. С. 259.

И. А. Бунин среди членов литературного

кружка «Среда»: М. Горький, И. Бунин, Ф. Шаляпин, Скиталец (С. Петров), Н. Телешов, Л. Андреев, Е. Чириков. 1902 г. С. 260.

В.В. Пащенко -первая любовь писателя. С. 264-265.

Е. А. Бунин -брат писателя. С. 288-289.

Орел. Мариинский мост. Конец XIX века. С. 471.

И. А. Бунин и Н . Д. Телешов. С. 472 И. А. Бунин и В. В. Пащенко 1892 г. С. 516.

Музей Бунина в Орле. С. 549.

СОДЕРЖАНИЕ

О Т ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автобиографическая

заметка

.....9

Если б только можно было	46
«Нагая степь пустыней веет .»	46
«Что в том, что где-то, на далеком...»	46

Костер.....	47
«Когда на темный го- род сходит .»	48
«Ночь наступила, день угас .»	48
На проселке	49
«Долог был во мраке ночи .»	49
«Поздний час. Ко- рабль и тих и темен .» .	50
Метель " " "	51
«В окошко из тем- ной каюты. » . . .	51
Родина	52
«Ночь и даль седая .»	52
«Христос воскрес! Опять с зарею...» ..	53
На Днепре	54

Кипарисы	54
«Вьется путь в снегах, в степи широкой .»	55
«Отчего ты печально, вечернее небо » ..	55
Северное море	56
На хуторе («Свечи нагорели, долог зимний вечер .») ..	56
«Скачет пристяжная, снегом обдает. »	57
«Беру твою руку и долго смотрю на нее. »	57
«Поздно, склонилась луна .».....	58
Я к ней вошел в полночный час. »	58
«При свете звезд померкших глаз сиянье .»	59

На дальнем севере.....59
.....	
Плеяды	59
«И вот опять уж по зарям".» ".....	60
«Листья падают в са- ду".»	60
.....	
«Таинственно шу- мит лесная тишина."»	61
«В пустынной выши- не".» ""	62
«Все лес и лес. А день темнеет .»	63
«Как светла, как на- рядна весна! » . . .	63
«Нынче ночью кто- то долго пел .» . . .	63

«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи .» .	64
«Враждебных полон тайн на взгорье спя- щих лес".» "	65
«Затрепетали звез- ды в небе .».	65
«Нет солнца, но свет- лы пруды. »	66
Листопад.....	66
На распутье.....	71
Вирь..... /2
В отъезжем поле.....73
После половодья	73

«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет".».....	74
«Не угас еще вдали закат".»	74

П О Т О П

.....143

Эльбурс 144

В открытом море 150

Под

ве-

чер.....

.....151

Сквозь ветви 151

Келья "" 151

Матери («Я помню спальню и лампадку".»)

....." 253

Без имени 254

Лимонное зерно 254

Мужичок 255

РАССКАЗЫ

1892⁻¹⁹⁰¹ И. А. Бунин

Полное собрание сочинений в 13 томах

ТОМ 1

Издание осуществляется при информационной поддержке (<Российской газеты>), (<Парламентской газеты>), (Литературной газеты), (< Литературной России>), газет (<Комсомольская правда>), (<Трибуна>), (<Труд>), (< Московский комсомолец>), (<Воскресенье>), телеканала (< Культура>) ВГТРК, ТВЦ, радиостанций (< Радио России>), (<Маяк>), (<Эхо Москвы>).

Руководитель издательского проекта
академик Академии российской словесности Г. В. Прякин

Заместитель руководителя издательского проекта - **Д. Г. Горбунцов**

Научный редактор, **кандидат филологических наук И. И. Жуков**

Главный художник проектам. **В. Георгиев**

Набор и верстка: **Т. Б. Лазарева, Т. В. Сере-**

гина,

Т. И. Сенашенко, С. А. Симончук

Корректор Е. Д. Власкина

Техническое обеспечение: С. Д. Афанасьев

Подписано в печать 19.08.2005. Формат 60x90¹ • Печать офсетная.

**Объем 36 п.л. Тираж 2000 экз. (2-й завод).
Заказ №2152.**

**Государственное предприятие газетно-журнальное объединение «Воскресенье»
при участии ООО ИИА «Евразия+»**

**127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 98,
строение 1 Тел./факс: (095) 780-05-56 ISBN 5-
88528-476-8 www.voskres.info**

785885 284769

**Отпечатано с оригинал-макетов в ОАО
ивановская областная типография >. 153008,
г. Иваново, ул. Типографская, 6. E-mail: 091-
018@adminet.ivanovo.m**

1

* Как вы познакомились с ним? (англ.)

[^^^]

2

Здесь и ниже газетные интервью И. А. Бунина цитируются по подготовленной для «Нового мира» публикации А. Нинова.

[^^^]